



Родная литература

5





Родная литература

УЧЕБНИК-ХРЕСТОМАТИЯ ДЛЯ V КЛАССА

Составители:

Т. С. ЗЕПАЛОВА, Н. В. КОЛОКОЛЬЦЕВ, Н. Я. МЕЩЕРЯКОВА

**Утвержден
Министерством просвещения
РСФСР**

ИЗДАНИЕ ВОСЬМОЕ

МОСКВА, «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1978

Тексты произведений советских писателей, включённые в пособие с некоторыми сокращениями («Белеет парус одинокий», «Повесть о настоящем человеке», «Зимний дуб»), просмотрены и одобрены их авторами — В. П. Катаевым, Б. Н. Полевым, Ю. М. Нагибиным.

В учебнике использованы иллюстрации художников *Е. Кибрика, А. Лаптева, Кукрыниксов, В. Васнецова, Д. Шмаринова, А. Лебедева, Г. Фитингофа, В. Горяева, Д. Дубинского, Е. Рачева, Н. Жукова, Г. Епифанова*; портреты писателей выполнены художником *В. Ермоловым*, оформление художника *Р. Авотина*.

Любите книгу

Сознательно читать я научился, когда мне было лет четырнадцать...

Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было моё изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга как бы открывает передо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел...

Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких невероятных страданий стоило это ему.

И в душе моей росло внимание к человеку — ко всякому, кто бы он ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу. Жить становилось легче, радостнее — жизнь наполнялась великим смыслом...

И с глубокой верой в истину моего убеждения я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку...

Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми, которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда...

М. Горький

А. А. Прокофьев



...Я знаю Россию по песням,
По тем, что народ сберегал,
Из слов-самоцветов кудесник,
Что день, то и строчка, слагал;

Я знаю Россию по сказкам,
Где рядом леса и луга
И где на тропиночке вязкой
Яга — костяная нога;

Я знаю Россию по сказам,
Которые с детства слышал,
В которых ни разу, ни разу
Великий народ не солгал;

Я знаю Россию по воле,
Мне нет этой воли милей,
Как нет мне ни света, ни доли
Нигде
без России моей!

РАЗДЕЛ

Народ-сказитель

Почти тысячу лет назад в Киевской Руси возникли первые былины — устные народные сказания о подвигах богатырей. В то далёкое время тревожно было на Русской земле. Печенег, половцы нападали на Русь, сжигали сёла, вытапывали поля, а людей убивали или уводили в рабство. Непокойно было и внутри страны: воевали между собой русские князья, по дорогам бродили разбойники...

Эти трудные времена нашли отражение в произведениях устного народного творчества. В четвёртом классе вы читали героические сказки о борьбе русских людей с врагами. Теперь мы знакомимся с новым видом устного народного творчества — былинами.

В былинах воспеваются мощь и сила русского народа, грудью защищавшего родную землю от бесчисленных врагов. Герои былин — могучие богатыри — воплощают в себе лучшие качества народа: его любовь к родной земле, беззаветное мужество и стойкость. Самые известные среди них — Илья Муромец, крестьянский сын, Добрыня Никитич и Алёша Попович.

В течение многих веков устно передавались эти героические песни-сказания от одного поколения к другому. Позднее учёные, любители русской старины, записали былины и напечатали их.

Исполняли былины народные поэты — певцы-сказители. Народ окружал их почётом и уважением. Как на праздник, собирались люди издалека послушать талантливое певца. Вот как рассказывает о встрече со сказителем учёный — собиратель былин: «Гор-

ница быстро заполнилась народом. Сели на лавках, на кровати, жались в дверях. Сказитель с улыбкой обвёл взглядом присутствующих и, заметив в них нетерпеливое ожидание, начал петь. Лицо старика-певца мало-помалу изменялось... Что-то вдохновенное выступило на нём: голубые глаза расширились, ярко блестели в них две маленькие слезинки... Он жил со своими любимцами-богатырями: жалел до слёз немого Илью Муромца, когда он сиднем сидел тридцать лет, торжествовал с ним победу над Соловьём Разбойником.

Жили с героем былины и все присутствующие. По временам возглас удивления невольно вырывался у кого-нибудь из них, по временам дружный смех гремел в комнате. Иного прошибала слеза, которую он тихонько смахивал с ресниц. Все сидели, не сводя глаз с певца: каждый звук этого монотонного, но чудного, спокойного мотива ловили они».

Илья Муромец и Соловей Разбойник

- 1 Из тогó ли то из гóрода из Мýрома ¹,
Из тогó селá да с Карачáрова
Выезжáл удаленький дородный добрый мóлодец;
Он стоял заўтреню ² во Мýроме,
5 А й к обéдне ³ поспеть хотёл он в стольный Кйев-град.
Да й подъёхал он ко слáвному ко городу к Чернйгову.
У тогó ли гóрода Чернйгова
Нагнано-то сйлушки чернйм-черно,
А й чернйм-черно, как чёрна вóрона.
10 Так пехóтою ⁴ никто тут не похáживат,
На добрóm коне никто тут не проёзживат,
Птица чёрный вóрон не пролётыват,
Сёрый звёрь да не прорыскиват.
А подъёхал как ко сйлушке великоей,
15 Он как стáл-то эту сйлушку великую,
Стал конём топтáть да стал копьём колоть,
А й побйл он эту сйлу всю великую.
Он подъёхал-то под слáвный под Чернйгов-град.
Выходйли мужичкй да тут чернйговски
20 И отворяли-то ворóта во Чернйгов-град,
А й зовёт его в Чернйгов воевóдою ⁵.
Говорйт-то им Илья да таковы́ слова:
«Ай же мужичкй да вы чернйговски!
Я не йдú к вам во Чернйгов воевóдою.

¹ Ударения поставлены над теми словами, которые надо выделять при чтении.

² Заўтреня — утренняя церковная служба.

³ Обéдня — дневная церковная служба.

⁴ Пехóтою — здесь: пешком.

⁵ Воевóда — в Древней Руси правитель города или начальник войска.

- 25 Укажіте мне дорóжку прямоéзжую,
Прямоéзжую да в стóльный Кіев-град».
Говоріли мужичкі ему черніговски:
«Ты удаленький дорóдный добрый мóлодец,
А й ты, слáвныя богáтырь святорúсский!
- 30 Прямоéзжая дорóжка заколóдела ¹,
Заколóдела дорóжка, замуравела ²,
А й по тóй ли по дорóжке прямоéзжею
Да й пехóтою никтó да не прохáживал,
На добрóm коне никтó да не проéзживал.
- 35 Как у тóй ли то у Грязи-то, у Чёрной,
Да у тóй ли у берёзы у поклáпыя ³,
Да у тóй ли рéчки у Сморóдины
Сідит Сóловей Разбойник во сырóm дубу,
Сідит Сóловей Разбойник Одихмáнтьев сын.
- 40 А то свіщет Соловéй да по-солóвьему,
Он кричít злодей Разбóйник по-зверíному,
И от егó ли то от пóсвисту солóвьего,
И от егó ли то от пóкрику зверíного
То все травушки-муравы уплетáются,
- 45 Все лазúревы цветóчки отсыпáются,
Тёмны лéсушки к землé все приклоняются,
А что ёсть людéй, то все мертвы́ лежат.
Прямоéзжею дорóженькой — пятьсóт есть вёрст,
А й окóльной дорóжкой — цела тýсяча».
- 50 Он спустил добра коня́ да й богаты́рского,
Он пóехал-то, дорóжкой прямоéзжею.
Его дóбрый кóнь да богаты́рский
С горы́ на́ гору стал перескáкивать,
С холмы́ на́ холму стал перема́хивать,
- 55 Мелки рéченьки, озёрка промеж нóг спущал.
Подъезжаёт он ко рéчке ко Сморóдинке,
Да ко тóей он ко Грязи он ко Чёрной,
Да ко тóю ко берёзе ко поклáпыя.
Засвистáл-то Соловéй да й по-солóвьему,
- 60 Закричáл злодей Разбóйник по-зверíному,
Так все травушки-муравы уплетáлись,
Да й лазúревы цветóчки отсыпáлись.
Тёмны лéсушки к землé все приклонíлись.
Его дóбрый кóнь да богаты́рский
- 65 А он на́ корзни ⁴ да потыкáется —
А й как стáрый-от казáк да Илья Мúромец
Берёт плéточку шелкóвую в белú руку.

¹ Дорóжка заколóдела — дорога завалена стволами засохших деревьев (колодами).

² Замуравела — заросла муравой, т. е. травой.

³ Поклáпая — пригнутая книзу, искривлённая.

⁴ Корзни — корни.



- А он бѣл коня а по крутым ребрам,
Говорил-то он, Илья, да таковы слова:
- 70 «Ах ты, волчья сыть да й травяной мешок!
Али ты идти не хошь, али нести не мошь?
Что ты на корзни, собака, потыкаешься?
Не слыхал ли посвисту соловьяго,
Не слыхал ли покрику звериного,
75 Не видал ли ты ударов богатырских?»
А й тут старья казак да Илья Муромец
Да берет-то он свой тугой лук разрывчатый ¹,
Во свой берет во бѣлы он во ручушки.
Он тетивочку шелковеньку натягивал,
80 А он стрелочку каленую накладывал,
То он стрѣлил в того Соловья Разбойника,
Ему выбил право око со косицею ²;
Он спустил-то Соловья да на сыру землю,
Пристегнул его ко правому ко стремячку булатному,
85 Он повѣз его по славному по чисту полю,
Он приехал-то во славный стольный Киев-град
А ко славному ко князю на широкий двор.
А й Владимир-князь он вышел со божьей церкви,
Он пришел в палату белокаменну,
90 Во столовую свою во горенку,
Они сѣли есть да пить да хлеба кушати,
Хлеба кушати да пообѣдати.
А й тут старья казак да Илья Муромец
Становил коня да посередь двора,
95 Сам идет он во палаты белокаменны,
Проходил он во столовую во горенку,
На пяту ³ он дверь-то поразмахивал,
Крест-от клал он по-писаному,
Вѣл поклоны по-ученному,
100 На все на три, на четыре на сторонки низко кланялся,
Самому князю Владимиру в особину,
Еще всем его князьям он подколенным ⁴;
Тут Владимир-князь стал молодца выпрашивать:
«Ты скажи-тко, ты окулешной, дородный добрый
молодец,
105 Тебя как-то, молодца, да именем зовут,
Величают, удалого, по отчеству?»
Говорил-то старья казак да Илья Муромец:
«Есть я с славного из города из Мурома,
Из того села да с Карачарова,

¹ Разрывчатый — упругий, тугой лук. Когда тетива отпущена, хороший лук издает резкий звук, как бы разрывая воздух.

² Косица — висок.

³ На пяту — широко, настежь.

⁴ Подколенные князья — младшие князья, подчиненные князю Владимиру.

- 110 Есть я старья казак да Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович!»
Говорит ему Владимир таковы слова:
«Ай же ты, старья казак да Илья Муромец!
Да й давно ли ты повыехал из Мурома
- 115 И которою дороженькой ты ехал в стольный Киев-град?»
Говорил Илья он таковы слова:
«Ай ты славныя Владимир стольнокиевский!
Я стоял заутреню христовскую во Муроме.
А й к обеденке поспеть хотел я в стольный Киев-град,
- 120 Да моя дорожка призамешкалась;
А я ехал-то дорожкой прямоёзжею,
Прямоёзжею дороженькой я ехал мимо-то Чернигов-град,
Ехал мимо эту Грязь да мимо Чёрную.
Мимо славну реченьку Смородину,
- 125 Мимо славную берёзу ту поклёпую».
Говорил ему Владимир таковы слова:
«Ай же мужичище-деревенщина!
Во глазах, мужик, да подлыгаешься¹,
Во глазах, мужик, да насмехаешься!
- 130 Как у славного у города Чернигова
Нагнано тут силы много множество,
То пехотою никто да не прохаживал,
И на добром коне никто да не проезживал,
Туда серый зверь да не прорыскивал,
- 135 Птица чёрный ворон не пролётывал.
А у той ли то у Грязи-то у Чёрной,
Да у славной у речки у Смородины,
А у той ли у берёзы у поклёпыя
Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын.
- 140 То как свіщет Соловей да по-солóвьему,
Как кричит злодей Разбойник по-зверіному,
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазуревы цветки прочь отсыпаются,
Тёмны лесушки к землё все приклоняются,
- 145 А что ёсть людей, то все мертвы лежат».
Говорил ему Илья да таковы слова:
«Ты, Владимир-князь да стольнокиевский,
Соловей Разбойник на твоём дворе,
Ему выбито ведь право око со косицею.
- 150 И он к стрёмени булатному прикованный».
Тут Владимир князь-от стольнокиевский
Он скорёшенько вставал да на резвы ножки,
Кунью шубоньку накінул на одно плечко,
То он шапочку соболью на одно ушко,
- 155 Он выходит-то на свой-то на широкий двор
Посмотреть на Соловья Разбойника.

¹ Подлыгаться — лгать.

- Говорил-то ведь Владимир-князь да таковы слова:
«Засвищи-тко, Соловей, ты по-соловьему,
Закричи-тко, собака, по-звериному».
- 160 Говорил-то Соловей ему Разбойник Одихмантьев сын:
«Не у вас-то я сегодня, князь, обедаю,
А не вас-то я хочу да и послушати,
Я обедал-то у старого казака Ильи Муромца,
Да его хочу-то я послушати».
- 165 Говорил-то как Владимир-князь да стольнокиевский:
«Ай же старья казак ты Илья Муромец!
Прикажи-тко засвистать ты Соловью да й по-соловьему,
Прикажи-тко кричать да по-звериному».
- Говорил Илья да таковы слова:
- 170 «Ай же Соловей Разбойник Одихмантьев сын!
Засвищи-тко ты во полсвисту соловьяго,
Закричи-тко ты во полкрику звериного».
- Засвистал как Соловей тут по-соловьему,
Закричал Разбойник по-звериному,
- 175 Маковки на теремах покривились,
А околенки¹ во теремах рассыпались
От его от полсвисту соловьяго,
А что есть-то людшек, так все мертвы лежат;
А Владимир-князь-от стольнокиевский
- 180 Куньей шубонькой он укрывается.
Ай тут старый-от казак да Илья Муромец
Он скорешенько садился на добра коня,
Ай он вез-то Соловья да во чисто поле,
И он срубил ему да буйну голову.
- 185 Говорил Илья да таковы слова:
«Тебе полно-тко свистать да по-соловьему,
Тебе полно-тко кричать да по-звериному,
Тебе полно-тко слезить да отцов-матерей,
Тебе полно-тко вдовить да жён молодых,
- 190 Тебе полно-тко пущать-то сиротать да малых детушек».

Вопросы и задания.

1. Какие подвиги совершил Илья Муромец на пути в Киев?
2. Почему Илья Муромец вступил в бой с чёрной вражеской силой и Соловьём Разбойником?
3. Как показаны в былине могущество богатыря и сила его врагов?
4. Перескажите близко к тексту эпизод единоборства Ильи Муромца с Соловьём Разбойником.
5. Расскажите о встрече Ильи Муромца с князем Владимиром. Как в былине изображаются Илья Муромец и князь Владимир? Как относится народ к богатырю и князю?

¹ Околенки — окошечки.

6. Прочитайте выразительно отрывок из былины.
7. Внимательно рассмотрите картину В. Васнецова «Богатыри» (см. цветную вклейку I). Какие богатыри изображены на картине? Чем они отличаются друг от друга? Расскажите о них, используя былинные слова и выражения.

О былине

Былины (от слова «быль») — произведения устной народной поэзии о русских богатырях и народных героях.

Обычно былины строятся по определённому плану. Они начинаются кратким вступлением — зачином, в котором указывается время и место действия.

Как во славном городе во Киеве,
У ласкового князя у Владимира
Было пированьице — почестен пир...

Далее идёт основная часть былины — повествование о подвигах богатырей. Оно развёртывается медленно, спокойно.

В былинах много различных повторений: повторяются отдельные слова, строки и даже целые эпизоды.

Так, в былине «Илья Муромец и Соловей Разбойник» четыре раза встречается описание страшного свиста Соловья, и от этих повторений крик разбойника кажется ещё ужаснее. Дорога Ильи Муромца в Киев представляется ещё более трудной, когда мы встречаем повторение слова «заколодела».

Прямоезжая дорожка заколодела,
Заколодела дорожка, замуравела...

Повторения создают особую плавность и напевность былинной речи.

...Во свои берёт во белы он во ручушки...
Да у славной у речки у Смородины...

Былины часто завершаются особой концовкой. «Тут Илье и славу поют» или «На том былинка и кончилась».

Для былин характерны гиперболы — преувеличения, которые помогают ярче показать богатырей и их подвиги.

Сила богатыря, например, преувеличена до невероятных размеров: Илья Муромец легко, как пёрышко лебединое, поднимает палицу весом 90 пудов. Взмахом руки он валит наземь полчища врагов. Микула Селянинович, крестьянин-богатырь, одной рукой легко выдёргивает из земли сошку, которую не могла сдвинуть с места вся дружина князя Вольги. Добрыня Никитич играет на гуслях в Киеве, а напев слышен в Царьграде. Богатырский конь Ильи скачет «выше дерева стоячего, чуть пониже облака ходячего». Так же преувеличенно рисуются в былинах и враги. Обычно богатырь сталкивается с несметными полчищами, которые «серому волку в три дня не обскакать», «чёрному ворону в день не облететь».

В былинах, как и в других видах народного творчества, часто встречаются устойчивые сочетания прилагательных с существительными. Прилагательные как бы навсегда прикрепляются к определённым словам, становятся постоянными определениями. Так, в былинах молодец всегда добрый, дружина — храбрая, дорожка — прямоезжая, лук — тугой, разрывчатый, поле — чистое и т. д.

Вопросы и задания.

1. Какие произведения называются былинами?
2. По какому плану строится былина? Найдите в былине «Илья Муромец и Соловей Разбойник» зачин, основную часть.
3. Приведите из былин примеры гипербол, повторений, постоянных определений.
4. Найдите в былинах слова с уменьшительными и увеличительными суффиксами. Объясните, с какой целью они употребляются.

А. К. Толстой

Илья Муромец

Под бронёй, с простым набором,
Хлеба кус жуя,
В жаркий полдень едет бором
Дедушка Илья.

Правду молвить, для княжого
Не гожусь двора!
Погулять по свету снова
Без того пора...

Едет бором, — только слышно,
Как бряцает бронь.
Топчет папоротник пышный
Богатырский конь.

Душно в Киеве, что в скрини¹,
Только киснет кровь!
Государыне-пустыне
Поклонюся вновь!

И ворчит Илья сердито:
— Ну, Владимир, что ж.
Посмотрю я, без Ильи-то
Как ты проживёшь?

Вновь изведаю я, старый,
Волюшку мою —
Ну же, ну, шагай, чубарый,
Уноси Илью!

Двор мне, княже, твой не диво,
Не пиров держусь!
Я мужик неприхотливый,
Был бы хлеба кус!

И старик лицом суровым
Просветлел опять,
По нутру ему здоровым
Воздухом дышать!

Но обнёс меня ты чарой
В очередь мою —
Так шагай же, мой чубарый,
Уноси Илью!..

Снова веет воли дикой
На него простор,
И смолой и земляникой
Пахнет тёмный бор.

¹ Скриня, скрын (старин.) — сундук.

О Вольге Святославовиче и Микулушке

Селяниновиче

Когда воссияло солнце красное
На это на небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославович.
Стал Вольга растёт-матерёт;
Похотелся Вольге много мудрости:
Щукою-рыбою ходить ему во глубоких морях,
Птицей-соколом летать под оболока,
Серым волком рыскать во чистых полях.
Уходили все рыбы во синие моря,
Улетели все птицы за оболока,
Убегали все звери во тёмные леса.
Стал Вольга растёт-матерёт,
Избирать себе дружиную хоробрую,
Тридцать молодцев без единого,
Сам ещё Вольга во тридцатых.
Жаловал его родной дядюшка,
Ласковый Владимир стольнокиевский,
Тремя городами со крестьянами:
Первым городом Гурчевцем,
Другим городом Ореховцем,
Третьим городом Крестьяновцем.
Молодой Вольга Святославович
Со своей дружиною хороброю
Он поехал к городам за получкою¹.
Выехал в раздольице чистое поле,
Он услышал в чистом поле ратаю²:
Орёт в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешки³ по камешкам почиркивают.
Ехал Вольга до ратая
День с утра он до вечера
Со своей дружиною хороброю,
А не мог до ратая доехать.
Ехал Вольга ещё другой день,
Другой день с утра до вечера,
А не мог он до ратая доехать.
Орёт в поле ратай, понукивает,
Сошка у ратая поскрипывает,
Омешки по камешкам почиркивают.
Ехал Вольга ещё третий день,

¹ *Получка* — здесь: дань. Вольга поехал собирать дань.

² *Ратай, оратай* — пахарь; *орать* — пахать.

³ *Омешки* — сошники, лемеха у сохи.

Третий день с утра до па́бедья ¹,
 Наехал он в чистом поле ратая:
 Орёт в поле ратай, понукивает,
 С края в край бороздки помётывает;
 В край он уедет — другого не видать,
 Коренья, каменья вывёртывает,
 А великие-то все каменья в борозду валит;
 Кобылка у ратая соловая ²,
 Сошка у ратая кленовая,
 Гужики ³ у ратая шелкóвые.
 Говорил Вольга таковы слова:
 «Божья тебе помочь, ората́юшка!
 Орать, да пахать, да крестьянствовать,
 С края в край бороздки помётывать,
 Коренья, каменья вывёртывать!»
 Говорил оратай таковы слова:
 «Поди-тко, Вольга Святославгович,
 Со своею со дружинушкой хороброю,
 Мне-ка надобна божья помочь крестьянствовать!
 Далеко ли, Вольга, едешь, куда путь держишь
 Со своею со дружинушкой хороброю?»
 «Ай же ты, ратай-рата́юшко!
 Еду к городам за получкою:
 К первому городу ко Гурчевцу,
 Ко другому ко городу к Ореховцу,
 Ко третьему городу ко Крестьяновцу».
 Говорил оратай таковы слова:
 «Ай же, Вольга Святославгович!
 А недавно я был в городе, третьево дни,
 На своей кобылке соловоей,
 Увёз я оттоль только соли два меха ⁴,
 Два меха соли по сороку пуд.
 А живут-то мужики все разбойники,
 Они просят грошов подорожных,
 А был я с шалыгой ⁵ подорожною,
 Платил я им гроши подорожные:
 Который стоя стоит — тот и сидя сидит,
 А который сидя сидит — тот и лёжа лежит».
 Говорил Вольга таковы слова:
 «Ай же, оратай-оратаюшко,
 Поедем со мною в товарищах!»
 Этот оратай-оратаюшко

¹ Па́бедье — время, близкое к полдню.

² Солóвая — лошадь со светло-коричневой шерстью, белыми хвостом и гривой.

³ Гуж, гúжик — мочальные или ременные петли, которыми оглобли прикрепляются к хомуту.

⁴ Мех — здесь: мешок.

⁵ Шалы́га — плеть, кнут.



Гужики шелковеньки повыстегнул,
Кобылку из сошки повывернул,
Сели на добрых коней, поехали.
Говорил оратай таковы слова:
«Ай же, Вольга Святославович!
Оставил я сошку в бороздочке,
И не для-ради прохожего-проезжего,
А для-ради мужика-деревенщины,
Как бы сошку с земельки повыдернути,
Из омешиков земельку повытряхнути
И бросить бы сошку за ракитов куст?»
Молодой Вольга Святославович
Посылает он с дружинишки хоробрыя
Пять молодцов могучиих,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Эта дружинишка хоробрая,
Пять молодцов могучиих,
Приехали к сошке кленовые:
Они сошку за обжи¹ вокруг вертят,
А не могут сошки с земельки повыдернути,
Бросить сошку за ракитов куст.
Молодой Вольга Святославович
Посылает он целым десяточком,
Чтобы сошку с земельки повыдернули,
Из омешиков земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитов куст.
Они сошку за обжи вокруг вертят:
Сошки от земли поднять нельзя,
Не могут из омешиков земельку повытряхнуть,
Бросить сошку за ракитов куст.
Посылал он всю дружинишку хороброю:
Они сошку за обжи вокруг вертят,
А не могут сошки с земельки повыдернути,
Из омешиков земельку повытряхнути,
Бросить сошку за ракитов куст.
Подъехал оратай-оратаюшко
На своей кобылке соловенькой
Ко этой ко сошке кленовой:
Брал-то он сошку одной рукой,
Сошку с земельки повыдернул,
Из омешиков земельку повытряхнул,
Бросил сошку за ракитов куст.
Сели на добрых коней, поехали.
Оратая кобылка-то рысью идёт,
А Вольгин-от конь и поскакивает;

¹. Обжи — оглобли у сохи.

У оратая кобылка-то грудью пошла,
А Вольгин-от конь остается.
Стал Вольга тут покрикивати,
Колпаком Вольга стал помахивати:
«Постой-ка ты, ратай-ратаюшко!
Этая кобылка коньком бы была, —
За эту кобылку пятьсот бы дали».
Говорил оратай таковы слова:
«Глупый Вольга Святославгович!
Взял я кобылку жеребчиком с-под матушки
И заплатил за кобылку пятьсот рублей:
Этая кобылка коньком бы была, —
За эту кобылку сметы бы нет»¹.
Говорил Вольга Святославгович:
«Ай же ты, ратай-ратаюшко!
Как-то тебя именем зовут,
Как величают по отчеству?»
Говорил оратай таковы слова:
«Ай же, Вольга Святославгович!
А я ржи напашу, да во скирды сложу,
Во скирды складу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру², да и пива наварю,
Пива наварю, да и мужичков напою,
Станут мужички меня покликивать:
«Молодой Микулушка Селянинович!»

Устное народное творчество и литература

Устное народное творчество — сокровищница народной мудрости.

Многие писатели, художники, композиторы живо интересовались народным творчеством. Вы знаете, как любил и собирал народные сказки А. С. Пушкин, сколько замечательных картин о богатырях и сказочных героях написал художник В. М. Васнецов. Былинный Садко стал героем оперы Н. А. Римского-Корсакова. «Золушка» — название не только старой сказки, но и современных кинофильма, пьесы, балета.

Сказки, загадки, пословицы, поговорки, былины, песни, частушки, сказы, легенды создавались народом с незапамятных времён и передавались из уст в уста от поколения к поколению. Вот почему каждое произведение устного народного творчества имеет различ-

¹ *Смёты нет* — цены нет.

² *Дрань* — мука первого, грубого размола. *Драни надеру* — муки намелю.

ные варианты. Так, например, записано более сорока вариантов былины «Илья Муромец и Соловей Разбойник».

Около тысячи лет назад возникла русская письменная литература¹, появились первые книги, написанные от руки.

Среди первых произведений русской литературы были летописи, в которых записывались исторические события по годам, или, как говорили в старину, по лётам. Кроме этих записей, летописи содержали множество повестей, легенд, сказаний. «Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 году» написана неизвестным автором и является одной из летописных повестей. С особенным воодушевлением пишет автор об отважной дружине рязанского вельможи² Евпатия Коловрата.

Повесть о Евпатии Коловрате

И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и пошёл ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять дней неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а иные от великих трудов и ран изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли поганые³ на город — одни с огнями, другие со стенобитными орудиями, а третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань месяца декабря в 21-й день... И не осталось во граде ни одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе лежали мёртвые...

И некий из вельмож рязанских, по имени Евпатий Коловрат, был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем, и услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в землю Рязанскую и увидел её опустевшую, города разорены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался во град Рязань и увидел город разорён, государей⁴ убитых и множество народа полёгшего. И воскричал Евпатий в горести души своей, распаляясь в сердце своём. И собрал небольшую дружину — тысячу семьсот человек. И погнались вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле Суздальской, и внезапно напали на станы⁵ Батыевы. И начали сечь без милости, и смешались все полки татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими.

¹ Слово *литература* происходит от латинского слова *littera* — буква.

² *Вельмóжа* — родовитый, знатный человек.

³ *Погáные* — люди не христианской веры.

⁴ *Госудáри* — здесь: вельможи, князья.

⁵ *Стан* — военный лагерь; здесь: войска.

Почудилось татарам, что мёртвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и мужественно, что и сам царь устрасился.

И едва поймали татары из полка Евпатьева пять человек воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю Батыю, а царь Батый стал их спрашивать: «Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне много зла творить?» Они же отвечали: «Веры мы христианской, воины великого князя Юрия Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать¹. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать чаш на великую силу — рать татарскую». Царь же подивился ответу их мудрому. И послал шурина² своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки татарские. Хостоврул же похвалился перед царём, обещал привести к царю Евпатия живого. И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и рассёк Хостоврула на полы³ до седла. И стал сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил: одних пополам рассекал, а других до седла разрубал. И возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И навели на него множество орудий для метания камней, и стали бить по нему из бесчисленных камнемётов, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батыю. Царь же Батый послал за мурзами⁴, и князьями, и санчакбеями⁴ — и стали все дивиться храбрости, и крепости, и мужеству воинства Рязанского. И сказали царю приближённые: «Мы со многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а таких удалцов и резвцов не видали, и отцы наши не рассказывали нам. Это люди крылатые, не боятся они смерти и так крепко и мужественно на конях бьются: один с тысячею, а два — с тьмою⁵. Ни один из них не съедет живым с побоища». И сказал Батый, глядя на тело Евпатьево: «О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своею дружиною, и многих богатырей сильной орды моей побил, и много полков разбил. Если бы такой вот служил у меня — держал бы его у самого сердца своего». И отдал тело Евпатия оставшимся людям из его дружины, которых похватали на побоище. И велел царь Батый отпустить их и ничем не вредить им.

¹ *Почествовать, и с честью проводить, и честь тебе воздать* — здесь насмешливо: оказать тебе почтение.

² *Шурин* — брат жены.

³ *Наполы* (устар.) — надвое, пополам.

⁴ *Мурза, санчакбей* — татарские вельможи.

⁵ *Тьма* (устар.) — десять тысяч. В переносном смысле — несметное множество.

Вопросы и задания.

1. О каком времени и каких событиях рассказывается в повести?
2. Какими словами рисует автор горестную картину разорения Рязани?
3. Почему Евпатий Коловрат и его малая дружина отважились вступить в бой с ордами татарскими? Что придало им силы в грозной сече? Как описывается в повести эта битва?
4. Расскажите, как бился Евпатий Коловрат с Хостоврулом и как он погиб. Чем похож Евпатий Коловрат на былинного богатыря? Найдите в повести гиперболы. Какова их роль в изображении героев повести?
5. Что сказали о мужестве Евпатия Коловрата и его дружины приближённые хана и сам Батый?
6. Рассмотрите картину М. Авилова «Поединок Пересвета с Челубеем» (см. цветную вклейку II). Что вы можете рассказать об участниках поединка? Как вы думаете, какой момент боя изображён на картине? Сравните героев картины с героями «Повести о Евпатии Коловрате». Напишите сочинение по этой картине.

А. К. Толстой

Курган

В степи, на равнине открытой,
Курган одинокий стоит;
Под ним богатырь знаменитый
В минувшие веки зарыт.

...И вот миновались годы,
Столетия вслед протекли,
Народы сменили народы,
Лицо изменилось земли.

Курган же с высокой главою,
Где витязь могучий зарыт,
Ещё не сравнялся с землёю,
По-прежнему гордо стоит.

А витязя славное имя
До наших времён не дошло...
Кто был он? Венцами какими
Своё он украсил чело?..



Иван Андреевич КРЫЛОВ

(1769—1844)

Великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова наш народ издавна зовёт дедушкой Крыловым. У его памятника в Летнем саду¹ в Ленинграде всегда собираются дети. Они внимательно рассматривают сидящего в кресле поэта, с интересом вглядываются в изображённых на памятнике героев басен — разных зверей и птиц.

И. А. Крылов писал стихи, пьесы, издавал журналы, но настоящим его призванием была басня.

Много горькой правды говорил баснописец о несправедливых порядках в царской России, о жестоких помещиках, корыстных чиновниках, чванных вельможах.

Мы смеёмся над героями басен — потешными зверями,

¹ Летний сад — старинный парк в Ленинграде.

иногда хитрыми и злыми, иногда глупыми. Но мы хорошо понимаем, что Крылов высмеивает и разоблачает человеческие пороки и недостатки: лень, зависть, невежество.

Герои басен Крылова — добродушный увалень Медведь, хитрая, льстивая Лиса, тупой упрямый Осёл и другие как будто пришли из народных сказок. Многие строки его басен стали пословицами и поговорками: «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?», «Недаром говорится, что дело мастера боится», «Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на слона» и многие другие.

Язык басен Крылова удивительно прост и ясен. Стихи звучат как живой, непринуждённый разговор. Баснописец так рассказывает о различных поучительных происшествиях, что читатель не только узнаёт, что случилось с героями, но и видит перед собой яркую живую сценку.

Уже при жизни баснописца его сочинения знала вся Россия. Русский писатель Н. В. Гоголь назвал басни Крылова «книгой мудрости самого народа».

Известный советский поэт М. В. Исаковский посвятил Крылову стихи:

Кто не слышал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим всё сильней.
Всё знал и видел ум певца пыливый,
Всего сильней желая одного,
Чтоб жили жизнью вольной и счастливой
Народ его и родина его.

Волк и Ягнёнок

У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров слышим.

Но мы истории не пишем;
А вот о том как в баснях говорят.

Ягнёнок в жаркий день зашёл к ручью напиться;

И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягнёнка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питьё
Моё
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву!»



— «Когда светлейший¹ Волк позволит,
Осмелюсь я донести, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу».

— «Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты ещё в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!»

— «Помилуй, мне ещё и от роду нет году», —
Ягнёнок говорит. — «Так это был твой брат».

— «Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват,
И словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи —
Вы все мне зла хóтите
И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи».

— «Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», —
Сказал — и в тёмный лес Ягнёнка поволок.

Вопросы и задание.

1. Для чего Волк затеял спор с Ягнёнком? Удалось ли ему доказать вину Ягнёнка?
2. Как ведёт себя в споре Ягнёнок?
3. Как проявляется наглость Волка и беззащитность Ягнёнка в их речи?
4. Кто и почему побеждает в споре?
5. К какому произведению, прочитанному в IV классе, можно отнести слова: «У сильного всегда бессильный виноват»?
6. Прочитайте басню в лицах.
7. Как удалось художнику А. Лаптеву передать на рисунке характер и повадки героев басни?

¹ *Светлѣйшій* — почётное обращение к особенно знатным князьям.



Квартет¹

Проказница Мартышка,
Осёл,
Козёл

Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.

Достали нот, баса, альт², две скрипки

И сели на лужок под липки —

Пленять своим искусством свет.

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

«Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. — Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.

Ты с басом, Мишенька, садись против альт²;

Я, прима³, сяду против вторы³,

¹ *Квартет* — музыкальное произведение для четырех инструментов или ансамбль из четырех музыкантов.

² *Бас, альт* — струнные или духовые музыкальные инструменты с низким звучанием.

³ *Прима* — здесь: первая скрипка. *Втора* — здесь: вторая скрипка.

Тогда пойдёт уж музыка не та:
 У нас запляшут лес и горы!♦
 Расселись, начали Квартет;
 Он всё-таки на лад нейдёт;
 — «Постойте ж, я сыскал секрет, —
 Кричит Осёл, — мы, верно, уж поладим,
 Коль рядом сядем!♦
 Послушались Осла — уселись чинно в ряд;
 А всё-таки Квартет нейдёт на лад.
 Вот пуще прежнего пошли у них разборы
 И споры,
 Кому и как сидеть.
 Случилось Соловью на шум их прилететь.
 Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье.
 — «Пожалуй, говорят, — возьми на час терпенье,
 Чтобы Квартет в порядок наш привести:
 И ноты есть у нас, и инструменты есть.
 Скажи лишь, как нам сесть!♦ —
 — «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
 И уши ваших понежней, —
 Им отвечает Соловей, —
 А вы, друзья, как ни садитесь,
 Всё в музыканты не годитесь»♦.

Вопросы и задание.

1. Как «музыканты» пытались наладить игру? Над чем мы смеёмся, читая басню?
2. В каких словах выражена главная мысль басни?
3. Прочитайте басню в лицах.
4. Какие строки басни наиболее точно передают содержание иллюстрации?

Волк на псарне

Волк ночью, думая залезть в овчарню,
 Попал на псарню.
 Поднялся вдруг весь псарный двор.
 Почуя серого так близко забияку,
 Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;
 Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!» —
 И вмиг ворота на запор;
 В минуту псарня стала адом.
 Бегут: иной с дубьём,
 Иной с ружьём.
 — «Огня!.. — кричат. — Огня!» — Пришли с огнём.
 Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.



Зубами щёлкая и ошетиная шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит наконец
Ему расчесться за овец, —
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришёл мириться к вам, совсем не ради ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я не только впредь не трону здешних стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я...» — «Послушай-ка, сосед, —
Тут Ловчий¹ перервал в ответ, —
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

¹ Ловчий — главный псарь, ведавший всей псовой охотой.

Вопросы и задание.

1. Найдите слова и выражения, с помощью которых автор рисует переполох на псарне.
2. Как ведёт себя Волк?
3. Почему Ловчий не поверил миролюбивым словам Волка?
4. Какие строки басни стали пословицами и поговорками?
5. Басня «Волк на псарне» была написана И. А. Крыловым во время Отечественной войны 1812 года. Французы заняли Москву. Наполеон предложил Кутузову заключить мир, но предложение было отвергнуто, и вскоре началось изгнание французов из России. Иван Андреевич Крылов послал эту басню Кутузову в действующую армию. Как вы думаете, почему он это сделал?

Демьянова уха

«Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушай». —
«Соседушка, я сыт по горло». — «Нужды нет,
Ещё тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» —
«Я три тарелки съел». — «И, полно, что за счёты:
Лишь стало бы охоты, —
А то во здравье: ешь до дна!
Что за уха! Да как жирна:
Как будто янтарём подёрнулась она.
Потешь же, миленький дружок!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек!
Ещё хоть ложечку! Да кланяйся, жена!» —
Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку
И не давал ему ни отдыха, ни сроку;
А с Фоки уж давно катился градом пот.
Однако же ещё тарелку он берёт:
Сбирается с последней силой
И — очищает всю. «Вот друга я люблю! —
Вскричал Демьян. — Зато уж чванных не терплю.
Ну, скушай же ещё тарелочку, мой милой!»
Тут бедный Фока мой,
Как ни любил уху, но от беды такой,
Схватя в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой —
И с той поры к Демьяну ни ногой.

Вопросы и задание.

1. Что осмеивает Крылов в басне?
2. В каких случаях употребляется выражение «демьянова уха»?
3. Приготовьте инсценировку басни и разыграйте её.

О басне

Вы знаете много басен — коротких занимательных рассказов в стихах и прозе, где действуют не только люди, но и животные, и различные предметы.

Однако басня не сказка. Изображая животных, птиц, растения, баснописец высмеивает пороки и слабости людей, борется за правду и справедливость.

Каждый герой басни олицетворяет собой определённые качества: Волк — жестокость, коварство, грубость, жадность; Ягнёнок — слабость, незащитность, искренность; Лиса — хитрость, лицемерие, льстивость; Осёл — невежество, упрямство, тупость и т. д.

Такое изображение жизни, которое таит в себе иной, скрытый смысл, называется аллeгорией. Аллегория — слово греческое, в переводе оно означает иносказание.

Забавные события и смешные герои басен заставляют нас смеяться, но, если вдуматься, смеёмся ведь мы не над самими животными, а над теми пороками и недостатками, которые осуждает баснописец. Главная мысль басни всегда серьёзна. Автор высказывает её в форме нравоучительного вывода, который даётся обычно в начале или в конце басни и называется моралью.

Таким образом, басня — небольшой аллегорический рассказ с поучительным смыслом.

Вопросы и задания.

1. Какие литературные произведения называются баснями?
2. Что мы называем моралью басни? Приведите примеры нравоучительных выводов из басен И. А. Крылова.
3. Что такое аллегория?
4. Назовите басни, из которых взяты следующие выражения, ставшие пословицами и поговорками. Запомните эти «крылатые слова»:
 - 1) Слона-то я и не заметил.
 - 2) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
 - 3) Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку.
 - 4) Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт.
 - 5) А воз и ныне там.
 - 6) А Васька слушает да ест.
5. Подберите из знакомых вам басен выражения, ставшие пословицами и поговорками.

Александр Сергеевич ПУШКИН (1799—1837)

Пушкин! Это солнечное имя сопровождает нас всю жизнь. Мы впервые слышим его в самом раннем детстве и, ещё не умея читать, уже повторяем наизусть со слов матери: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». Мир пушкинских сказок живёт с нами и позже, в школьные годы:

Там чудеса, там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит...
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

Пушкин учит нас чувствовать поэзию родного русского народа, будит в наших сердцах любовь к художественному слову.

Больше ста лет прошло со дня смерти Пушкина, а память о нём не умирает, любовь к нему не гаснет, слава его всё растёт.

Пушкин — самый любимый писатель в нашей стране. Всё,



что ни рассказывает он в своих сочинениях, так интересно, так увлекательно!

Начнёт ли он рассказывать о подвигах богатыря Руслана — его встрече с живой головой и о сражении с волшебником Черномором, — о трусливом и коварном Фарлафе, невозможно оторваться от чтения, пока не дойдёшь до конца; читаем ли мы о приключениях юноши Дубровского, сделавшегося разбойником, чтобы отомстить помещику Троекурову, который разорил и погубил его отца, — везде мы находим самый живой, глубоко волнующий рассказ.

Пушкин не только изображает людей и события своего времени, но показывает и далёкое прошлое. В «Песни¹ о вещем Олеге», например, мы читаем о старине, о древних русских обычаях.

Пушкин — один из самых умных людей на свете — и нас делает умнее. Читая его книги, мы начинаем многое видеть в жизни, на что раньше не обращали внимания, и многое глубже понимать в окружающем мире.

Пушкин, как и мы, радовался, страдал, любил и ненавидел, и об этих своих чувствах он рассказывал такими верными, точными и такими прекрасными словами, что, читая их, мы повторяем эти слова, как свои собственные, потому что они выражают и наши чувства. Разве не волнуют нас ласковые, душевные слова, с какими обращается Пушкин к своей старушке няне:

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня...

Пушкин учит нас любить свою родину, трудиться для неё и гордиться ею, ценить и любить свободу, ненавидеть рабство и угнетение.

Пушкин учит нас правдивости и смелости. Он учит не скрывать от себя того, что в жизни есть тяжёлого и неприятного, не робеть перед опасностью, а решительно и храбро преодолевать её.

Читая Пушкина, мы становимся лучше. Под влиянием его поэзии в нас пробуждаются самые светлые, добрые, самые благородные чувства...

Поэзия Пушкина — неисчерпаемый источник, который, как в сказке, поит «живою водою» всех, кто прикоснётся к нему. Всем своим творчеством Пушкин служил родному народу, и народ платит ему ответной любовью.

¹ В «Песни...» — предл. пад. от. сущ. III скл. *песнь* (устар.)

Москва... как много в этом звуке
 Для сердца русского слилось!
 Как много в нём отозвалось!
 Вот, окружён своей дубравой,
 Петровский замок ¹. Мрачно он
 Недавнею гордится славой.
 Напрасно ждал Наполеон,
 Последним счастьем упоенный,
 Москвы коленопреклоненной
 С ключами старого Кремля:
 Нет, не пошла Москва моя
 К нему с повинной ² головою.
 Не праздник, не приёмный дар,
 Она готовила пожар
 Нетерпеливому герою.
 Отселе ³, в думу погружён,
 Глядел на грозный пламень он.

(Из романа «Евгений Онегин»)

Вопрос и задание. Какие чувства вызывает у поэта Москва? Постарайтесь передать их в своём чтении.

Зимнее утро

Мороз и солнце; день чудесный!
 Ещё ты дремлешь, друг прелестный, —
 Пора, красавица, проснись;
 Открой сомкнуты негой взоры
 Навстречу северной Авроры ⁴,
 Звездою севера явись!
 Вечор ⁵, ты помнишь, вьюга злилась,
 На мутном небе мгла носилась;
 Луна, как бледное пятно,
 Сквозь тучи мрачные желтела,
 И ты печальная сидела —
 А нынче... погляди в окно:
 Под голубыми небесами
 Великолепными коврами,
 Блестя на солнце, снег лежит;
 Прозрачный лес один чернеет,

¹ Петровский замок, который сейчас находится в черте города, раньше был недалеко от въезда в Москву. В 1812 году, во время похода в Россию, Наполеон останавливался в нём.

² *Повинная* — здесь: покорная.

³ *Отселе* (устар.) — отсюда.

⁴ *Аврора* — здесь: заря.

⁵ *Вечор* — вчера вечером.

И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Весёлым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

Вопросы и задание.

1. Каким настроением проникнуто стихотворение?
2. Найдите картины вьюжного вечера и солнечного утра.
3. Какие слова и выражения помогают нам представить себе эти картины и пережить чувства поэта?

Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,

И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На чёрный отдалённый путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.

Вопросы и задание.

1. Какие чувства выразил поэт в этом стихотворении? Как мы узнаём о них?
2. Найдите слова и отдельные выражения, которыми Пушкин передаёт тревогу няни, её тоску.
3. Какой рисунок можно было бы нарисовать к этому стихотворению?

Об эпитете

Перечитаем пушкинские строки:

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела...

Простые имена прилагательные получили в этих строках удивительную силу: они не только «раскрашивают» картину, которую

рисует поэт, но и заставляют нас переживать то, что переживал Пушкин.

Мутное небо; луна, как бледное пятно, среди мрачных туч — какое тоскливое зрелище зимней вечерней непогоды! А рядом совсем другая картина: яркое, солнечное зимнее утро, которое радует и бодрит человека:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит...

И в этой картине очень велика роль прилагательных-определений: они передают и цвет неба (голубые небеса), и восхищение поэта белоснежными коврами сугробов (великолепные ковры).

В поэтической речи имя прилагательное нередко становится художественным определением, то есть эпитетом.

Эпитеты (художественные определения) выделяют в предметах такие свойства, которые производят особенно сильное впечатление, действуют на воображение, чувство:

Вся комната янтарным блеском
Озарена...

Всякое ли прилагательное — эпитет?

Вот простая фраза:

«Неприветливый, угрюмый каменный дом стоит у дороги».

Все три первых её слова с точки зрения грамматики — прилагательные. Но и «неприветливый» и «угрюмый» мы можем при этом считать ещё и эпитетами. Этими словами автор выразил своё отношение к «дому». А будет ли слово «каменный» тоже эпитетом? Нет, конечно. Это слово является простым определением. Оно означает постоянное и неизменное свойство предмета. Каменный дом при всех обстоятельствах остаётся каменным. Но только от автора зависит увидеть его «угрюмым» или «радостным», «неприветливым» или «гостеприимным».

То же прилагательное «каменный» может стать эпитетом, если мы скажем «каменное сердце» (жестокое сердце), «каменное лицо» (невывразительное, неподвижное лицо).

Художественные определения широко употребляются и в устном народном творчестве, однако там они называются постоянными эпитетами: они как бы «прирастают» к определённым словам и постоянно с ними сочетаются: море синее, поле чистое, стрела-калёная, добрый молодец, красна девица и т. д.

Вопросы и задания.

1. Найдите эпитеты, которыми поэт характеризует Наполеона («Москва... как много в этом звуке...»). Почему к слову «пламень» (в последней строке) дан эпитет «грозный»?
2. Какие эпитеты (в стихотворении «Зимнее утро») выражают радость поэта и восхищение прекрасной зимней природой?

3. Найдите эпитеты в стихотворении «Няне». Что они выражают?
4. Выпишите из данных ниже сочетаний слов те, где есть эпитеты:
 прозрачный тюль — прозрачный намёк;
 железная воля — железный лом;
 горькое лекарство — горькие слёзы;
 сладкий пирог — сладкий сон.
5. Какие постоянные эпитеты мы находим в былинах к следующим словам: дорога, конь, руки, стрела, ворон, цветы, лес? Придумайте к этим словам свои эпитеты.

судьбы — 4

10-11-3 Песнь о вещем¹ Олеге

бума — 3

10-2

Как ныне сбирается вещий Олег
 Отмстить неразумным хозарам²:
 Их сёла и нивы за буйный набег
 Обр³ек он мечам и пожарам³.
 С дружиной своей, в цареградской броне,
 Князь по полю едет на верном коне.

Из тёмного леса навстречу ему
 Идёт вдохновенный кудесник⁴,
 Покорный Перуну⁵ старик одному,
 Заветов грядущего вестник,
 В мольбах и гаданьях прошедший весь век.
 И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
 Что сбудётся в жизни со мною?
 И скоро ль, на радость соседей-врагов,
 Могильной засыплюсь землёю?
 Открой мне всю правду, не бойся меня:
 В награду любого возьмёшь ты коня».

«Волхвы не боятся могучих владык,
 А княжеский дар им не нужен;
 Правдив и свободен их вещий язык
 И с волей небесною дружен.
 Грядущие годы таятся во мгле;
 Но вижу твой жребий⁶ на светлом челе⁷.

¹ Вещий — мудрый.

² Хозáры, хазáры — народ, живший в VIII—XI веках в низовьях Волги и на Северном Кавказе.

³ Обр³ек он мечам и пожарам — решил разрушить и сжечь.

⁴ Кудесник — волхв, волшебник, колдун, предсказатель, прорицатель.

⁵ Перу́н — главное божество у древних славян, бог грома и молнии.

⁶ Жр⁶ебий — здесь: будущее, судьба.

⁷ Челó (устар.) — лоб.

Запомни же ныне ты слово моё:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твоё;
Твой щит на вратах Цареграда¹;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ², и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...
Под грозной бронёй ты не ведаешь ран:
Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю,
И холод и сеча³ ему ничего.
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся; однако чело
И взор омрачились думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время:
Теперь отдыхай, уж не ступит нога
В твоё позлащённое стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки-друзи⁴, возьмите коня!

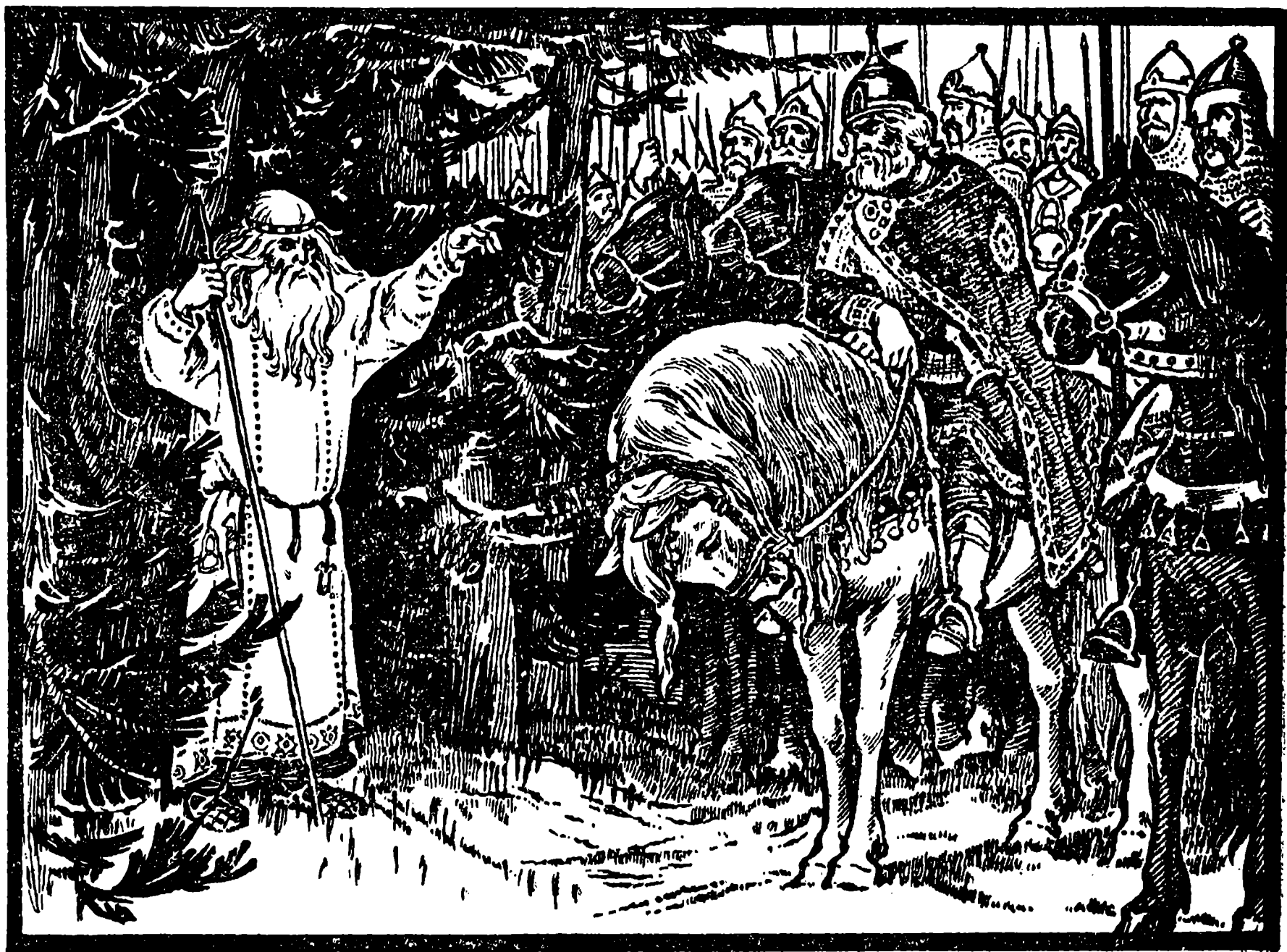
Покройте попоной, мохнатым ковром!
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте, кормите отборным зерном,
Водой ключевою поите».
И отроки тотчас с конём отошли,
А князю другого коня подвели.

¹ По преданию, Олег прибил свой щит над воротами Цареграда в знак победы. Царьградом (Цареградом) называли на Руси Константинополь — столицу Византии.

² Пращ, или праща — сложенный петлёю ремень или верёвка для метания камней.

³ Сеча — здесь: бой, битва.

⁴ Отроки дружи — здесь: слуги князя.



Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне весёлом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

«А где мой товарищ? — промолвил Олег, —
Скажите, где конь мой ретивый¹?
Здоров ли? Всё так же лёгок его бег?
Всё тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твоё предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.

¹ Кудесник

² Перуны

³ Жребий

⁴ Челобитный — здесь: быстрый, бойкий.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь¹ и старые гости,
И видят: на холме, у берега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокий!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне², уже недалёкой,
Не ты под секирой³ ковыль обagriшь
И жаркою кровью мой прах напоишь⁴!

Так вот где таилась гибель моя!
Мне смертью кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змея
Шипя между тем выползала;
Как чёрная лента, вокруг ног обвилась:
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга⁵ на холме сидят;
Дружина пирует у берега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

Вопросы и задания.

1. Какие картины можно нарисовать к стихотворению? Что бы вы на них изобразили? Придумайте названия к ним.
2. Какую судьбу предсказывает кудесник Олегу?
3. Как относится Олег к его предсказанию?
4. Найдите в стихотворении слова и выражения, характеризующие князя Олега.
А как характеризует кудесника его ответ князю?
5. Расскажите, какими изображены на иллюстрации художника В. Васнецова князь Олег и кудесник.
Какие строки стихотворения передают содержание рисунка?

¹ Игорь — киевский князь, княжил после Олега.

² Тризна — поминки.

³ Секи́ра — старинное оружие в виде топора на длинной рукояти.

⁴ У древних славян-язычников был обычай вместе с умершим воином хоронить его любимого коня.

⁵ Ольга — жена Игоря.

О летописном источнике «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина

Многие поэты и писатели обращались к прошлому и находили в нём немало увлекательных преданий и легенд, на основе которых создавали свои произведения. Особенно интересный материал давали древнерусские летописи.

Одна из летописных легенд — о смерти киевского князя Олега, жившего во второй половине IX — начале X века, — привлекла внимание и Пушкина. Вот как рассказывается о смерти Олега в летописи:

«Олег княжил в Киеве и жил в мире со всеми странами. Наступила осень, и вспомнил Олег про своего коня, которого он поставил кормить и не садился на него. Потому что он перед тем спрашивал волхвов, кудесников: «От чего мне суждено умереть?» И один из кудесников сказал ему: «Князь! Тебе умереть от того коня, которого ты любишь и на котором едешь». Олегу это запало в ум, и он сказал: «Никогда больше не сяду на этого коня и даже не буду на него смотреть». И велел он кормить его и не приводить к себе. И прошло уже несколько лет, как он не видал его, вплоть до похода на греков. И вернувшись в Киев, он прожил ещё четыре года, на пятый год вспомнил про своего коня, от которого волхвы предсказали ему смерть. И призвал Олег своего старшего конюха и сказал ему: «Где мой конь, которого я велел кормить и беречь?» Конюх сказал: «Он умер». Олег же посмеялся и попрекнул кудесника, говоря: «Неправду говорят волхвы, всё это ложь: конь умер, а я жив». И велел оседлать себе коня: «Посмотрю на его кости». И приехал он на место, где лежали голые кости коня и его голый череп, и слез Олег с коня и посмеялся такими словами: «Не от этого ли черепа мне умереть?», и наступил ногою на череп; и выползла оттуда змея и ужалила ему ногу, он от этого разболелся и умер. И все плакали о нём великим плачем, и понесли его, погребли на горе, которая называется Щековица. Эта могила цела до сих пор; она слывет Олеговой могилой. Всего он княжил 33 года».

Вопросы.

1. В чём сходство и различие между летописным рассказом и стихотворением Пушкина?
2. О каких обычаях и верованиях наших предков рассказал Пушкин в «Песни о вещем Олеге»?

Дубровский

ТОМ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА I

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия¹ как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения.

Никто не дерзал отказываться от его приглашения или в известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселё... С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своеправно, но они тщеславились² богатством и славою своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали, за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик³ гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный⁴ в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принуждён был выйти в отставку и поселиться в остальной⁵ своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему своё покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троеку-

¹ *Подобостра́стие* — льстивость, угодливость.

² *Тщесла́вились* — хвалились, кичились.

³ *Пору́чик* — один из низших офицерских чинов.

⁴ *Надме́нный* — высокомерный, подчёркивающий своё превосходство перед другими, презрительно к ним относящийся.

⁵ *Оста́льная деревня* — последняя оставшаяся деревня.

ров, отставной генерал-аншеф¹, приехал в своё поместье; они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходились отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели...

Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром, что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головою и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабёнки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай всё расстроил и переменял.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъездное поле². Накануне был отдан приказ псарям и стремянным³ быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперёд на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своём собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак под присмотром штаб-лекаря⁴ Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окружённый своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здравии больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с

¹ *Генерал-аншеф* — высший генеральский чин.

² *Отъездное поле* — отдалённое от поместья поле, куда выезжали на охоту.

³ *Стремянный* — конюх-слуга. Ухаживал за лошадью барина, во время охоты был неотлучно около своего господина.

⁴ *Штаб-лекарь* — здесь: главный лекарь.

ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения.

— Что же ты хмуришься, брат, — спросил его Кирила Петрович, — или псарня моя тебе не нравится?

— Нет, — отвечал он сурово, — псарня чудная — вряд людям вашим житьё такое же, как вашим собакам.

Один из псарей обиделся.

— Мы на своё житьё, — сказал он, — благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее.

Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа¹, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова.

В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорождённых щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нём. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как ещё сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгорячённый наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал. Кирила Петрович, встав из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

«Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказывать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопов»

¹ Холоп — крепостной слуга.

не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорный ко услугам

Андрей Дубровский».

— Как, — загремел Троекуров, вскочив с постели босой, — высылать к нему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! Да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, какво идти на Троекурова!

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили¹. Обед в поле под палаткою также не удался или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбранил гостей и на возвратном пути со всею своею охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское, Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое своё владение; приближаясь к берёзовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привёл их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, прочить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошёл до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистенёвку (так называлась деревня его соседа), разорить её дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковы подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжёлыми шагами взад и вперёд по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой ши-

¹ Протравили — здесь: не поймали, упустили. Травить зверя — охотиться на него с собакой.

нели¹ вышел из телеги и пошёл во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя² Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвечивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

— Здорово, как бишь тебя зовут, — сказал ему Троекуров, — зачем пожаловал?

— Я ехал в город, ваше превосходительство, — отвечал Шабашкин, — и зашёл к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.

— Очень кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

Таковой ласковый приём приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

— У меня сосед есть, — сказал Троекуров, — мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь?

— Ваше превосходительство, коли есть какие-либо документы или...

— Врёшь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

— Мудрено, ваше превосходительство; вероятно, сия продажа совершена законным порядком.

— Подумай, братец, поищи хорошенько.

— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую³, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! Чего ж вам лучше? В таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

— Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твоё усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дня стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчёт его владения сельцом Кистенёвкой.

Андрей Гаврилович, изумлённый неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистенёвка досталось ему по смерти

¹ Фри́зовая шинель — шинель из грубого сукна с длинным ворсом.

² Заседа́тель — здесь: служащий суда, помощник судьи.

³ Купча́я — документ на приобретённое, купленное имущество.

покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание¹ на сию его собственность есть ябеда² и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение. Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но в последствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тянуться. Уверенный в своей правоте, Андрей Гаврилович мало о нём беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени³, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела. Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, страдая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы.

Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городовую полицию приглашение явиться к земскому судье⁴ для выслушивания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него и на другой день утром явился в присутствие⁵ уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях. Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда...

¹ *Притязание* — здесь: попытка присвоить.

² *Ябеда* — здесь: судебная кляуза, наговор.

³ *Чернильное племя* — презрительное название чиновников.

⁴ *Земский судья* — выборный судья, ведавший судебными делами дворян в уезде.

⁵ *Присутствие* — здесь: помещение, где находился уездный суд.



«...Суд и полагает: означенное имение (** душ), с землёю и угодьями, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова...

Каковое решение подписали все присутствующие того суда».

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное своё удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднёс ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему своё приглашение подписать своё полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие,

если паче чаяния¹ чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции² куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божью! прочь, хамово племя!» — Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, — продолжал он, — псари вводят собак в божью церковь! Собаки бегают по церкви. Я вас ужó проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилу им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судьи, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постели; уездный лекарь, по счастью не совершенный невежда, успел пустить ему кровь, приставить пиявки и шпанские мухи³. К вечеру ему стало легче, больной пришёл в память. На другой день повезли его в Кистенёвку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё ещё было плохо. Правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребёнком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме неё, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всём молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находившегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистенёвскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в кадетском корпусе⁴ и

¹ *Пáче чáяния* — вопреки ожиданию.

² *Апелля́ция* — обжалование судебного приговора.

³ *Шпа́нские мухи* — пластырь из высушенного и измельчённого жучка, известного под названием *шпанская муха*.

⁴ *Каде́тский ко́рпус* — закрытое военное училище для детей дворян.

выпущен был корнетом¹ в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей², Гриша, его камердинер³, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочёл следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, — я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит как дитя глупое, а в животе и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихние, а мы искони Ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырёва.

Посылаю моё материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот ужо другá неделя и пастух Родя помер около Миколина дня».

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства, и, почти не зная отца своего, был привезён в Петербург на восьмом году своего возраста; со всем тем он романтически⁴ был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться её тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и угасающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нём осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один,

¹ *Корнёт* — младший офицерский чин в кавалерии.

² *Куря из янтарей* — куря из дорогих трубок с янтарными мундштуками.

³ *Камердинер* — комнатный слуга.

⁴ *Романтически* — здесь: необыкновенно сильно и нежно.

написал просьбу об отпуске, закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистенёвку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошёл к смотрителю и спросил вольных лошадей. Смотритель¹ осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистенёвки, ожидали его уже четвёртые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкой. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин ещё жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повёз его просёлочными дорогами, и между ними завязался разговор.

— Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

— А бог их ведаёт, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд — хотя по часту он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а, ей-богу, напрасно батюшка ваш пошёл на Кирила Петровича, плетью обуха не перешибёшь.

— Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

— И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник² у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

— Правда ли, что отымает он у нас имение?

— Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал на крестинах у нашего старосты; полно вам гулять; вот ужó приберёт вас к рукам Кирила Петрович, Микита-кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мутит гостей. Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божьи да государевы; да ведь на чужой рот пуговицы не нашёшь.

— Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

— Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкуру, да и мясо-то отдерёт. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберёт, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выда-

¹ Смотритель — здесь: начальник почтовой станции.

² Исправник — начальник местной полиции.

вай ты нас, а мы уж за тебя станем. — При сих словах Антон размахнулся кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался своим размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гриша пробудил его восклицанием: «Вот Покровское!» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зелёная кровля и бельведер¹ огромного каменного дома; на другом — пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями.

Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел берёзовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нём забилося. Перед собой видел он Кистенёвку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Берёзки, которые при нём только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращён был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб² и окружила молодого барина с шумными изъяснениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и вбежал на ветхое крыльцо. В сенях встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника.

— Здорово, здорово, няня, — повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, — что батюшка, где он? каков он?

В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

— Здравствуй, Володька! — сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего.

Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

— Зачем ты встал с постели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражён был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом...

¹ Бельведёр — башенка над крышей дома.

² Изоб (устар.) — род. пад. мн. ч. от слова изба — изб.

ГЛАВА IV

Где стол был яств¹, там гроб стоит.

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения; у Андрея Гавриловича не было поверенного². Разбирая его бумаги, нашёл он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное, из того не мог он получить ясное понятие о тяжбе и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем положенный срок прошёл, и апелляция не была подана. Кистенёвка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклоном и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретённым имением — самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, и победа не радовала его сердца. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища, к чему привязаться, чтоб его выбрать, но не найдя достаточного к тому предлога, сказал ему сердито:

— Пошёл вон, не до тебя.

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперёд, насвистывая: *«Гром победы раздавайся»*, что всегда означало в нём необыкновенное волнение мыслей.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки³, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворённое мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза за-сверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражён был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом

¹ *Яства* (устар.) — кушанья.

² *Повёренный* — человек, которому доверено вести судебное дело.

³ *Беговые дрожки* — лёгкая двухместная открытая тележка с низкой спинкой.

ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил.

— Скорей, скорей в город за лекарем! — кричал Владимир.

— Кирила Петрович спрашивает вас, — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

— Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошёл!

Слуга радостно побежал исполнять приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками.

— Батюшка ты наш, — сказала она пискливым голосом, — погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас.

— Молчи, няня, — сказал с сердцем Владимир, — сейчас пошли Антона в город за лекарем. — Егоровна вышла.

В передней никого не было. Все люди сбежались во двор смотреть на Кирилу Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла на крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал:

— Не надобно лекаря, батюшка скончался.

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенёс его Владимир, правая рука его висела до полу, голова опущена была на грудь, не было уже и признака жизни в сем теле, ещё не охладелом, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, вымыли его, одели в мундир, сшитый ещё в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

ГЛАВА V

Похороны совершились на третий день.

Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с деревьев.

При выходе из рощи увидели кистенёвскую деревянную церковь и кладбище осенённое старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери, там подле могилы её накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистенёвскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса¹, он не плакал и не молился, но лицо его

¹ Клі́рос — место в церкви, где стоят певчие.

было страшно. Печальный обряд кончился, Владимир первый пошёл прощаться с телом, за ним и все дворовые. Принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слёзы кулаком. Владимир и те же трое слуг понесли его на кладбище, в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в неё по горсти песку, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удался, всех опередил и скрылся в Кистенёвскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет¹ церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по видимому, ожидало его наследника. Приезд Троекурова и приём, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушить душевную скорбь. Он шёл не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в болоте, он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окружённой лесом; ручёк извивался молча около деревьев, полуобнажённых осенью. Владимир остановился, сел на холодный дёрн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он своё одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастия. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки; в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблёклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни — подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошёл искать дороги домой, но ещё долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Приближаясь, увидел он множество народа; крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сюртуках, казалось, о чём-то толковали.

— Что это значит? — спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. — Это кто такие и что им надобно?

— Ах, батюшка Владимир Андреевич, — отвечал старик, задыхаясь. — Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина.

¹ При́чет (притч) — служители церкви.

— Отец ты наш, — кричали они, целуя ему руки, — не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрём, а не выдадим. — Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его.

— Стойте смирно, — сказал он им, — а я с приказными¹ переговорю.

— Переговори, батюшка! — закричали ему из толпы, — да усовестить окаянных.

Владимир подошёл к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти, с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул и произнёс охриплым голосом:

— Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь г. Шабашкин. Слушайтесь его во всём, что ни прикажет...

Владимир кипел от негодования.

— Позвольте узнать, что это значит, — спросил он с притворным хладнокровием у весёлого исправника.

— А это то значит, — отвечал замысловатый чиновник, — что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову.

— Но вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...

— А ты кто такой, — сказал Шабашкин с дерзким взором. — Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим.

— Владимир Андреевич наш молодой барин, — сказал голос из толпы.

— Кто там смел рот разинуть, — сказал грозно исправник, — какой барин, какой Владимир Андреевич? Барин ваш Кирила Петрович Троекуров, слышите ли, олухи.

— Как не так, — сказал тот же голос.

— Да это бунт! — закричал исправник. — Гей, староста, сюда! Староста выступил вперёд.

— Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его! Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил, но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать.

— Да что на него смотреть, — закричали дворовые, — ребята! долой их! — и вся толпа двинулась.

Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собой дверь.

— Ребята, вязать! — закричал тот же голос, и толпа стала напирать...

¹ Приказный — здесь: мелкий служащий канцелярии.

— Стойте, — крикнул Дубровский. — Дураки! что вы это? Вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать.

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошёлся, двор опустел. Члены сидели в доме. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал.

— Мы решили, — продолжал заседатель, — с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной, чем свет мы отправимся восвояси.

— Делайте что хотите, — отвечал им сухо Дубровский, — я здесь уже не хозяин. — С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI

«Итак, всё кончено, — сказал он сам себе, — ещё утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил её облокочённою на перила, в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, — подумал Владимир, — он брошен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или поешен в передней, предмет насмешек и замечаний его псарей, а в её спальней, в комнате, где умер отец, поселится его приказчик... Нет, нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих¹ доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большею частию состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ними попался ему пакет с надписью: *письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время турецкого похода и были адресованы в армию из Кистенёвки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала² на разлу-

¹ Подьячий — делопроизводитель и писарь в канцелярии.

² Сетовала — жаловалась, горевала.

ку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъясляла ему своё беспокойство насчёт здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл всё на свете, погружаясь душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время. Стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожнённые, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошёл мимо их в переднюю. Двери были закрыты. Не найдя ключа, Владимир возвратился в залу — ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол; топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца.

— Зачем ты здесь? — спросил он.

— Ах, Владимир Андреевич, это вы, — отвечал Архип пошепту, — господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою! — Владимир глядел на него с изумлением.

— Я хотел... я пришёл... было проведать, все ли дома, — тихо отвечал Архип запинаясь.

— А зачем с тобою топор?

— Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники — того и гляди...

— Ты пьян, брось топор, поди выпись.

— Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдёт ли вино на ум, слыхано ли дело, подьячие задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эх они храпят, окаянные; всех бы разом, так и концы в воду.

Дубровский нахмурился.

— Послушай, Архип, — сказал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. Не приказные виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною.

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску; собаки залаяли.

— Кто сторожа? — спросил Дубровский.

— Мы, батюшка, — отвечал тонкий голос, — Василиса да Лукерья.

— Подите по дворам, — сказал им Дубровский, — вас не нужно.

— Шабаш, — промолвил Архип.

— Спасибо, кормилец, — отвечали бабы и тотчас отправились домой.

Дубровский пошёл далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши.

— Зачем вы не спите? — спросил он их.

— До сна ли нам, — отвечал Антон. — До чего мы дожили, кто бы подумал...

— Тише! — прервал Дубровский, — где Егоровна?

— В барском доме, в своей светёлке, — отвечал Гриша.

— Поди, приведи её сюда да выведи из дому всех наших людей, чтобы ни одной души в нём не оставалось, кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушёл и через минуту явился с своей матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский, — не осталось ли кого в доме?

— Никого, кроме подьячих, — отвечал Гриша.

— Давайте сюда сена или соломы, — сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

— Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажёл лучину.

— Постой, — сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорее отопри их.

Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: «Как не так, отопри!» — и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

— Ахти, — жалобно закричала Егоровна, — Владимир Андреевич, что ты делаешь?

— Молчи, — сказал Дубровский. — Ну, дети, прощайте, иду куда бог поведёт; будьте счастливы с новым вашим господином.

— Отец наш, кормилец, — отвечали люди, — умрём, не оставим тебя, идём с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришею в телегу и назначил им место свидания Кистенёвскую рощу. Антон ударил по лошадям, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стёкла затрещали, сыпались, пылающие брёвна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим! помогите, помогите».

— Как не так, — сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар.

— Архипушка, — говорила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, бог тебя наградит.

— Как не так, — отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окнах, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли. Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

— Теперь всё ладно, — сказал Архип, — каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание: кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда прыгнуть; со всех сторон окружало её пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на её отчаяние.

— Чему смеётесь, бесенята? — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь, — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз.

— Ну, ребята, прощайте, — сказал он смущённой дворне, — мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом.

Кузнец ушёл, пожар свирепствовал ещё несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистенёвки.

ГЛАВА VII

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нём с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий¹ и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отрыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору² подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, сле-

¹ Стряпчий — ходатай по судебным делам.

² Губернатор — начальник губернии.

довали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днём по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в сёла, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нём чудеса; имя Дубровского было у всех на устах, все были уверены, что он, а не кто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал себе исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведённой в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчёт губернаторов, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1 октября — день храмового праздника¹ в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами, для него новыми или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII

...Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты² и письмо от одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернёром³. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза — не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместимым с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

¹ Храмовый праздник — церковный праздник.

² Аттестаты — здесь: документы.

³ Гувернёр — воспитатель, а иногда и учитель (обычно иностранец), которого нанимали богатые люди для своих детей.

— Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что, так и быть, принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына... переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец её надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

— Хорошо, хорошо, — сказал Кирила Петрович, — не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своём переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель¹, где назначена была ему комната.

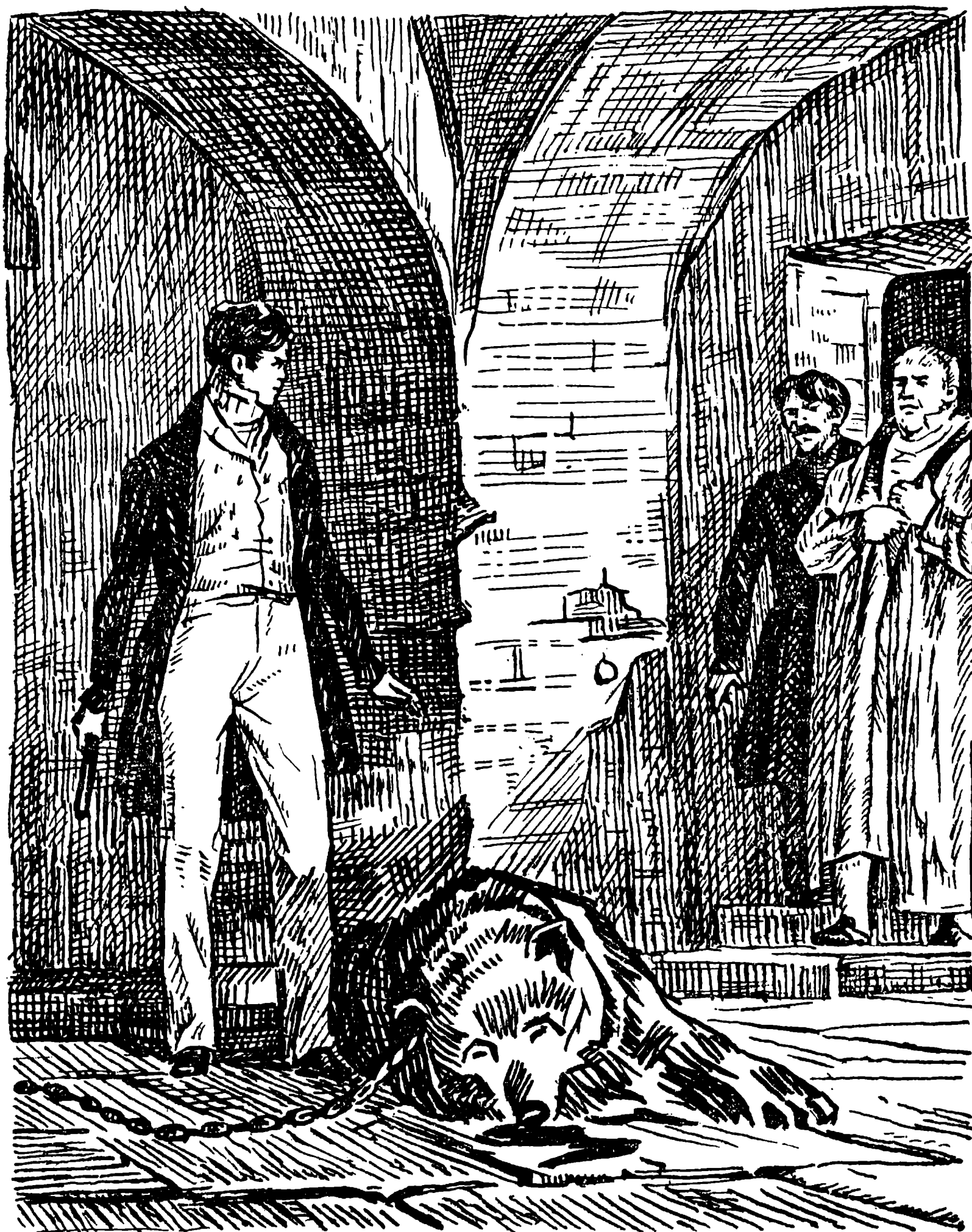
Маша не обратила никакого внимания на молодого француза; воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для неё род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведённого на *m-r*² Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нём совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они были посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка их выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал её, потом тихонько до неё дотрагивался, колол себе лапы, осердясь толкал её сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с рёвом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в неё гостей и пускали их скакать на волю божью. Но лучшею шуткой почиталась у Кирила Петровича следующая.

Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его верёвкою за кольцо, ввинченное в стену. Верёвка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты,

¹ Флигель — боковая пристройка при главном здании или домик во дворе большого здания.

² *m-r* (франц.) — мосье (господин).



нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынноиком. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принуждён был иногда целых три часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъярённый зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нём и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повёл он его с собой тёмными коридорами; вдруг боковая дверь отвори-

лась, двое слуг вталкивают в неё француза и запирают её на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошёл на него... Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошёл, изумлённый развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

— Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уж его пробовать.

Но случай сей произвёл ещё большее впечатление на Марью Кириловну. Воображение её было поражено: она видела мёртвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию¹, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее.

ТОМ ВТОРОЙ

ГЛАВА IX

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвёртые у зажиточных крестьян. Конюшни были полны дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обеду, и всё двинулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почётных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти² и в ограде. Обедня не начиналась — ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернёю и торжественно пошёл на своё

¹ т. е. дворянам.

² Паперть — крыльцо и площадка перед входом в церковь.

место, сопровождаемый Мариєю Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на неё; первые удивлялись её красоте, вторые со вниманием осмотрели её наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе¹, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево...

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошёл ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним.

...Слуги суетились, расставляя бутылки и графины, и прилаживали скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «кушанье поставлено», и Кирила Петрович первый пошёл садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам... Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу² и вполне наслаждался счастьем хлеба-сола. В это время въехала на двор коляска, запряжённая шестью лошадьми.

— Это кто? — спросил хозяин.

— Антон Пафнутьич, — отвечали несколько голосов. Двери отворились, и Антон Пафнутьич Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться...

— Прибор сюда, — закричал Кирила Петрович, — милости просим, Антон Пафнутьич, садись да скажи нам, что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и покушать любишь.

— Виноват, — отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, — виноват, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти вёрст, как вдруг шины у переднего колеса пополам — что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни; пока до неё дотащились, да отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошло ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путём через Кистенёвский лес я не осмелился, а пустился в объезд...

— Эге! — прервал Кирила Петрович, — да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься?

— Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди, попадёшься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерёт.

¹ *Кры́лос* — то же, что клирос. См. сноску на стр. 53.

² *Тра́пеза* — здесь: праздничный обед.

— За что же, братец, такое отличие?

— Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, т. е. по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистенёвкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски переведаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог миловал. Всего-навсего разграбили у меня анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

— А в усадьбе-то будет им раздолье, — заметил Кирила Петрович, — я чай, красная шкатулочка полным-полна...

— Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

— Полно врать, Антон Пафнutyич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живёшь свинья свиньёй, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь, да и только.

— Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, — пробормотал с улыбкою Антон Пафнutyич, — а мы, ей-богу, разорились, — и Антон Пафнutyич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола, подле учителя.

— А что, господин исправник, поймаете хоть вы Дубровского?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнёс наконец:

— Постараемся, ваше превосходительство.

— Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. Да, правда, зачем и ловить его. Разбой Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньга в карман — как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

— Сущая правда, ваше превосходительство, — отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

— Люблю молодца за искренность, — сказал Кирила Петрович, — а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича; кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?

— У меня, Кирила Петрович, — пропищал толстый дамский голос, — в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и весёлый нрав. Все с любопытством приготовились услышать её рассказ.

— Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хотя бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот я и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил

мне в голову, да думаю: город близко, всего семь вёрст, авось бог пронесёт. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш — я так и ахнула. «Что такое? что с тобою случилось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня; да сжалился и отпустил, зато всего обобрал, отнял и лошадь, и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшею? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему своё благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая — вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мной увидаться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черно-волосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева¹, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича; он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том, о сём, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему своё горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, — сказал он, — я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват — грех попутал — солгал». — «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, — рассказывай, где ты встретился с Дубровским?» — «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». — «Что же сказал он тебе?» — «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» — «Ну, а после?» — «А после потребовал он письмо и деньги». — «Ну?» — «Я отдал ему письмо и деньги». — «А он? Ну, а он?» — «Батюшка, виноват». — «Ну, что же он сделал?» — «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом, отдай это на почту». — «Ну, а ты?» — «Батюшка, виноват». — «Я с тобою, голубчик, управлюсь, — сказал грозно генерал, — а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища». Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увёз с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

— И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Ду-

¹ *Кульнев Я. П.* — русский генерал, знаменит своими победами в русско-шведской войне 1808—1809 годов.

бровский? — спросил Кирила Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

— Как батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

— Не знаю, а уж верно не Дубровский. Я помню его ребёнком; не знаю, почернели ль у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следовательно, ему не тридцать пять, а около двадцати трёх.

— Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник, — у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

— А! — сказал Кирила Петрович, — кстати, прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы: авось в глаза попадётся, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев:

«Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам¹ бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые: таковых не оказалось».

— И только? — сказал Кирила Петрович.

— Только, — отвечал исправник, складывая бумагу.

— Поздравляю, г-н исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свёл. Нечего сказать, умные головушки приказные!

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой.

— Нет, — продолжал Кирила Петрович, — уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушёл ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил — да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступить в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они очистят воровскую рошу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

— Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, — сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих словах о своём косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

— Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович. —

¹ По сказкам — здесь: по словам.

Умер славною смертью от руки неприятеля. Вон его победитель, — Кирила Петрович указал на Дефоржа; — выменяй образ моего француза. Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

— Как не помнить, — сказал Антон Пафнutyич, почёсываясь, — очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу, жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шёл о его храбрости, спокойно сидел на своём месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

ГЛАВА X

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселённый пуншем, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загремела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближённые сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любясь весёлостью молодёжи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять места подле дам. Девушки смеялись и перешёптывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали — словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнutyич сидел пасмурен и молчалив на своём месте, ел рассеянно и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках волновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнutyич, призывая господ в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою

недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принуждён остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединённой комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надёжного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнutyич не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнutyич стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

— Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что изволите видеть...

— *Que désire, monsieur?*¹ — спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

— Эк беда, ты, мусье, по-русски ещё не выучился. Же ве, муа, ше ву куше², понимаешь ли?

— *Monsieur, très volontiers,* — отвечал Дефорж, — *veuillez donner des ordres en conséquence*³.

Антон Пафнutyич, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошёл тотчас распоряжаться.

Гости стали прощаться между собой, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнutyич пошёл с учителем во флигель. Ночь была тёмная. Дефорж освещал дорогу фонарём. Антон Пафнutyич шёл за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаённую суму, дабы удостовериться, что деньги его при нём.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнutyич похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели ещё двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения; француз его не понял, и Антон Пафнutyич принуждён был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

— Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше?⁴ — закричал Антон Пафнutyич, спрягая с грехом пополам русский глагол тушу на французский лад. — Я не могу дормир в потёмках⁵.

Дефорж не понял его восклицания и пожелал ему доброй ночи.

— Проклятый басурман, — проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже.

¹ Что угодно, сударь?

² Я хочу у вас спать.

³ Сделайте одолжение, сударь, извольте соответственно распорядиться.

⁴ Почему вы тушите, почему вы тушите?

⁵ Я не могу спать в потёмках.

Я спать не могу без огня. Мусье, мусье, — продолжал он, — же ве авек ву парле¹. — Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит бестия француз, — подумал Антон Пафнутьич, — а мне так сон и в ум нейдёт. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, бестию, и пушками не добу-дишься».

— Мусье, а мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнутьич замолчал, усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дёргал его за ворот рубашки. Антон Пафнутьич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра уви-дел перед собою Дефоржа: француз в одной руке держал кар-манный пистолет, а другою отстёгивал заветную суму. Антон Пафнутьич обмер.

— Кесь ке се, мусье, кесь ке се?² — произнёс он трепещущим голосом.

— Тише, молчать, — отвечал учитель чистым русским язы-ком, — молчать или вы пропали. Я Дубровский.

ГЛАВА XI

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы ещё рассказать.

На станции ** в доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обли-чающим разночинца³ или иностранца, т. е. человека, не имеюще-го голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее дока-зательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спра-шивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перего-родкою.

— Вот бог послал свистуна, — говорила он вполголоса. — Эк посвистывает, чтоб он лопнул, окаянный басурман.

— А что? — сказал смотритель, — что за беда, пускай себе свищет.

— Что за беда? — возразила сердитая супруга. — А разве не знаешь приметы?

— Какой приметы? Что свист деньгу выживает? И! Пахомов-на, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

— Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к чёрту.

¹ Я хочу с вами говорить.

² Что это значит, сударь, что это значит?

³ Разночинец — здесь: человек небогатый и недворянского происхождения.

— Подождёт, Пахомовна; на конюшне всего три тройки, четвёртая отдыхает. Того и гляди, подоспеют хорошие проезжие, не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу! так и есть! вон скачут. Эге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошёл к смотрителю, вслед за ним слуга внёс шкатулку и поставил её на окошко.

— Лошадей, — сказал офицер повелительным голосом.

— Сейчас, — ответил смотритель. — Пожалуйста подорожную¹.

— Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаёшь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперёд по комнате, зашёл за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

— Бог его ведаёт, — отвечала смотрительша, — какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоед, проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

— Куда изволите вы ехать? — спросил он его.

— В ближайший город, — отвечал француз, — оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но г-н смотритель, кажется, судит иначе. В этой земле трудно достать лошадей, г-н офицер.

— А к кому из здешних помещиков определились вы? — спросил офицер.

— К г-ну Троекурову, — отвечал француз.

— К Троекурову? Кто такой этот Троекуров?

— *Ma foi, mon officier*²... я слышал о нём мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокий в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (*avec les outchitels*) он не церемонится и уж двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что ж делать, г-н офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, 3000 р. в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалованья буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости и тогда *bonsoir*³, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты⁴.

— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? — спросил он.

— Никто, — ответил учитель. — Меня он выписал из Москвы

¹ Подорбжная — документ, по которому выдавали почтовых лошадей.

² Право, господин офицер.

³ До свидания.

⁴ Пускаюсь в коммёрческие обороты — начинаю заниматься торговлей.

чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы¹, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

Офицер задумался.

— Послушайте, — прервал он француза, — что если бы вместо этой будущности предложили вам 10 000 чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

— Лошади готовы, — сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

— Сейчас, — ответил офицер, — выдьте вон на минуту. — Смотритель и слуга вышли. — Я не шучу, — продолжал он по-французски. — 10 000 могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. — При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций².

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

— Моё отсутствие... мои бумаги, — повторял он с изумлением, — вот мои бумаги... но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

— Вам дела нет до этого. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё ещё не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

— Ваш паспорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте.

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

— Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами, честное ваше слово.

— Честное моё слово, — отвечал француз. — Но мои бумаги, что мне делать без них?

— В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здоровье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко и, когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием:

— Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский.

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно. Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

— Бога ты не боишься, Сидорыч. Зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

¹ Кондѳтор (устар.) — кондитер.

² Ассигнации — бумажные деньги.

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повёз его шагом, и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошёл пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку...

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Троекурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать¹ и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы, зато с большим прилежанием следовал за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя: Кирила Петрович — за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна — за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша — за снисходительность к его шалостям, домашние — за доброту и за щедрость, по-видимому, несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оно́го.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного празднества, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев. Всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего он мог почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнutyича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиной, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сюртуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнutyич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здоровье. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом по-

¹ Повесничать — бездельничать.

глядывал на учителя, который тут же сидел как ни в чём не бывало. Через несколько минут слуга вошёл и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнutyич спешил откланяться и, несмотря на увещания хозяина, вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирилла Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилла Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну, особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась с невольной досадой, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он с своей стороны не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокаивал её гордость и боязливые сомнения.

Однажды, пришед в залу, где ожидал её учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла её и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в семь часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство её было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чём она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить её руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с весёлыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирилла Петрович сел играть в бостон¹ с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами, в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте

¹ Бостон — карточная игра.



по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

— Благодарю вас, — сказал он ей тихим и печальным голосом, — что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы вы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленной фразой:

— Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

— Обстоятельства требуют... я должен вас оставить, — сказал он наконец... — Вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

— Я не то, что вы предполагаете, — продолжал он, потупя голову, — я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

— Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться — ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству, — в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце моё смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья, их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рождён был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался лёгкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил её руку и приложил к пылающим устам. Свист повторился.

— Простите, — сказал Дубровский, — меня зовут, минута может погубить меня.

Он отошёл, Марья Кириловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял её руку.

— Если когда-нибудь, — сказал он ей нежным и трогательным голосом, — если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

— Вы меня губите! — закричал Дубровский. — Я не оставляю вас, пока не дадите мне ответа. Обещаетесь ли вы или нет?

— Обещаюсь, — прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирилы Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие её не было замечено. В зале встретил её Кирилы Петрович, гости окружили исправника, нашего знакомца, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооружённый с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

— Где ты была, Маша? — спросил Кирилы Петрович, — не встретила ли ты м-г Дефоржа? — Маша насилу могла отвечать отрицательно.

— Вообрази, — продолжал Кирилы Петрович, — исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

— Все приметы, ваше превосходительство, — сказал почтительно исправник.

— Эх, братец, — прервал Кирилы Петрович, — убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

— Француз застрашал его, ваше превосходительство, — отвечал исправник, — и взял с него клятву молчать...

— Враньё, — решил Кирилы Петрович, — сейчас я всё выведу на чистую воду. Где же учитель? — спросил он у вошедшего слуги.

— Нигде не найдут-с, — отвечал слуга.

— Так сыскать его, — закричал Троекуров, начинающий сомневаться. — Покажи мне твои хвалёные приметы, — сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. — Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это ещё ничего не доказывает. Что же учитель?

— Не найдут-с, — был опять ответ. Кирилы Петрович начинал беспокоиться. Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

— Ты бледна, Маша, — заметил ей отец, — тебя перепугали.

— Нет, папенька, — отвечала Маша, — у меня голова болит.

— Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. — Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбежались, раздели её, насилу-насилу успели её успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, её уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирилы Петрович ходил взад и вперёд по зале, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою, исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, был предупреждён. Но кем и как? это оставалось тайною.

Было одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

— Ну что? ведь не до свету ж тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперёд будь расторопнее. Да и вам пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. — Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА XIII

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В тридцати верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду ещё не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своём приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нём свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повёл на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четвероугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришёл доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своём посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражён её красотой. Троекуров посадил гостя подле неё. Князь был оживлён её присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь её внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой¹; он предпочёл прогулку в линейке², с тем чтоб не раз-

¹ *Подáгра* — болезнь суставов.

² *Линéйка* — открытая многоместная коляска.

лучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старик и красавица сели втроём и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и весёлые приветствия светского человека, как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?.. Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нём погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

— Дубровскому, — повторил Верейский, — как, этому славному разбойнику?..

— Отцу его, — отвечал Троекуров, — да и отец-то был порядочный разбойник.

— Куда же девался наш Ринальдо¹? Жив ли он, схвачен ли он?

— И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

— Да, в прошлом году он, кажется, что-то сжёг или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

— Чего любопытно! — сказал Троекуров, — она знакома с ним: он целые три недели учил её музыке, да слава богу не взял ничего за уроки. — Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своём французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках. Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашёл всё это очень странным и переменял разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной, и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому...

После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивёсельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединённую пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворённое учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хо-

¹ *Ринальдо* — благородный разбойник, герой популярного в то время итальянского романа «Ринальдо Ринальдини».

зайничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел, и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал её и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождём, звёздами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Вере́йский радовался её восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал *tous les frais*¹ князя как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своём достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведённые, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пальцах, перед открытым окошком. Под её иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то, её мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пальцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошёл и позвал её к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за косынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Вере́йский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

— Подойди сюда, Маша, — сказал Кирила Петрович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остолбенела, смертная бледность покрыла её лицо. Она молчала. Князь к ней подошёл, взял её руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

— Согласна, конечно, согласна, — сказал Кирила Петрович, — но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал её руку, вдруг слёзы побежали по её бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

— Пошла, пошла, пошла, — сказал Кирила Петрович, — осуши свои слёзы и воротись к нам веселёшенька. Они все плачут при помолвке, — продолжал он, обратясь к Вере́йскому, — это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

¹ Все расходы.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал её, как плаха, как могила... «Нет, нет, — повторяла она в отчаянии, — лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 часов на прежнем месте».

ГЛАВА XV

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и лёгкий шорох пробегал по всему саду.

Как лёгкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Ещё никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

— Я всё знаю, — сказал он тихим и печальным голосом. — Вспомните ваше обещание.

— Вы предлагаете мне своё покровительство, — ответила Маша, — но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне по́мочь?

— Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

— Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите. Я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

— Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

— Ещё есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

— Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда они идут замуж не по страсти, а из благоразумного расчёта; что если возьмёт он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?

— Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною, я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

— Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья; роскошь утешает

одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался, Маша плакала...

Время летело.

— Пора, — сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял её руку и надел ей на палец кольцо.

— Если решитесь прибегнуть ко мне, — сказал он, — тонесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал её руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства. Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение её со старым женихом было холодно и принуждённо. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный её безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от её руки и самому защитить её от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочёл его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почёл нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлён о её письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашёл сие весьма благоразумным, пошёл к своей невесте, сказал ей, что письмо его очень опечалило, но что он надеется со временем заслужить её привязанность, что мысль её лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал её руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец её вошёл и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

— Папенька, — закричала она жалобным голосом, — папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою.

— Это что значит, — сказал грозно Кирила Петрович, — до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отречься. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

— Не губите меня, — повторяла бедная Маша, — за что гоните меня от себя прочь и отдаёте человеку нелюбимому? разве я вам надоела? я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, ещё грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька, не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл своё смущение и, оттолкнув её, сказал сурово:

— Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

— Послезавтра! — вскрикнула Маша, — боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснётесь, до чего вы меня довели.

— Что? что? — сказал Троекуров, — угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня страшить защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

— Владимир Дубровский, — отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на неё с изумлением.

— Добро, — сказал он ей после некоторого молчания. — Жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из неё не выйдешь до самой свадьбы. — С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало её, но бурное объяснение облегчило её душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для неё: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для неё раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидеться наедине и ещё раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдёт она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь её заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал её выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорблённая, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на тёмное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон её был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили её.

ГЛАВА XVII

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас её положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы её отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатове и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать её из её комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Её слова ожесточили молодую затворницу, голова её кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всём Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба, в это время камушек ударился в окно её, стекло зазвенело, и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

— Здравствуй, Саша,— сказала она,— зачем ты меня зовёшь?

— Я пришёл, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

— Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

— Знаю, сестрица.

— Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг оборванный мальчишка, рыжий и косой, мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

— Что ты здесь делаешь? — сказал он грозно.

— Тебе какое дело? — отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

— Оставь это кольцо, рыжий заяц, — закричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во всё горло:

— Воры, воры, сюда, сюда...

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увёртливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина от земли...

— Ах ты, рыжая бестия, — говорил садовник, — да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

— Ты меня схватил под силки, — сказал он, — а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

— Как не так, — отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног. Садовник снова его схватил и связал кушаком.

— Отдай кольцо! — кричал Саша.

— погоди, барин, — сказал Степан, — мы сведём его на расправу к приказчику.

Садовник повёл пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

— Это что? — спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

— Ты, повеса, — сказал он, обратясь к Саше, — за что ты с ним связался:

— Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

— Какое кольцо, из какого дупла?

— Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

— Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всём или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

— Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька...

— Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую берёзовую розгу...

— Пойдите, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло и... и... этот рыжий мальчишка хотел кольцо украсть.

— Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

— Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбегать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно:

— Чей ты?

— Я дворовый человек господ Дубровских, — отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

— Ты, кажется, меня господином не признаёшь, добро, — отвечал он. — А что ты делал в моём саду?

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим равнодушием.

— Ага, слуга в барины, каков поп, таков и приход, а малина разве растёт у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

— Папенька, — прикажите ему отдать кольцо, — сказал Саша.

— Молчи, Александр, — отвечал Кирила Петрович, — не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

— Если ты мне во всём признаешься, так я тебя не высеку, дам ещё пятак на орехи. Не то я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

— Добро, — сказал Кирила Петрович, — запереть его куда-нибудь да посмотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвёл мальчика на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

— Сейчас ехать в город за исправником, — сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, — да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? — думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая «Гром победы». — Может быть, я наконец нашёл на его горячие следы, и он от нас не увернётся. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

— Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошёл в комнату весь запылённый.

— Славная весть, — сказал ему Кирила Петрович, — я поймал Дубровского.

— Слава богу, ваше превосходительство, — сказал исправник с видом обрадованным, — где же он?

— То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлён, увидев тринадцатилетнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

— Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами наедине, — сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повёл его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в зал, где невольник ожидал решения своей участи.

— Барин хотел, — сказал ему исправник, — посадить тебя в городской острог, выстегать плетью и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его. — Мальчика развязали.

— Благодари же барина, — сказал исправник.

Мальчик подошёл к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

— Ступай себе домой, — сказал ему Кирила Петрович, — да вперёд не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело спрыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистенёвку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучался в окошко, окошко поднялось, и старуха показалась.

— Бабушка, хлеба, — сказал мальчик, — я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

— Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесёнок, — отвечала старуха.

— После расскажу, бабушка, ради бога, хлеба.

— Да войди ж в избу.

— Некогда, бабушка, — мне надо сбегать ещё в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

— Экой непосед, — проворчала старуха, — на вот тебе ломотик, — и сунула в окошко ломоть чёрного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистенёвскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянулся во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывистым и стал слушать; лёгкий и продолжительный свист слышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII

Кирила Петрович ходил взад и вперёд по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки суетились, в сарае кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окружённая служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова её томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала её, но молчала, бессмысленно глядясь в зеркало.

— Скоро ли? — раздался у дверей голос Кирила Петровича.

— Сию минуту, — отвечала дама. — Марья Кириловна встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери открылись.

— Невеста готова, — сказала дама Кирилу Петровичу, — прикажите садиться в карету.

— С богом, — отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ¹, — подойди ко мне, Маша, — сказал он ей тронутым голосом, — благословляю тебя... — Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

— Папенька... папенька... — говорила она в слезах, и голос её замирал. Кирила Петрович спешил её благословить, её подняли и почти понесли в карету. С нею села посажёная мать² и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражён её бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря³ и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видела, ничего не слышала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту её не покидала, но когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмерла, но ещё медлила, ещё ожидала; священник, не дождавшись её ответа, произнёс невозвратимые слова.

Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала весёлые поздравления присутствующих и всё ещё не могла поверить, что жизнь её была навеки скована, что Дубровский не прилетел освободить её. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор её быстро их обежал и снова оказал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женою князь нимало не был смущён её холод-

¹ Образ — здесь: икона.

² Посажёная мать — женщина, заменяющая мать при свадебном обряде.

³ Алтарь — возвышение с приступками в глубине церкви.

ным видом. Он не стал докучать ей притворными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти вёрст, лошади неслись быстро по кочкам просёлочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооружённых людей окружила её, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей:

— Вы свободны, выходите.

— Что это значит! — закричал князь, — кто ты такой?..

— Это Дубровский, — сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

— Не трогать его! — закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

— Вы свободны, — продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

— Нет, — отвечала она. — Поздно, я обвенчана, я жена князя Верейского!

— Что вы говорите, — закричал с отчаянием Дубровский, — нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

«*121*» Я согласилась, я дала клятву, — возразила она с твёрдостью, — князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже её не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряжённых, но не разграбля ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

ГЛАВА XIX

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за которыми находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя

ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иглой с искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шалахам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть, по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, приколот к рукаву иглой, сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню¹:

Не шуми, мати зелёная дубравушка.
Не мешай мне, молодцу, думу думати.

В это время дверь одного из шалашей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалась у порога.

— Полно тебе, Стёпка, — сказала она сердито, — барин почи- вает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости.

— Виноват, Егоровна, — отвечал Стёпка, — ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, поживает да выздоравлива- ет. — Старушка ушла, а Стёпка стал расхаживать по валу.

В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою, ра- неный Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землян- ка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находил- ся женский серебряный туалет² и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, за- снул ли он или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась трево- га, и Стёпка просунул к нему голову в окошко.

— Батюшка, Владимир Андреевич, — закричал он, — наши знак подают, нас ищут. — Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалаша. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубокое молчание.

— Все ли здесь? — спросил Дубровский.

— Все, кроме дозорных, — отвечали ему.

— По местам! — закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определённое место.

В сие время трое дозорных прибежали к воротам, Дубровский пошёл к ним навстречу.

— Что такое? — спросил он их.

— Солдаты в лесу, — отвечали они, — нас окружают. — Дуб- ровский велел запереть ворота и сам пошёл освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали прибли- жаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четы-

¹ Меланхолическая песня — грустная, печальная песня.

² Туалёт — здесь: столик с зеркалом.



ре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам.

— Готовиться к бою, — сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох; снова всё утихло. Тогда слышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперёд, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать

вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь. Несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободрённые разбойники воспользовались сей минутою недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подобрать раненых, удвоив караулы и никому не велел отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мёртвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ними не было. Несколько дней после сражения он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни.

— Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид¹, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдалённую губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло. — После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении, но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.

Вопросы и задания.

Главы I—VII.

1. Какие отношения сложились у Троекурова с окрестными помещиками и чиновниками? Чем это объяснить?
2. Как возникла ссора между Троекуровым и Дубровским? Как она развивалась и к каким последствиям привела?
3. Как во время ссоры проявились характеры Троекурова и Дубровского?
4. Сравните описание Покровского и Кистенёвки (гл. III). Какой можно сделать вывод из этого сопоставления?
5. Каково отношение крепостных крестьян Дубровского к Троекурову и к своему барину? На чём оно основано?

¹ Вид — документ на право жительства (паспорт).

6. Перечитайте эпизод «Владимир Дубровский в Кистенёвской роще» (гл V). Созвучна ли окружающая природа настроению героя?
7. Какие обстоятельства заставили Владимира Дубровского стать разбойником? А что побудило крестьян присоединиться к нему?
8. Как разговаривает Шабашкин с Троекуровым, а как с Владимиром Дубровским (до столкновения с крестьянами и после)? Как это его характеризует?
9. Объясните поступки Архипа-кузнеца во время пожара в Кистенёвке.

Главы VIII—XII.

1. Что нового о забавах и развлечениях Троекурова мы узнаём из глав VIII—IX?
2. Составьте план основных событий глав VIII—XI в той последовательности, в какой они описаны в повести. Восстановите истинный ход событий.

Главы XIII—XIX.

1. Как относился Кирила Петрович к своей дочери? Как он распорядился её судьбой?
2. Перескажите близко к тексту эпизод с кольцом (гл. XVII). Как вели себя Митя и Саша во время допроса?
3. Как относилась Марья Кириловна к Владимиру Дубровскому и почему она в конце концов отказалась от его помощи?
4. Как вы думаете, почему Владимир Дубровский покинул своих сообщников?

Ко всей повести.

1. Расскажите о Кириле Петровиче Троекурове, его характере и поступках.
2. Расскажите о жизни Владимира Дубровского. Что в ней вызывает сочувствие? Почему Дубровский отказался от мести Троекурову?
3. Подготовьте устный рассказ по одной из иллюстраций к повести. Обратите особое внимание на чувства и переживания действующих лиц, которые изображены на рисунках.



Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ

(1814—1841)

Лермонтов не был бы великим поэтом, если бы не жила в нём неугасимая любовь к родному народу.

Детство его прошло среди пензенских холмистых полей и берёзовых рощ. Он любил русские сказки, народные песни, заслушивался рассказами о Пугачёве, о недавней героической борьбе с Наполеоном. Глубоко взволновали юного Лермонтова вести из Петербурга о декабрьском восстании на Сенатской площади, об отважных людях, осмелившихся протестовать против крепостного права и царской власти.

Учился Лермонтов в Москве. Каждый памятник старины в этом городе говорил ему о славном прошлом русского народа. Поэт полюбил Москву: Москва, Москва!..

Люблю тебя, как сын,
Как русский, —
сильно, пламенно и нежно!

В своих стихах он не раз изображал события 1812 года, гордясь величием подвига русского народа.

Поэт сравнивал героическое прошлое народа, победившего Наполеона, с его тяжёлым настоящим. Лермонтова угнетало бесцельное и праздное существование окружавшего его дворянского общества, к которому он принадлежал по рождению. Он стремился к жизни, полной борьбы и тревог. Призывом к свободе, к свершению героических подвигов во имя народа и родины проникнуты многие стихи Лермонтова.

Парус

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы! он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Вопросы.

1. Почему М. Ю. Лермонтов называет парус мятежным?
2. Почему, читая стихотворение, мы начинаем относиться к парусу как к живому существу?

Два великана

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далёких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нём рассказ,
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришёл с грозой военной
Трёхнедельный удалец,
И рукою дерзновенной
Хватить за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел — потрянул главою...
Ахнул дерзкий — и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит.

Вопросы.

1. Стихотворение «Два великана» посвящено Лермонтовым Отечественной войне 1812 года. В нем говорится о военных событиях того времени, поражении Наполеона и его ссылке на остров Святой Елены. Какие строки стихотворения передают силу и мощь «русского витязя»? Как характеризуется пришелец «из далёких чуждых стран»?
2. Какие ещё произведения о войне 1812 года вы знаете?

Николай Алексеевич НЕКРАСОВ (1821—1878)

Горячей любовью к родной природе, к детям проникнуты хорошо известные вам стихи Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», «Зелёный шум», «Генерал Топтыгин», «Крестьянские дети».

Детские воспоминания поэта связаны с Волгой, которой он потом посвятил столько восторженных и нежных стихов. «Благословенная река, кормилица народа!» — говорил он о ней.

Но здесь, на этой «благословенной реке», ему довелось испытать первое глубокое горе.

Рано открылось ему «зрелище бедствий народных», к которому были так нечувствительны многие другие дворянские дети...

Бойкий и, казалось бы, беззаботный ребёнок стал уже в те ранние годы не по-детски задумываться над жестокостями окружающей жизни.



В своих воспоминаниях о Некрасове один из современников, хорошо знавший его в течение десятков лет, отзывался о нём так: «Это был человек мягкий, добрый, независтливый, щедрый, гостеприимный и простой... не заботящийся о завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому».

Чудесные душевные свойства Некрасова отразились в его поэзии. Её основной источник — горячее сочувствие угнетённым людям:

Иди к униженным,
Иди к обиженным —
Там нужен ты.

Эту свою заповедь Некрасов не нарушал никогда. Он хорошо понимал, что всякий, кто по-настоящему любит народ, должен отдать все свои силы революционной борьбе.

На Волге

Не торопись, мой верный пёс!
Зачем на грудь ко мне скакать?
Ещё успеем мы стрелять.
Ты удивлён, что я прирос
На Волге: целый час стою
Недвижно, хмурюсь и молчу.
Я вспомнил молодость мою
И весь отдаться ей хочу...

.
О Волга! после многих лет
Я вновь принёс тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была...
В каких-то розовых мечтах
Я позабылся. Сон и зной
Уже царили надо мной.
Но вдруг я стоны услышал,
И взор мой на берег упал.
Почти пригнувшись головой
К ногам, обвитым бечевой,
Обутым в лапти, вдоль реки
Ползли гурьбою бурлаки,
И был невыносимо дик
И страшно ясен в тишине
Их мерный похоронный крик —
И сердце дрогнуло во мне.
О Волга!.. Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда ещё всё в мире спит

И алый блеск едва скользит
По тёмно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьём по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушёл бы никуда —
Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой!
Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушён.
Я знать хотел, что значит он, —
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки,
Котёл с расшивы принесли,
Уселись, развели костёр.
И меж собою повели
Неторопливый разговор.
— Когда-то в Нижний попадём? —
Один сказал: — Когда б попасть
Хоть на Илью¹... — «Авось придём, —
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил: — Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть —
Так лучше было бы ещё...»
Он замолчал и навзничь лёг,
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможённые черты
И выражающий укор
Спокойно-безнадёжный взор...

¹ Церковный праздник в конце лета.



Бог весть, что сделалось со мной?
Я не узнал реки родной:
С трудом ступает на песок
Моя нога: он так глубок;
Уж не манит на острова
Их ярко-свежая трава,
Прибрежных птиц знакомый крик
Зловещ, пронзителен и дик,
И говор тех же милых волн
Иною музыкою полн!
О, горько, горько я рыдал,
Когда в то утро я стоял
На берегу родной реки,
И в первый раз её назвал
Рекою рабства и тоски!..

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Всё ту же песню ты поёшь,
Всё ту же лямку ты несёшь,
В чертах усталого лица
Всё та ж покорность без конца...
Отец твой сорок лет стонал,
Бродя по этим берегам,
И перед смертью не знал,
Что заповедать сыновьям.
И, как ему, — не довелось
Тебе наткнуться на вопрос:
Чем хуже был бы твой удел,
Когда б ты менее терпел?..

Вопросы и задания.

1. Какие чувства испытывает поэт, вернувшийся на берега родной Волги? Найдите слова, которыми Некрасов передаёт тяжесть труда бурлаков и свое отношение к ним.
2. Как рассказывает Некрасов о своей детской любви к Волге? Сравните, какой он видел Волгу до своей первой встречи с бурлаками и после неё. Что изменилось?
3. Прочитайте вслух отрывок о бурлаке «с болезненным лицом». Найдите эпитеты, передающие отношение Некрасова к бурлаку. Почему мальчика потрясла встреча с бурлаками?
4. На какие размышления натолкнула поэта новая встреча с бурлаками? Объясните смысл двух последних строчек стихотворения.
5. Рассмотрите картину И. Репина «Бурлаки». Чем близка она стихотворению Некрасова «На Волге»? Напишите сочинение по этой картине, введите в него строки из стихотворения Н. А. Некрасова.

Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО [1853—1921]

Дорогие ребята!.. В. Г. Короленко — один из любимых моих писателей. Из каждой строчки его сочинений видна его большая любовь к людям... Пользуюсь случаем, ребята, чтобы послать вам свой привет и пожелать стать такими же людьми, каким был В. Г. Короленко, — людьми, которые будут бороться с темнотой и несправедливостью, будут бороться за светлое будущее...» — так писала Н. К. Крупская, лично знавшая писателя, воспитанникам колонии имени Короленко.

Детство и юность Короленко провёл на Украине. Его отец, уездный судья, отличался среди всех судебных чиновников исключительной честностью и неподкупностью. Большая семья с трудом существовала на убогое жалованье, но зато пользовалась огромным уважением среди бедняков.



Родители В. Г. Короленко воспитывали у своих детей честность, правдивость, стойкость и мужество. С самого раннего детства Владимир Галактионович думал о том, как помочь бедным, бесправным людям.

Всю свою жизнь В. Г. Короленко боролся с притеснениями, беззакониями и несправедливостью царских властей.

Ни тюрьмы, ни далёкие сибирские ссылки не сломили его убеждений, не погасили его горячего сочувствия к угнетённым и обездоленным людям.

Любовь к народу, сочувственное отношение к его бедственному положению Короленко выразил в своих произведениях. Он написал много рассказов и повестей о тяжёлой жизни бедняков, о тех, кто, несмотря на нищенское, полуголодное существование, сохранил в душе и доброту, и отзывчивость к чужому горю, и человеческое достоинство. Короленко рассказывал о хищных, невежественных чиновниках, которые вкривь и вкось толковали законы и самовластно распоряжались судьбами зависевших от них людей.

Писал он и о тех, кто вставал на путь борьбы за новый, справедливый порядок жизни, кто не боялся ни тюрем, ни ссылок.

Детские впечатления писателя о горькой жизни бедняков легли в основу повести «В дурном обществе» (в издании для детей — «Дети подземелья»).

Дети подземелья

Из детских воспоминаний моего приятеля

І. РАЗВАЛИНЫ

Мать моя умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавший своему горю, как будто совсем забыл о моём существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру Соню и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле,—никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено или, проще, Княж-городок.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, крихтит, вздрагивая под колёсами, и шатается, точно дряхлый старик. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот ещё минута — и вы уже за городом. Тихо шепчутся бере-

зы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

С севера и юга городок ограждался широкими водяными гладами и топиями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие, густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове — старый, полуразрушенный замо́к. О нём ходили предания и рассказы один другого страшнее.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная часовня. У неё кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и вместо гулко́го медного колокола совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Было время, когда старый замо́к служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений... Все эти бедняки терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили и чем-то питались — вообще как-то поддерживали своё существование.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых развалин, пошли раздоры. Старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских служащих, выхлопотал себе нечто вроде звания управляющего и приступил к преобразованиям... Януш оставил в замке преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода.

Привлечённые шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш во главе целой армии красноносых старцев и безобразных старух гнал из замка последних подлежавших изгнанию жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий замка. Но Януш и старые ведьмы с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник¹, тоже с увесистою дубинкой в руках.

...С того вечера и замок и Януш явились передо мной в новом свете... Замок стал мне противен... Я не мог забыть холодной жестокости, с которой торжествующие жильцы замка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о тёмных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце. Несчастные изгнанники нашли приют где-то на горе, около часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружав-

¹ Будочник — полицейский.

ших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Ходили слухи, что эти бедняки, окончательно лишённые всяких средств к жизни со времени изгнания из замка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях.

Организатором и руководителем этого сообщества несчастливцев был пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех не ужившихся в старом замке.

...Наружность пана Тыбурция не имела в себе ничего аристократического¹. Роста он был высокого, крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперёд нижняя челюсть и сильная подвижность лица напоминали что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая проницательность, энергия и ум. В то время как на его лице сменялся целый ряд гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда было безотчётно жутко смотреть на кривлянье этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая постоянная печаль.

Никто не знал, откуда у пана Тыбурция явились дети: мальчик лет семи, но рослый и развитый не по летам, и маленькая трёхлетняя девочка.

Мальчик, по имени Вáлек, высокий, тонкий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие калачниц². Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась — никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на горе около часовни. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что сжималось сердце.

II. Я И МОЙ ОТЕЦ

С тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало ещё угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений своё окно, полузакрытое густой зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестрёнка ещё не спала в своей качал-

¹ *Аристократи́ческий* — здесь: свойственный аристократам (дворянской знати).

² *Калáчницы* — торговки калачами.

ке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме ещё спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шёл к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы¹ и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в лотóки² и бодро принималась за дневную работу.

Я шёл далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясунки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шёпотом ленивой дремоты.

Все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я наконец и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки заняться моим воспитанием, но попытки всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себе. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озираюсь по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди, мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы — ребёнок и суровый мужчина — о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

— Ты помнишь матушку?

Помнил ли я её? О да, я помнил её! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте её нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил её, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, просыпался с улыбкой счастья. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу её любящую, милую ласку.

Да, я помнил её!.. Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не мог почувствовать родную душу, я съёживался ещё более и тихо выдёргивал из его руки свою ручонку.

¹ Шлюзы — здесь: ворота в плотине для пропуска воды.

² Лотóки — лопасти мельничного колеса.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то стена. Он слишком любил её, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжёлое горе.

И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась всё шире и глубже... Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, всё ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда моё сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из кустов на дорожку, повинуюсь пламенному желанию кинуться на шею отцу. Но, услышав мои шаги, он сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

— Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтобы отец не прочёл его в моём смущённом лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил её страстно, и она платила мне такую же любовью; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне всклоченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню — с маленьким цыплёнком. Мне становилось очень горько и досадно. Не мудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а ещё через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить.

Мне всё казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но только не знал, что именно. Я притерпелся к упрёкам и выносил их, как выносил внезапно налетающий дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далёких больших городов, или в шелест колосьев, или в шёпот ветра на высоких гайдамацких¹ могилах...

¹ *Гайдамацкие моги́лы* — могилы украинских казаков, участников восстания против польских помещиков.

Когда все углы города сделались мне известны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на горе, часовню. Мне захотелось осмотреть её всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я собрал на улицах города небольшой отряд из трёх сорванцов, привлечённых обещанием булок и яблоков из нашего сада.

III. Я ПРИОБРЕТАЮ НОВОЕ ЗНАКОМСТВО

Мы вышли в экскурсию после обеда. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зелёную мураву старого кладбища, играли на старых, покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища.

Мы были одни; только воробьи возились кругом да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна — высоко над землёю; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и заглянуть внутрь часовни.

— Не надо! — вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

— Пошёл ко всем чертям, баба! — прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на неё, потом он выпрямился, и я стал на его плечи. В таком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в её крепости, поднялся к окну и сел на него.

— Ну, что же там? — спрашивали меня снизу с живым интересом. Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни. Внутренность высокого узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовали ярким золотом старые, ободранные стены. Углы были затканы паутиной. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то предметов, еле выделявшихся на полу странными очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело стоять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав то же, что и я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

— Что там такое? — с любопытством указал он на тёмный предмет, видневшийся рядом с престолом¹.

¹ Престол — высокий стол, стоящий в передней части церковного алтаря.

- Поповская шапка.
- Нет, ведро.
- Зачем же тут ведро?
- Может быть, в нём когда-то были угли для кадила¹.
- Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нём спустишься.
- Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.
- Ну, что ж! Думаешь, не полезу?
- И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в её тёмных углах. Несколько воробьёв вспорхнули с насиженных мест на хорах² и вылетели в большую прореху в крыше.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

— Ты подойдёшь? — спросил он тихо.

— Подойду, — ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала слышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, трянуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей вознёй, вылетела из тёмного угла, мелькнула на фоне голубого неба в полёте и шаркнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

— Подымай! — крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

— Не бойся, не бойся! — успокаивал он, приговариваясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно³ оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Тёмный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Чувство, которое я испытывал, нельзя даже назвать страхом. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня

¹ *Кади́ло* — сосуд на цепочках, в который клали на горячие угли душистую смолу; кадило употреблялось во время богослужения.

² *Хо́ры* — галерея или балкон внутри церкви.

³ *Инстинктивно* — произвольно.



быстрою дробью тревожный топот трёх пар детских ног. Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли услышал я под престолом сдержанный шёпот:

— Почему же он не лезет назад?

— Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара чёрных глаз.

— Что же он теперь будет делать? — слышался опять шёпот.

— А вот погоди, — ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завожилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура. Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные курчавые волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами.

Хоть незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но всё же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился ещё более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось ещё грязное личико, обрамлённое белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и тоже положил руки в карманы. Это было знаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на моё к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

— Ты здесь зачем?

— Так, — ответил я. — Тебе какое дело?

Мой противник повёл плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня.

Я не моргнул и глазом.

— Я вот тебе покажу! — погрозил он.

Я выпятился грудью вперёд.



— Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

— Я, брат, и сам... тоже... — сказал я, но уже более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподнималась и наконец направилась нетвёрдыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватила за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивлённым и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком великодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

— Как твоё имя? — спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

— Вася. А ты кто такой?

— Я Вáлек... Я тебя знаю: ты живёшь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

— Да, это правда, яблоки у нас хорошие... Не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла своё лицо, прижавшись к Валеку.

— Боится, — сказал тот и сам передал яблоко девочке.

— Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? — спросил он затем.

— Что ж, приходи! Я буду рад, — ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валека; он призадумался.

— Я тебе не компания, — сказал он грустно.

— Отчего же? — спросил я, искренно огорчённый грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

— Твой отец — пан судья.

— Ну так что же? — изумился я чистосердечно. — Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

— Тыбурций не пустит, — сказал он, и; как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: — Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но всё-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне действительно пора уходить.

— Как же мне отсюда выйти?

— Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

— А она? — ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

— Маруся? Она тоже пойдёт с нами.

— Как, в окно?

Валек задумался.

— Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвил его вокруг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, опустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно ещё село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката.

— Как хорошо! — сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

— Скучно здесь... — с грустью произнёс Валек.

— Вы все здесь живёте? — спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

— Здесь.

— Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеёк по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул её также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

— Ты придёшь к нам опять?

— Приду, — ответил я, — непременно!..

— Что же, — сказал в раздумье Валек, — приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

— Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

— Эй, послушай-ка! — крикнул мне Валек, когда я отошёл несколько шагов. — А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

— Никому не скажу, — ответил я твёрдо.

— Ну вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел чёрта.

— Ладно, скажу.

— Ну, прощай.

— Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжым-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звёзды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

— Вася, друг! — заговорил взволнованным шёпотом мой бежавший товарищ. — Как же это ты?.. Голубчик!..

— А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

— Что же там было?

— Что! — ответил я тоном, не допускавшим сомнения. — Разумеется, черти... А вы — трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

IV. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С этих пор я весь был поглощён моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите¹ на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью — высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если тёмные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я сберегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплёскивала ручонками, и глаза её загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в её пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила ещё плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка; руки её были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не по-детски грустно и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил её белокурые волосы, что мне становилось самому грустно и слёзы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал её с моей сестрой; они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в тёмные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех её звучал, как

¹ Визит — посещение.

самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье её было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у неё были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. В первые же дни я внёс своё оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой часовни повторяло когда-нибудь такие громкие крики, как в то время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валек серьёзно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил её бегать со мной взапуски, он сказал:

— Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил её и заставил бежать, Маруся, заслышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала.

Я совсем растерялся.

— Вот, видишь, — сказал Валек, — она не любит играть.

Он усадил её на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лёг рядом с Валеком около девочки.

— Отчего она такая? — спросил я наконец, указывая глазами на Марусю.

— Невесёлая? — переспросил Валек и затем сказал тоном совершенно убеждённого человека: — А это, видишь ли, от серого камня.

— Да-а, — повторила девочка, точно слабое эхо, — это от серого камня.

— Серый камень высосал из неё жизнь, — пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. — Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

— Да-а, — опять повторила тихим эхом девочка, — Тыбурций всё знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, однако убеждение Валека, что Тыбурций всё знает, произвело и на меня своё действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил её Валек, и всё так же перебирала цветы; движения её тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, хотя я и не понимал их значения, заключается горькая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на её месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех признаков старого замка. Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жестокое, как камень, склонялось над маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», — думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив её где-нибудь на траве, собирали для неё цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьёв. Иногда же, растянувшись около неё на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой часовни, рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днём всё больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чём я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

— Тыбурций тебе отец?

— Должно быть, отец, — ответил он задумчиво.

— Он тебя любит?

— Да, любит, — сказал он уже гораздо увереннее. — Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

— И меня любит, и тоже плачет, — прибавила Маруся с выражением детской гордости.

— А меня отец не любит, — сказал я грустно. — Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

— Неправда, неправда, — возразил Валек. — Ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья — самый лучший человек в городе... Он засудил даже одного графа... А ведь графа засудить не шутка.

— Почему?

— Почему? — переспросил Валек, несколько озадаченный. — Потому что граф — не простой человек... Граф делает что хочет, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а засудил бы бедного.

— Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

— А судья что?

— А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

— Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылём, он велел принести ей стул. Вон он какой!

Всё это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в

голову взглянуть на него: слова Валека задели в моём сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да ещё от имени Тыбурция, который «всё знает»; но вместе с тем дрогнула в моём сердце и нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда отец не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

V. СРЕДИ «СЕРЫХ КАМНЕЙ»

Прошло ещё несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шёл с опущенною головою по пыльной улице, Валек вдруг положил мне на плечо руку.

— Отчего ты перестал к нам ходить? — спросил он.

— Я боялся... Ваших не видно в городе.

— А-а... Я думал, тебе наскучило.

— Нет, нет!.. Я, брат, сейчас побегу, — заторопился я, — даже и яблоки со мною.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

— Ничего, ничего, — отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. — Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда — дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошёл тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошёл к часовне, а его всё не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присматриваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стёртые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный склеп¹. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стёклами, и сквозь эти стёкла зияла тёмная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

¹ Склеп — гробница.

— Ага! — крикнул он, заметив меня. — Ты вот где... Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живём. Пойдем к нам!

— Где же это, далеко? — спросил я.

— А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним. Между стволами черёмухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под землёй. Взяв мою руку, Валек повёл меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, поражённый невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на тёмном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подалее, очевидно, было пристроено таким же образом; стены были сложены из камня. Большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком.

Под окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на её белокурую голову, заливая её всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывётся и исчезнет. Когда там, вверху, над землёй, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в темноте, а потом опять выступали жёсткими холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотною фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси её веселье.

— Валек! — тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в её глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей. Я переминался и ёжился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

— Уйдём... уйдём отсюда, — дёрнул я Валека. — Уведи её...

И мы втроём поднялись из подземелья. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

— Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? — спросил я у него.

— Купить? — усмехнулся Валек. — Откуда же у меня деньги?

— Ты, значит, украл?..

— Ну да!

— Воровать нехорошо, — проговорил я затем в грустном раздумье.

— Наши все ушли... Маруся плакала, потому что она была голодна.

— Да, голодна! — с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал ещё, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. А при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заняло сердце.

— Почему же, — спросил я с усилием, — почему ты не сказал об этом мне?

— Я и хотел сказать, а потом раздумал: ведь у тебя своих денег нет.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Как, потихоньку?

— Д-да.

— Значит, и ты бы тоже украл.

— Я... у своего отца.

— Это ещё хуже! — с уверенностью сказал Валек. — Я никогда не ворую у своего отца.

— Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

— Ну, может быть, и дали бы один раз, — где же завестись на всех нищих?

— А вы разве... нищие? — спросил я упавшим голосом.

— Нищие! — угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

— Ты уже уходишь? — спросил Валек.

— Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лёг в постель. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VI. НА СЦЕНУ ЯВЛЯЕТСЯ ПАН ТЫБУРЦИЙ

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придёшь более, — так встретил меня Валек, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз навсегда покончить с этим вопросом.

Валек заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

Около полудня небо насупилось, надвинулась тёмная туча, и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень

не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошёл туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекачивался гулкий грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня.

— Давайте играть в жмурки, — предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлёпала по каменному полу непроторенными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать её, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее ещё оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ногу и дико вращал зрачками.

— Это что ещё, а? — строго спрашивал он, глядя на Валека. — Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

— Пустите меня! — сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я всё-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только ещё сильнее сжала мою ногу.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

— Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

— Пусти! — проговорил я упрямо. — Сейчас отпусти! — и при этом я сделал инстинктивное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

Ого-го! Пан судья изволит сердиться... Ну, да ты меня ещё не знаешь. Я — Тыбурций. Я вот повешу тебя над огоньком и жарю, как поросёнка.

Отчаянный вид Валека как бы подтверждал мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

— Не бойся, Вася, не бойся! — ободряла она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. — Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

И как это ты сюда попал? — продолжал он допрашивать. — Давно ли?.. Говори ты! — обратился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

— Давно, — ответил тот.

— А как давно?

— Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

— Ого, шесть дней! — заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. — Шесть дней — много времени. И ты до сих пор никому ещё не разболтал, куда ходишь?

— Никому.

— Правда?

— Никому, — повторил я.

— Похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперёд. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и «судья»... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я всё-таки чувствовал себя глубоко оскорблённым и потому ответил сердито:

— Я вовсе не судья. Я — Вася.

— Одно другому не мешает: и Вася тоже может быть судьёй, — не теперь, так после... Твой отец меня судит, — ну и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

— Не буду судить Валека, — возразил я угрюмо. — Неправда!

— Он не будет, — вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого урода, а он ласково гладил жилистою рукой её белокурые волосы.

— Ну, этого ты вперёд не говори, — сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. — Каждый идёт своей дорожкой, и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, потому что лучше иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, — понимаешь?..

Я не понимал ничего, но всё же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои.

— Запомни хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копчёного окорока.

— Я не скажу никому... я... Можно мне опять прийти?

— Приходи, разрешаю... под условием... Впрочем, я уже сказал тебе насчёт окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

— Возьми вон там, — указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, — да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это был уже не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками. Он распоряжался, как хозяин и глава семей-

ства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам¹.

Мы с Валеком живо принялись за работу. Затем Валек уже один умелыми руками принялся застряпню. Через полчаса закипало в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на трёхногий столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

— Готово? — сказал он. — Ну, и отлично. Садись, малый, с нами: ты заработал свой обед...

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой, повинуюсь неодолимой потребности говорить. Из странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб не вставить вопроса:

— Вы это взяли... сами?

— Малый не лишён проницательности, — продолжал Тыбурций. — Впрочем, — повернулся он вдруг ко мне, — ты всё-таки ещё глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принёс тебе жаркое?

— Хорошо! — ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. — Маля была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головою задумчиво возвращался к себе. В тёмной аллейке сада я нечаянно наткнулся на отца. Он, по обыкновению, угрюмо ходил взад и вперёд. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

— Откуда ты?

— Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но, махнув рукой, зашагал по аллее.

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моём знакомстве с «дурным обществом», но изменить Валеку и Марусе я был не в состоянии. Если бы я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаза от стыда.

VII. ОСЕНЬЮ

Близились осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только всё худела, лицо её всё бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом. Девочка большую часть времени проводила в постели,

¹ Домочадцы — члены семьи.

и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь её и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы её слабого смеха.

Теперь грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут я был нужен — я чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали тучи, и над просыхающей землёй, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках её загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно¹ кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец, он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

— Уходите! Вы просто старый сплетник!

Сердце моё дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относится к моим друзьям и, быть может, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу.

— У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О проклятая старая гиена!

— Отец его прогнал, — заметил я в виде утешения.

— Твой отец, малый, самый лучший из всех судей на свете. Он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которому имя — закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдёт оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» — с этого момента судья тотчас запирает своё сердце на ключ, и тогда у судьи такие твёрдые лапы, что скорее мир повернётся в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый?.. Вся беда моя в том, что у меня с законом вышло когда-то давно уже некоторое столкновение... То есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

¹ Подобострастно — угодливо, льстиво.



С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать её. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека.

VIII. КУКЛА

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять её она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали её смеха. Я стал носить в подzemелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решился обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне её на время. Я так убедительно просил её об этом, так живо описал ей бедную, больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне её и обещала в течение двух-трёх дней играть другими игрушками.

Действие этой нарядной барышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок

осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своей новой знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая с постели, стала ходить, водя за собою свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлёпая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нёс её за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять её, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернётся, только возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего ещё не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан — на этот раз с ещё большим гневом; однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец ещё спал.

На горе дела были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало ещё хуже; лицо её горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла, с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежавшей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой смутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к себе и успокоилась. Я понял, что хотел лишить моего маленького друга первой и последней радости её недолгой жизни.

Валек робко посмотрел на меня.

— Как же теперь будет? — спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

— Ничего! Нянька, наверное, уже забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения.

Приказ был очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позволением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто ещё не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжёлое предчувствие. Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошёл и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец сидел в своём кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слушал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же опустил их в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжёлый, неподвижный, подавляющий взгляд.

— Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчётливо и резко, что я вздрогнул.

— Да, — ответил я тихо.

— А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл её?..

— Нет, — сказал я, подымая голову.

— Как нет? — вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. — Ты украл её и снёс!.. Кому ты снёс её?.. Говори!

Он быстро подошёл ко мне и положил мне на плечо тяжёлую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно, глаза горели гневом. Я весь съёжился.

— Н-не скажу! — ответил я тихо.

— Скажешь, скажешь!

Я чувствовал, как дрожала его рука, и всё ниже опускал голову; слёзы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я всё повторял едва слышно:

— Нет, не скажу... никогда, никогда не скажу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего отца. Он не добился бы от меня иного ответа самыми страшными муками. В моей груди, навстречу его угрозам, подымалось едва осознанное оскорблённое чувство покинутого ребёнка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевёл дух. Я съёжился ещё более, горькие слёзы жгли мои щёки. Я ждал. В эту критическую минуту раздался вдруг резкий голос Тыбурция:

— Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении.

Отец встретил его мрачным и удивлённым взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Он был серьёзен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

— Пан судья! — заговорил он мягко. — Вы человек справедливый... отпустите ребёнка. Видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу.

Рука отца, державшая моё плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

— Что это значит? — спросил он наконец.

— Отпустите мальчика, — повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. — Вы ничего не добьётесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам всё, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Я всё ещё стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил, в присутствии отца, к себе на колени.

— Приходи к нам, — сказал он, — отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой... Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушёл из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашёл что-то родное, чего тщетно искал в нём прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжёлый туман, нависший над душой отца. И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

— Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

— Д-да, — ответил он задумчиво, — я знаю... Я виноват перед тобой, мальчик, и ты постарайся когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал её целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в моё сердце.

Теперь я его уже не боялся.

— Ты отпустишь меня теперь на гору? — спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

— Д-да... Ступай, ступай, мальчик, — ласково проговорил он всё ещё тем же оттенком недоумения в голосе. — Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.



Он ушёл в свою спальню и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

— Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его, понимаешь?.. покорнейше прошу — взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

— Покорнейше просит... отец... — и я стал совать ему в руки данные отцом деньги. Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял.

В подземелье, в тёмном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет ещё полного значения для детского слуха, и горькие слёзы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вскоре после описанных событий Тыбурций и Валек совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у неё провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала ещё мрачнее; ещё громче завывают в ней филины, а огни на могилах тёмными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дёрном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей берёзы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты¹.

Вопросы и задания.

1. От чьего имени ведётся рассказ? Знаете ли вы ещё произведения, где повествование ведётся от имени участника событий?
2. Какие эпизоды повести вас особенно взволновали и почему?
3. Как жилось Васе в родном доме? Какие взаимоотношения сложились у него с отцом после смерти матери?
4. Что пережил Вася в старой часовне? Как произошло его знакомство с детьми подземелья? Что узнали дети друг о друге при первой встрече?
5. Почему Вася так привязался к своим новым друзьям? Что переживает он, узнав о нищенской жизни Валека и Маруси? Как относятся дети подземелья к Васе?
6. Как отразились условия жизни на характере и внешности Сони и Маруси?
7. Когда и почему Вася понял смысл странных слов Тыбурция о Марусе: «Серый камень высосал из неё жизнь»?
8. Чем примечательна внешность Тыбурция? Почему Вася перестал бояться Тыбурция и привязался к нему?
9. Подготовьте устный рассказ «Последние дни Маруси».
10. Что переживали во время решающего объяснения судья и Вася? Какое значение имел для них приход Тыбурция? Как душевное состояние отца и сына отражается в их жестах, мимике и речи?
11. Какую роль в жизни Васи сыграла встреча с детьми подземелья? Какие обеты давали Вася и Соня на могиле Маруси?
12. Напишите сочинение на тему «Как дружба Васи, Валека и Маруси скрасила их жизнь?»
13. Какая из иллюстраций к повести произвела на вас особенно сильное впечатление? Почему?

¹ Обёт — обещание, клятва.

О портрете литературного героя

Читая художественное произведение, мы знакомимся с разными героями книги. В жизни первое представление о людях мы получаем, вглядываясь в их глаза, лицо, наблюдая за их манерой держаться, говорить. Писатель также стремится к тому, чтобы читатели смогли увидеть его героев, поэтому он описывает их внешность: лицо, фигуру, одежду, жесты — рисует портреты действующих лиц.

Вот впервые Вася видит Валека. «Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Тёмные волосы лохматились над чёрными задумчивыми глазами».

Что узнали мы, читатели, о появившемся впервые на страницах повести мальчике? О чём говорит нам его портрет?

Не только о росте Валека, не только о цвете его глаз и волос, не только об одежде. Одновременно мы узнали о его бедности, о том, что за ним нет материнского ухода (грязная рубашонка, узкие и короткие штанишки, волосы лохматились), о том, что он уже испытал много горя, многое пережил (задумчивые глаза).

Портрет не всегда даётся в одном месте, при первом появлении героя. Дальше о Валеке мы читаем: он «подходил... с беспечно-задорным видом, с каким всегда... подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку...» — и сделаем вывод, что Валека совсем не трус. Не раз Короленко пишет о его грустном голосе, «обычном грустном виде», и мы догадываемся, что в жизни мальчика есть трудности, которые он не может преодолеть.

Портрет позволяет писателю выразить своё отношение к действующим лицам его книги. Сравнение «тонкий, как тростинка», эпитет «задумчивые глаза», слова с оттенком ласки (рубашонка, штанишки) — всё это выражает глубокое сочувствие автора своему герою.

Таким образом, портрет помогает увидеть внешность литературного героя, понять его переживания, особенности характера, представить его положение в обществе. В портрете проявляется отношение автора к своему герою.

Вопросы и задания.

1. Найдите в повести портреты Тыбурция, судьи, Сони и Маруси. Что можно сказать об этих людях по их портретам? Какие сравнения помогают нам ярче представить, как выглядят Соня и Маруся?
2. Почему в повести нет портрета Васи? Расскажите, какой вы представляете себе его внешность. Опишите портрет Васи в один из моментов его жизни.

Родина наша — колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь.

А. Н. Толстой

Валентин Петрович КАТАЕВ

род. в 1897 г.

«Если бы мне каким-нибудь чудом вернули мою молодость и сказали: перед тобой опять твоя жизнь — ты властен сделать её такой, какой пожелаешь. Приказывай. Всё будет исполнено по твоей воле. Хочешь быть знаменитым, сказочно красивым, несметно богатым? Всё это делается по одному твоему мановению¹, но только при том условии, что ты навсегда останешься по «ту сторону», то есть в старом, обветшалом мире бедных и богатых, сильных и слабых, господ и рабов, и никогда не будешь дышать воздухом коммунизма, никогда не услышишь музыки мировой справедливости... То я бы ответил:

— Нет. Ничего мне от вас не нужно. Пусть я лучше останусь такой, как я есть, и таким, каким я был. Пусть я лучше ещё

¹ Мановéние — здесь: желание.



раз переживу мою чудесную нищую молодость, овеянную октябрьскими бурями. Пусть лучше я ещё раз переживу мою беспокойную, трудную, сложную зрелость. И пусть я опять остановлюсь на пороге старости и снова увижу так близко перед собой зарю коммунизма», — так писал Катаев в одной из своих статей.

Валентин Петрович Катаев многое видел и испытал за свою большую жизнь. Он сражался на фронтах первой мировой войны, участвовал в гражданской, а во время Великой Отечественной войны был военным корреспондентом.

Повесть «Белеет парус одинокий» впитала в себя многое из того, что автор пережил в детстве. События, о которых рассказывается в книге, происходили в 1905 году. То была пора, когда крепили революционные силы народа.

Белеет парус одинокий

МОРЕ

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Море под ним во всю ширину горело, как магний. Степь обрывалась сразу.

Серебряные кусты дикой маслины, окружённые кипящим воздухом, дрожали над пропастью.

Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Петя привык бегать по ней босиком. Ботинки стесняли мальчика. Подмётки скользили. Ноги бежали сами собой. Их невозможно было остановить.

До первого поворота мальчик ещё кое-как боролся с силой земного притяжения. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над дорожкой. Но гнилые корни рвались. Из-под каблуков сыпалась глина. Мальчик был окружён облаком пыли, тонкой и коричневой, как порошок какао.

Пыль набивалась в нос, в горле першило. Пете это надоело. Э, будь что будет!

Он закричал во всё горло, взмахнул руками и очертя голову ринулся вниз.

Шляпа, полная ветра, колотилась за спиной. Матросский воротник развевался. В чулки впивались колючки... И мальчик, делая страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы, вдруг со всего маху вылетел на сухой и холодный, ещё не обогретый солнцем песок берега. Песок этот был удивительной белизны и тонкости. Вязкий и глубокий, сплошь истыканный ямками вчерашних следов, оплывших и бесформенных, он напоминал манную крупу самого первого сорта.

Он полого, почти незаметно сходил в воду. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, была сырой, лиловой, гладкой, твёрдой и лёгкой для ходьбы.

Чудеснейший в мире пляж, растянувшийся под обрывами на сто вёрст от Каролино-Бугаза до гирла Дуная, тогдашней грани-

цы Румынии, казался диким и совершенно безлюдным в этот ранний час.

Чувство одиночества с новой силой охватило мальчика. Но теперь это было совсем особое, гордое и мужественное одиночество Робинзона на необитаемом острове.

Петя первым делом стал присматриваться к следам. У него был опытный, проницательный глаз искателя приключений.

Он был окружён следами. Он читал их, как Майн Рид.

Чёрное пятно на стене обрыва и серые уголья говорили о том, что ночью к берегу приставали на лодке туземцы и варили на костре пищу. Лучевидные следы чаек свидетельствовали о штиле и обилии возле берега мелкой рыбёшки.

Длинная пробка с французским клеймом и побелевший в воде ломтик лимона, выброшенный волной на песок, не оставляли никаких сомнений в том, что несколько дней назад в открытом море прошёл иностранный корабль.

Между тем солнце ещё немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звёзд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно лежащей на песок.

На всём же остальном своём громадном пространстве море светило такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

хотя и паруса нигде не было, да и море ничуть не казалось туманным.

Петя залюбовался морем.

Сколько бы ни смотреть на море — оно никогда не надоест. Оно всегда разное, новое, невиданное.

Оно меняется на глазах каждый час.

То оно тихое, светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми дорожками штиля. То оно ярко-синее, пламенное, сверкающее. То оно играет барашками. То под свежим ветром становится вдруг тёмно-индиговым¹, шерстяным, точно его гладят против ворса.

То налетает буря, и оно грозно преображается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному² небу летают с криками чайки. Взбаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцеvitое тело дохлого дельфина. Резкая зелень горизонта стоит зубчатой стеной над бурыми облаками шторма. Малахитовые³ доски прибоя, размашисто исписанные белыми зигзагами

¹ Тёмно-индиговое — тёмно-синее (индйго — тропическое дерево, из листьев которого изготовляют синюю краску).

² По грифельному небу — по мутно-серому небу.

³ Малахитовый — ярко-зелёный (малахит — минерал ярко-зелёного цвета).

пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушённом воздухе. Тонкий туман брызг висит кисеёй во всю громадную высоту потрясённых обрывов.

Но главное очарование моря заключалось в какой-то тайне, которую оно всегда хранило в своих пространствах.

Разве не тайной было его фосфорическое свечение, когда в безлунную июльскую ночь рука, опущенная в чёрную тёплую воду, вдруг озарялась, вся осыпанная голубыми искрами? Или движущиеся огни невидимых судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? Или число песчинок, недоступное человеческому уму?

Разве, наконец, не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, появившегося однажды очень далеко в море?

Его появлению предшествовал пожар в Одесском порту. Зарево было видно за сорок вёрст. Тотчас разнёсся слух, что это горит эстакада.

Затем было произнесено слово «Потёмкин».

Несколько раз, таинственный и одинокий, появлялся мятежный броненосец на горизонте в виду бессарабских берегов.

Батраки бросали работу на фермах и выходили к обрывам, старались разглядеть далёкий дымок. Иногда им казалось, что они его видят. Тогда они срывали с себя фуражки и рубахи и, с яростью размахивая ими, приветствовали инсургентов¹.

Но Петя, как ни щурился, как ни напрягал зрение, по совести говоря, ничего не видел в пустыне моря.

Только однажды в подзорную трубу, которую ему удалось выпросить на минуточку у одного мальчика, он разглядел светло-зелёный силуэт трёхтрубного броненосца с красным флажком на мачте.

Корабль быстро шёл на запад, в сторону Румынии.

А на другой день горизонт вдруг покрылся низким, сумрачным дымом. Это вся черноморская эскадра шла по следу «Потёмкина».

Рыбаки, приплывшие из гирла Дуная на своих больших чёрных лодках, привезли слух о том, что «Потёмкин» пришёл в Констанцу, где ему пришлось сдать румынскому правительству. Команда высадилась на берег и разошлась — кто куда.

Прошло ещё несколько тревожных дней.

И вот на рассвете горизонт снова покрылся дымом.

Это шла назад из Констанцы в Севастополь черноморская эскадра, таща на буксире, как на аркане, схваченного мятежника.

Пустой, без команды, с машинами, залитыми водой, со спущенным флагом восстания, тяжело ныряя в острой зыби, «Потёмкин» медленно двигался, окружённый тесным конвоем дыма. Он долго шёл мимо высоких обрывов Бессарабии, откуда молча

¹ *Инсургéнт* — повстанец, участник вооружённого восстания против правительства.

смотрели ему вслед рабочие с экономий¹, солдаты пограничной стражи, рыбаки, батрачки... Смотрели до тех пор, пока эскадра не скрылась из глаз.

И опять стало море таким ласковым и тихим, будто его облили синим маслом.

Между тем на степных дорогах появились отряды конных стражников, высланных к границе Румынии на поимку беглых потёмкинцев...

Петя решил на прощанье наскоро выкупаться.

Но едва мальчик, разбежавшись, бултыхнулся в море и поплыл на боку, расталкивая прохладную воду коричневым атласным плечиком, как тотчас забыл всё на свете.

...Вдруг он увидел на обрыве отца. Отец размахивал соломенной шляпой и что-то кричал.

Обрыв был так высок и голос так гулко отдавался в обрыве, что до Пети долетело только раскатистое:

— ...дядь-дядь-дядь-дядь!..

Однако Петя очень хорошо понял значение этого «дядь-дядь-дядь». Оно означало следующее:

— Куда ты провалился, гадкий мальчишка? Я тебя ищу по всей даче! Дилижанс² ждёт! Ты хочешь, чтоб мы из-за тебя опоздали на пароход? Сейчас же вылезай из воды, негодяй!

Голос отца вернул Петю к горькому чувству разлуки, с которым он встал сегодня. И мальчик закричал таким отчаянно громким голосом, что у него зазвенело в ушах:

— Сейчас иду! Сейчас!

А в обрыве отдалось раскатистое:

— ...айс-айс-айс!..

Петя быстро надел костюм прямо на мокрое тело, — что, надо признаться, было очень приятно, — и стал взбираться наверх...

БЕГЛЕЦ

Вёрст за десять до Аккермана начались виноградники. Уже давно и дыню съели, и корки выбросили в окно. Становилось скучно... И вдруг произошло событие, до такой степени стремительное и необычайное, что трудно было даже сообразить, что случилось сначала и что потом.

Во всяком случае, сначала раздался выстрел. Но это не был хорошо знакомый, нестрашный гулкий выстрел из дробовика, столь частый на виноградниках. Нет. Это был зловеющий, ужасающий грохот трёхлинейной винтовки казённого образца.

Одновременно с этим на дороге показался конный стражник с карабином в руках.

Он ещё раз приложился, прицелился в глубину виноградника, но, видно, раздумал стрелять. Он опустил карабин поперёк седла,

¹ Экономия — помещичье хозяйство.

² Дилижанс — многоместная крытая карета для перевозки пассажиров.

дал лошади шпоры, пригнулся и махнул через канаву и высокий вал прямо в виноградник. Пришлёпнув фуражку, он помчался, ломая виноградные кусты, напрямик и вскоре скрылся из глаз.

Дилижанс продолжал ехать.

Некоторое время вокруг было пусто.

Вдруг позади, на валу виноградника, в одном месте закачалась дереза¹. Кто-то спрыгнул в ров, потом выкарабкался из рва на дорогу.

Быстрая человеческая фигура, скрытая в облаке густой пыли, бросилась догонять дилижанс.

Вероятно, кучер заметил её сверху раньше всех. Однако, вместо того чтобы затормозить, он, наоборот, встал на козлах и отчаянно закрутил над головой кнутом. Лошади пустились вскачь.

Но неизвестный успел уже вскочить на подножку и, открыв заднюю дверцу, заглянул в дилижанс.

Он тяжело дышал, почти задыхался.

Это был коренастый человек с молодым, бледным от испуга лицом и карими не то весёлыми, не то насмерть испуганными глазами.

На его круглой, ежом стриженной большой голове неловко сидел новенький люстриновый картузик с пуговкой, вроде тех, какие носят мастеровые в праздник. Но в то же время под его тесным пиджаком виднелась вышитая батрацкая рубаша, так что как будто он был вместе с тем и батраком.

Однако толстые гвардейского сукна штаны, бархатистые от пыли, уже никак не шли ни мастеровому, ни батраку.

Одна штанина задралась и открыла рыжее голенище грубого флотского сапога с двойным швом.

«Матрос!» — мелькнула у Пети страшная мысль, и тут же на кулаке неизвестного, сжимавшего ручку двери, к ужасу своему, мальчик явственно увидел голубой вытатуированный якорь.

Между тем неизвестный, как видно, был смущён своим внезапным вторжением не менее самих пассажиров.

Увидев остолбеневшего от изумления господина в пенсне и двух перепуганных детей, он беззвучно зашевелил губами, как бы желая не то поздороваться, не то извиниться. Но, кроме кривой застенчивой улыбки, у него ничего не вышло.

Наконец он махнул рукой и уже собирался спрыгнуть с подножки обратно на дорогу, как вдруг впереди показался разъезд. Неизвестный осторожно выглянул из-за кузова дилижанса, увидел в пыли солдат, быстро вскочил внутрь кареты и захлопнул за собой дверь.

Он умоляющими глазами посмотрел на пассажиров, затем, не говоря ни слова, стал на четвереньки и, к ужасу Пети, полез под скамейку, прямо туда, где были спрятаны коллекции.

Мальчик с отчаянием посмотрел на отца, но тот сидел совершенно неподвижно, с бесстрастным лицом, немного бледный, ре-

¹ Дереза — колючий кустарник.

шитительно выставив вперёд бородку. Сцепив на животе руки, он крутил большими пальцами — один вокруг другого.

Весь его вид говорил: ничего не произошло, ни о чём не надо спрашивать, а надо сидеть на своем месте как ни в чём не бывало и ехать.

Не только Петя, но даже и маленький Павлик поняли отца сразу.

Ничего не замечать! При создавшемся положении это было самое простое и самое лучшее.

Что касается кучера, то о нём нечего было и говорить. Он знай себе нахлёстывал лошадей, даже не оборачиваясь назад.

Словом, это был какой-то весьма странный, но единодушный заговор молчания.

Разъезд поравнялся с дилижансом.

Несколько солдатских лиц заглянуло в окно. Но матрос уже лежал глубоко под скамейкой. Его совершенно не было видно.

По-видимому, солдаты не нашли ничего подозрительного в этом мирном дилижансе с детьми и баклажанами. Не останавливаясь, они проехали мимо.

По крайней мере, полчаса продолжалось общее молчание. Матрос неподвижно лежал под скамейкой. Вокруг всё было спокойно.

Наконец впереди в жидкой зелени акаций показалась вереница крайних домиков города.

Тогда отец первый нарушил молчание. Равнодушно глядя в окно, он сказал, как бы про себя, но вместе с тем и рассчитанно громко:

— Ого! Кажется, мы подъезжаем. Уже виднеется Аккерман. Какая ужасная жара! На дороге ни души.

Петя сразу разгадал хитрость отца.

— Подъезжаем! Подъезжаем! — закричал он.

Он схватил Павлика за плечи и стал толкать его в окно, фальшиво-возбуждённо крича:

— Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит!

— Где летит птичка? — спросил Павлик с любопытством, высовывая язык.

— Ах, господи, какой ты глупый! Вот же она, вот.

— Я не вижу.

— Значит, ты слепой.

В это время позади раздался шорох, и сейчас же хлопнула дверь. Петя быстро обернулся. Но всё вокруг было, как прежде. Только уже не торчал из-под скамейки сапог.

Петя в тревоге заглянул под скамейку: целы ли коллекции? Коробки были целы. Всё в порядке.

Колёса застучали по мостовой. Дилижанс въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями...

Судя по солнцу, времени было уже больше часа. А пароход «Тургенев» отходил в два.

Отец велел, не останавливаясь в гостинице, ехать прямо на пристань, откуда как раз только вытек очень длинный и толстый пароходный гудок.

ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА

...Петя уже успел облазить весь пароход. Он выяснил, что подходящих детей нет и завести приятное знакомство почти не с кем...

Тогда Петя нашёл очень интересное занятие: он стал ходить по пятам за одним пассажиром. Куда пассажир — туда и Петя.

Это было очень интересно, тем более что пассажир уже давно обратил на себя внимание мальчика некоторой странностью своего поведения.

Можёт быть, другие пассажиры ничего не заметили. Но Пете бросилась в глаза одна вещь, сильно поразившая его.

Дело в том, что пассажир ехал без билета. А между тем старший помощник отлично это знал.

Однако он почему-то не только ничего не говорил странному пассажиру, но даже как бы молчаливо разрешал ему ходить куда угодно, даже в каюту первого класса.

Петя ясно видел, что произошло, когда старший помощник подошёл к странному пассажиру со своей проволочной кассой.

— Ваш билет, — сказал старший помощник.

Пассажир что-то шепнул ему на ухо. Старший помощник кивнул головой и сказал:

— Пожалуйста.

После этого никто уже больше не тревожил странного пассажира. А он стал прогуливаться по всему пароходу, заглядывая всюду: в каюты, в машинное отделение, в буфет, в уборную, в трюм.

Кто же он был?

Помещик? Нет. Помещики так не одевались и так не вели себя.

Может быть, он какой-нибудь чиновник с почты или учитель? Вряд ли.

Хотя у него и была под пиджаком чесучовая рубашка с отложным воротником и вместо галстука висел шнурок с помпончиками, но зато никак не подходили закрученные вверх чёрные, как вакса, усы и выскобленный подбородок.

И уже совсем не подходило ни к какой категории пассажиров небывалой величины дымчатое пенсне на мясистом, вульгарном¹ носу с ноздрями, набитыми волосами...

Сперва странный пассажир постоял в узком проходе возле машинного отделения, рядом с кухней...

Затем странный человек не торопясь обошёл нижние палубы,

¹ Вульгáрный — здесь: грубый.

Мальчику показалось, что незнакомец незаметно, но крайне внимательно осматривает пассажиров, примостившихся на своих узлах и корзинах вокруг мачты, у бортов, среди груза...

Какой-то человек спал на досках палубы, прикрыв щеку картузиком и уткнувшись головой в ту верёвочную подушку, которую обычно спускают с борта, чтобы смягчить удар парохода о пристань. Он лежал, раскинув во сне руки и совсем по-детски поджав ноги.

Вдруг мальчик нечаянно посмотрел на эти ноги в задравшихся штанах и остолбенел: на них были хорошо знакомые флотские сапоги с рыжими голенищами.

Не было сомнения, что именно эти самые сапоги Петя видел сегодня под скамейкой дилижанса.

Но даже если это и было простым совпадением, то уж, во всяком случае, не могло быть совпадением другое обстоятельство. На руке у спящего, как раз на том самом мясистом треугольнике под большим и указательным пальцами, Петя разглядел маленький голубой якорь.

Мальчик чуть не вскрикнул от неожиданности.

Но сдержался: он заметил, что усатый пассажир тоже обратил внимание на спящего.

Усатый прошёл несколько раз мимо, стараясь заглянуть в лицо, прикрытое картузиком. Однако это ему никак не удавалось. Тогда он, проходя мимо, как бы нечаянно наступил спящему на руку.

— Виноват.

Спящий вздрогнул. Он сел, испуганно озираясь ничего не понимающими, заспанными глазами.

— А? Что такое? Куда? — бессмысленно бормотал он и тёр кулаком щеку, на которой отпечатался коралловый рубец каната.

Это был он, тот самый матрос!

Петя спрятался за выступ трюма и, затаив дыхание, стал наблюдать, что будет дальше.

Однако ничего особенного не произошло. Ещё раз извинившись, усатый отправился дальше, а матрос перевернулся на другой бок, но уже не спал, а смотрел по сторонам с тревогой и, как показалось Пете, с какой-то нетерпеливой досадой.

Что делать? Бежать к папе? Рассказать всё старшему помощнику?

Нет, нет!

Петя хорошо запомнил поведение отца в дилижансе. Очевидно, во всём этом происшествии было нечто такое, о чём никому не надо говорить, никого не надо расспрашивать, а молчать, делая вид, что ничего не знаешь.

Тогда мальчик решил отыскать усатого и посмотреть, что он делает.

Он нашёл его на почти пустой палубе первого класса. Тот стоял, прислонившись к спасательной лодке, туго обтянутой зашнурованным брезентом...



За пароходом, всё расширяясь и тая, далеко тянулась широкая, как бы масленичная, санная, хорошо замётанная дорога. Слева уже шёл высокий глинистый берег Новороссии.

А усатый держал в руке и украдкой рассматривал какую-то вещь.

Петя незаметно подошёл сзади, стал на цыпочки и увидел её. Это была небольшая, так называемого визитного формата, фото-

графическая карточка матроса в полной форме, в лихо заломленной бескозырке с надписью на ленте: «Князь Потёмкин-Таврический».

Матрос был не кто иной, как тот самый, с якорем на руке.

И тут же в силу какого-то непонятного течения мыслей Петя вдруг совершенно ясно понял, что именно было странного в наружности усатого: усатый, так же как и тот, с якорем, тоже был переодет.

«ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ!»

Ветер дул свежий, попутный. Чтобы помочь машине и наверстать время, потерянное при затянувшейся погрузке, капитан приказал поставить парус.

Никакой праздник, никакие подарки не привели бы Петю в такой восторг, как эта безделица.

Впрочем, хороша безделица!

Я думаю, что и вы бы, товарищи, пришли в восторг, если бы вам вдруг выпало счастье прокатиться по морю на настоящем пароходе, да, кроме того, ещё и под парусом.

Даже и в те времена парус ставили только на самых старых пароходах, и то чрезвычайно редко. Теперь же этого и вовсе никогда не случается.

Так что легко себе представить, как переживал это событие Петя.

Разумеется, мальчик сразу забыл и про усатого, и про беглого. Он, как очарованный, стоял на носу, не сводя глаз с босого матроса, который довольно лениво возился возле люка, вытаскивая аккуратно сложенный парус...

Наконец поставили кливер¹.

Пароходик побежал ещё быстрее. Уже чувствовалось приближение к Одессе. Впереди виднелась белая коса Сухого лимана...

Все мысли Пети были тут, на берегу, в Одессе...

Скорее, скорее в каюту торопить папу, собирать вещи!

Петя повернулся, чтобы бежать, и вдруг похолодел от ужаса... Тот самый матрос с якорем на руке сидел на ступеньке носового трапа, а усатый шёл прямо на него, без пенсне, руки в карманах, отчётливо скрипя «скороходами».

Он подошёл к нему вплотную, наклонился и спросил не громко, но и не тихо:

— Жуков?

— Чего Жуков? — тихо, как бы через силу произнёс матрос, заметно побледнев и встав на ступеньки.

— Сядь. Тихо. Сядь, я тебе говорю.

Матрос продолжал стоять. Слабая улыбка дрожала на его посеревших губах.

Усатый нахмурился.

¹ Клив́ер — косой треугольный парус, который ставится в носовой части корабля.

— С «Потёмкина»? Здравствуй, милый. Ты бы хоть сапожки, что ли, переменял. А мы вас ждали, ждали, ждали... Ну что скажешь, Родион Жуков? Приехали?

И с этими словами усатый крепко взял матроса за рукав.

Лицо матроса исказилось.

— Не трожь! — закричал он страшным голосом, рванулся и изо всех сил толкнул усатого кулаком в грудь. — Не тр-рожь больного человека, мор-рда!

Рукав затрещал.

— Стой!

Но было поздно.

Матрос вырвался и побежал по палубе, увёртываясь и виляя между корзинами, ящиками, людьми. За ним бежал усатый.

Глядя со стороны, можно было подумать, что эти двое взрослых людей играют в салки.

Они, один за другим, нырнули в проход машинного отделения. Затем вынырнули с другой стороны. Пробежали вверх по трапу, дробно стуча подошвами и срываясь со скользких медных ступенек.

— Стой, держи! — кричал усатый, тяжело сопя.

В руках у матроса появилась оторванная откуда-то на бегу рейка.

— Держи, держи-и-и!

Пассажиры со страхом и любопытством сбились на палубе. Кто-то пронзительно засвистел в полицейский свисток.

Матрос со всего маху перепрыгнул через высокую крышку люка. Он увернулся от усатого, обежавшего сбоку, вильнул, перепрыгнул через люк обратно и вскочил на скамейку. Со скамейки — на перила борта, схватился за флагшток кормового флага, изо всей силы шарахнул усатого рейкой по морде и прыгнул в море.

Над кормой взлетели брызги.

— Ах!

Пассажиры все, сколько их ни было, качнулись назад, будто на них спереди дунуло.

Усатый метался возле борта, держась руками за лицо, и хрипло кричал:

— Держите, уйдёт! Держите, уйдёт!

Старший помощник шагал вверх по трапу через три ступеньки со спасательным кругом.

— Человек за бортом!

Пассажиры качнулись вперёд, к борту, будто на них дунуло сзади.

Петя протиснулся к борту. Уже довольно далеко от парохода, среди взбитого белка пены, на волне качалась, как поплавок, голова плывущего человека.

Но только он плыл не к пароходу, а от парохода, изо всех сил работая руками и ногами. Через каждые три-четыре взмаха он поворачивал назад злое, напряжённое лицо.

Старший помощник заметил, что человек за бортом, видать, не имеет ни малейшего желания быть «спасённым». Наоборот, он явно старается уйти как можно дальше от спасителей. Кроме того, он превосходно плавёт, а до берега сравнительно недалеко.

Так что всё в порядке.

Нет никаких оснований волноваться.

Напрасно усатый хватал старшего помощника за рукав, делал зверские глаза, требовал остановить пароход и спустить шлюпку.

— Это политический преступник. Вы будете отвечать!

Помощник флегматично¹ пожимал плечами:

— Не моё дело. Не имею приказанья. Обратитесь к капитану.

Капитан же только махнул рукой. И так опаздываем. Куда там, батюшка! Очень нужно. Вот через полчаса пришвартуемся, тогда и ловите своего политического. А у нас пароходство коммерческое² и частное. Оно политикой не занимается, и на этот счёт нег никаких инструкций.

Тогда усатый, ругаясь сквозь зубы, с ободранной мордой, стал пробираться сквозь толпу приготовившихся к высадке пассажиров третьего класса к тому месту, куда должны были подать сходни.

Он грубо расталкивал испуганных людей, наступал на ноги, пихал корзины и, наконец, очутился у самого борта, с тем чтобы первому выскочить на пристань, как только причалят.

Между тем голова матроса уже еле-еле виднелась в волне среди флажков, качавшихся над рыбацкими сетями и перемётами.

ГАВРИК

В этот же день другой мальчик, Гаврик, проснулся на рассвете от холода.

Он спал на берегу возле шаланды³, положив под голову гладкий морской камень и укрыв лицо старым дедушкиным пиджаком. На ноги пиджака не хватило.

Ночь была тёплая, но к утру стало свежо. Босые ноги озябли, Гаврик спросонья стянул пиджак с головы и укутал ноги. Тогда стала зябнуть голова.

Гаврик начал дрожать, но не сдавался. Хотел пересилить холод. Однако заснуть было уже невозможно...

Конечно, Гаврик свободно мог спать с дедушкой в хибарке. Там было тепло и мягко. Но какой же мальчик откажется от наслаждения лишний раз переночевать на берегу моря под открытым небом?..

Гаврик встал, сладко растянул руки, закатал штаны и, зевая, вошёл по щиколотку в воду.

С ума он сошёл, что ли? Ноги и так озябли до синевы, а тут ещё лезть в море, один вид которого вызывает озноб!

¹ *Флегматично* — здесь: равнодушно, безразлично.

² *Коммерческое* — торговое, не военное.

³ *Шаланда* — здесь: плоскодонная парусная рыболовная лодка.

Однако мальчик хорошо знал, что он делает. Вода только на вид казалась холодной. На самом деле она была очень тёплой, гораздо теплее воздуха. Мальчик просто-напросто грел в ней ноги.

...Зевая и жмурясь на восходящее солнце, Гаврик насухо вытер рубашкой маленькое пёстрое лицо с лилово-розовым носиком, облупленным, как молодая картофелька.

— Ох-ох-ох... — сказал он совершенно как взрослый, не торопясь перекрестил рот, где до сих пор ещё не хватало двух передних зубов, подобрал пиджак и побрёл вверх валкой, цепкой походочкой одесского рыбака.

Он продирался сквозь густые заросли сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего мокрые ноги и штаны жёлтым порошком цветения.

Хибарка стояла шагах в тридцати от берега, на бугорке красной глины, мерцавшей кристалликами сланца.

Собственно, это был небольшой сарайчик, грубо сколоченный из всякого деревянного старья: из обломков крашеных лодочных досок, ящиков, фанеры, мачт.

Плоская крыша была покрыта глиной, и на ней росли бурьяны и помидоры.

Когда ещё была жива бабушка, она обязательно два раза в год — на пасху и на спаса — белила мелом хибарку, чтобы хоть как-нибудь скрасить перед людьми её нищенский вид. Но бабушка умерла, и вот уже года три, как хибарку никто не белил. Её стены потемнели, облезли. Но всё же кое-где остались слабые следы мела, вьевшегося в старое дерево. Они постоянно напоминали Гаврику о бабушке и о её жизни, менее прочной, чем даже мел.

Гаврик был круглый сирота. Отца своего он совсем не помнил. Мать помнил, но еле-еле: какое-то распаренное корыто, красные руки, киевское печатное кольцо на скользком, разбухшем пальце и множество радужных мыльных пузырей, летающих вокруг её железных гребёнок.

Дедушка уже встал. Он ходил по крошечному огороду, заросшему бурьяном, заваленному мусором, где ярко теплилось несколько больших поздних цветков тыквы — оранжевых, мясистых, волосатых, со сладкой жидкостью на дне прозрачной чашечки.

Дедушка собирал помидоры в подол стираной-перестираной рубахи, потерявшей всякий цвет, но теперь нежно-розовой от восходящего солнца.

Между задранной рубахой и мешковатыми штанами виднелся худой коричневый живот с чёрной ямкой пупа.

Помидоров на огороде оставалось совсем мало. Поели почти все. Дедушке удалось собрать штук восемь — маленьких, желтоватых. Больше не было.

Старик ходил, опустив сивую голову. Поджав выскобленный по-солдатски подбородок, он пошевеливал босой ногой кусты

бурьяна — не найдётся ли там чего-нибудь? Но ничего больше не находилось.

Взрослый цыплёнок с тряпочкой на ноге бегал за дедушкой, изредка поклёвывая землю, отчего вверху вздрагивали зонтички укропа.

Дедушка и внучек не поздоровались и не пожелали друг другу доброго утра. Но это вовсе не означало, что они в ссоре. Наоборот. Они были большие приятели.

Просто-напросто наступившее утро не обещало ничего, кроме тяжёлого труда и забот. Не было никакого резона обманывать себя пустыми пожеланиями.

— Всё поели, ничего не осталось, — бормотал дед, как бы продолжая вчерашний разговор. — Что ты скажешь! Восемь помидоров — куда это годится? На смех курам.

— Поедем, что ли? — спросил Гаврик, посмотрев из-под руки на солнце.

— Надо ехать, — сказал дед, выходя из огорода.

Они вошли в хибарку и степенно напились из ведра, аккуратно прикрытого чистой дощечкой.

Старик крякнул, и Гаврик крякнул. Дедушка потуже подтянул ремешок штанов, и внучек сделал то же самое.

Затем дедушка достал с полочки кусок вчерашнего ситника и завязал его вместе с помидорами в ситцевый платок с чёрными капочками.

Кроме того, он взял под мышку плоский бочоночек с водой, вышел из хибарки и навесил на дверь замок.

Это была излишняя предосторожность. Во-первых, красть было нечего, а во-вторых, у кого бы хватило совести воровать у нищих?

Гаврик снял с крыши вёсла и взвалил их на маленькое, но крепкое плечо.

Сегодня дедушке и внучку предстояло много дел. Третьего дня бушевал шторм. Волна порвала перемёты. Рыба не шла.

Улова не было никакого. Денег не осталось ни копейки.

Вчера море улеглось и на ночь поставили перемёт.

Сегодня его надо было выбрать, успеть с рыбой на привоз, наживить перемёт и вечером обязательно его опять поставить, чтобы не пропустить хорошей погоды.

Они, нутужась, стащили шаланду по гальке к воде и осторожно толкнули в волну.

...Каждый из них работал одним веслом. Это было легко и весело: кто кого перегребёт? Однако оба они равнодушно хмурились и только побрякивали.

...Тем временем уже всё море покрылось рыбацкими шаландами, вышедшими на лов.

Высоко подскакивая и с маху шлёпаясь в волну плоским рубчатым дном, высунутым из воды на треть, пронеслась под полным парусом новая синяя красавица — шаланда «Надя и Вера»...

Ведь и у него, у дедушки, была когда-то прекрасная шаланда с новеньким, прочным парусом. Ловил на ней дедушка на

самодур¹ скумбрию. Да ещё как ловил! В иной день по две, по три сотни тащила покойная бабушка на привоз.

Но жизнь прошла... И остались у дедушки лишь нищенская хибарка на берегу да старая шаланда без паруса.

Парус пролечили, когда заболела бабушка. Да и то напрасно: всё равно померла. Теперь такого паруса больше никогда не справишь.

А без паруса какая же ловля? На смех курям! Разве только бычков на перемёт. Грустно!

Гаврик прекрасно понимал, о чём думает дедушка. Но и виду не подавал. Наоборот. Чтобы отвлечь старика от горьких мыслей, он стал деловито возиться возле перемёта: вытаскивать первый флажок.

Дедушка тотчас перебрался через банки, стал рядом с внуком, и они начали в четыре руки травить² мокрый конец перемёта.

Вскоре пошли крючки. Однако бычков на них было мало, да и то мелочь...

— Не идут на креветку³, — сокрушённо бормотал дедушка. — Ну что ты скажешь! Одна мелочь. Надо мясом наживлять. На мясо обязательно пойдут. А где это взять тоё мясо, если оно на привозе по одиннадцать копеек фунт⁴! Просто курям на смех.

Но тут вдруг навалилось что-то громадное, с коричневым дымом. Пролетели по воде две косые тени. Страшно зашумела вода... И совсем близко от шаланды прошёл пароход, хлопотливо мелькая красными лопастями колёс.

Лодку подбросило, потом уронило, опять подбросило.

Флажки перемёта запрыгали почти под самыми колёсами. Ещё немножко, и их смололо бы в щепки.

— Эй, на «Тургеневе»! — заорал дедушка не своим голосом и растопырил руки, как бы желая остановить несущуюся лошадь. — Что у вас, повылазило? Не видите перемётов! Паршивые сволочи!

Но пароход уже благополучно пронесло...

Значит, было уже семь часов утра.

«Тургенев» заменял рыбакам часы. В восемь часов вечера он проходил обратно из Аккермана в Одессу.

Надо было торопиться, чтобы не опоздать с бычками на привоз...

МАДАМ СТОРОЖЕНКО

...Мальчик шёл, отыскивая знакомую торговку, мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелёными раками...

Солнце жгло. Рыба засыпала.

¹ Самодур — рыболовное приспособление.

² Травить — ослаблять, отпускать понемногу.

³ Креветка — маленький морской рачок.

⁴ Фунт — старая единица веса, равная 409,5 г.

Знакомая торговка сидела на детской скамеечке под парусиновым зонтиком великанши, окружённая корзинами с товаром.

Громадная, одетая, несмотря на двадцатиградусную жару, в зимнюю жакетку с буфами, накрест обвязанная песочным платком и с увесистым кошельком через плечо, она как раз в этот момент торговалась с покупательницей.

Гаврик почтительно остановился поодаль, дожидаясь, когда она освободится.

Он прекрасно понимал, что они с дедушкой всецело зависят от этой женщины. Значит, надо быть как можно скромнее и вежливее. Он непременно снял бы шапку, если бы она у него была. Но шапки не было.

Мальчик ограничился тем, что тихонько поставил садок¹ на землю, опустил руки и посматривал на свои босые переминающиеся ноги, по щиколотку одетые серой замшевой пылью...

Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его.

Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждёт. Ничего. Не сдохнет — постоит.

— Кому свежей рыбы? Живые бычки! Камбала, камбала, камбала! — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: — Ну? Покажь!

Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке.

— Бычки, — сказал он почтительно.

Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, чёрными и синими, как виноград «изабелла».

— Ну? Где ж бычки?

Гаврик молчал.

— Я тебя спрашиваю: где бычки?

Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.

— Так вот же бычки, тётя. У вас в руках. Что вы, не видите?

— Где бычки? — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свёкла. — Где бычки? Покажи мне, где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть что жарить? Тут даже нет, чего жарить! Что вы мне всё носите мелочь и мелочь?..

Гаврик молчал.

Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но уж, во всяком случае, и не такая мелочь, как кричала торговка. Однако возражать не приходилось.

Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки.

¹ Садок — здесь: устройство для сохранения живой рыбы.

Её руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счётом. Ему казалось, что она хочет его обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В её корзине лежали другие бычки.

Поди разберись!

Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения.

— Для ровного счёта две с половиной сотни,— сказала торговка, закрывая корзину рогожкой.— Забирай садок. До свиданья. Скажешь деду, что с него ещё остаётся восемьдесят копеек. Чтоб он помнил. И пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать.

Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось.

А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания:

— Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!

— Мадам Стороженко,— наконец, с большим трудом выговорил мальчик, — мадам Стороженко...

Она нетерпеливо обернулась.

— Ты ещё здесь? Ну!

— Мадам Стороженко, сколько же вы даёте за сотню?

— Тридцать копеек сотня, итого семьдесят пять копеек, да вы мне остались один рубль пятьдесят пять, значит, ещё с вас восемьдесят. Так и скажешь дедушке. До свиданья.

— Тридцать копеек сотня!

Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так, чтоб из носа потекла юшка. Обязательно чтоб потекла. Или укусить...

Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача:

— Мадам Стороженко, вы же всегда давали по сорок пять.

— Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать. Иди с богом!

— Мадам Стороженко... Вы ж сами торгуете по восемьдесят...

— Иди, иди, не морочь голову! Мой товар. По сколько надо, по столько и торгую. Ты мне можешь не указывать. Камбала, камбала, камбала!

Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке — громадная, неприступная, каменная.

Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать-двадцать,— но стоило ли унижаться?

В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость.

Он вытер рукавом слёзы, щипавшие облупленный носик, выморкался двумя пальцами в пыль, вскинул на плечо лёгкий садок и пошёл прочь своей цепкой, черноморской походочкой.

Он шёл и думал, где бы раздобыть мяса и хлеба.

ШАЛАНДА В МОРЕ

Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришёл в себя.

Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть.

Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплёвываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приёма стянул пиджак, тяжёлый от воды, как чугун.

Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвить его ног.

Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света.

Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем...

Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался. Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду.

Он почти не спал двое суток, прошёл пешком вёрст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато...

Иногда ему казалось, что он теряет сознание. Иногда начинало тошнить. А то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его.

Раньше с ним этого никогда не было. Похоже на то, что он заболел.

Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жёсткими, что кололи голову.

Вокруг не было ни души. Вверху, в пустом вечерющем воздухе, пролетел мартын на толстых крыльях, и сам толстый, как кошка. В длинном, изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку.

Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвётся сердце, и он пойдёт ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы.

Вдруг он услышал нежный всплеск вёсел и немного погодя увидел почти чёрный силуэт шаланды.

Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал её и успел схватиться за высокую корму.

Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в шаланду.

— А ну, не балуйся! — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом.

Появление этой головы несколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами.

Иные из них, случалось, заплывали версты за три, за четыре



от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов.

Но уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам! А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы.

— А ну, не валяй дурака, отцепляйся! А то сейчас веслом как двину!..

И мальчик для пущей остротки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь как это делал в подобных случаях дедушка.

— Я... больной... — задыхаясь, сказала голова.

Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи.

Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец: пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают.

— Ты что, тонул?

Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке.

Гаврик и дедушка побросали вёсла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжёлое тело в шаланду...

Дедушка покрутил головой:

— История!..

— Дядя, откуда вы? — спросил мальчик.

Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил её в бессилии.

— Ой, ну его к чёрту! — пробормотал он неразборчивой скороговоркой. — Не показывайте меня людям... Я матрос... скройте где-нибудь... а то повесят... ей-богу, правда... святой истинный...

Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам прошла поволока.

И он опять потерял сознание.

Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова.

Время было такое, что лучше всего знать да помалкивать.

Они осторожно положили матроса на решётчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на вёсла.

Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчётом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал.

К счастью, на берегу никого не было.

Стояла тёплая глубокая тьма, полная сверчков и звёзд.

Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Тайнственно зашуршала галька.

Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.

Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что всё в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон.

Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.

Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал:

— Идти можете?

Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.

— Потихонечку, потихонечку, — приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.

— Тут недалеко, дядя... два шага...

Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если

бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком.

Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орёт песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки¹.

Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку...

«БАШЕННОЕ, ОГОНЬ!»

Ночь прошла очень тревожно.

Матрос рвал на груди рубаху. Ему было душно.

Дедушка потушил коптилку и отворил дверь, чтобы впустить свежего воздуха.

Матрос увидел звёздное небо и не понял, что это такое. Ночной ветерок влетел в хибарку и освежил его голову.

Гаврик лёг на бурьян возле двери, прислушиваясь к каждому шороху.

До утра мальчик не сомкнул глаз. Отлежал локоть. Дедушка устроился на земляном полу хибарки и тоже не спал, слушая сверчков, волну и стоны больного, который иногда вдруг взволнованно вскакивал, крича слабым, прозрачным голосом:

— Башенное, огонь! Кошуба! Бей, башенное!..

И всякую другую чепуху.

Тогда дедушка крепко брал его за плечи, осторожно тряс и шептал в самый его рот, дышащий жаром:

— Ляжь, не кричи. За ради самого господа бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказанье!

И матрос понемножку утихал, поскрипывая зубами.

Кто же такой был этот странный больной?

В числе семисот матросов, высадившихся с броненосца «Потёмкин» на румынский берег, был Родион Жуков.

Ничем замечательным не отличался он от прочих матросов мятежного корабля.

С первой минуты восстания, с той самой минуты, когда командир броненосца в ужасе и отчаянии бросился на колени перед командой, когда раздались первые винтовочные залпы и трупы некоторых офицеров полетели за борт, когда матрос Матюшенко с треском отодрал дверь адмиральской каюты, той самой каюты, мимо которой до сих пор страшно было даже проходить, с той самой минуты Родион Жуков жил, думал и действовал так же, как и большинство остальных матросов,—в лёгком тумане, в восторге, в жару,—до тех пор, пока не пришлось сдаться румынам и высадиться в Констанце.

Никогда до сих пор не ступала нога Родиона на чужую землю. А чужая земля, как бесполезная воля, широка и горька. «Потёмкин» стоял совсем близко от пристани.

¹ Монопо́лька (устар.) — винная лавка. Здесь: водка.

Среди фелюг¹ и грузовых пароходов, трёхтрубный и серый, окружённый яликами, яхтами и катерами, рядом с тощим румынским крейсером, он был бессмысленно велик.

Высоко над орудийными башнями, шлюпками, реями всё ещё висел белый андреевский флаг, косо помеченный голубым крестом, как перечёркнутый пакет. Но вот флаг дрогнул, опал и короткими стежками стал опускаться.

Обеими руками снял тогда Родион бескозырку и так низко поклонился, что кончики новых георгиевских лент мягко легли в пыль, как оранжево-чёрные деревенские цветы чернобrivцы.

— Просто срам... Чистый срам! Орудия двенадцатидюймовые, боевых патронов хоть залейся, наводчики один в одного. Даром Кошубу не послушались. Дорофей Кошуба правильно говорил: кондукторов, паршивых шкур, — за борт! «География Победоносца» — потопить. Идти на Одессу высаживать десант. Весь бы одесский гарнизон подняли, всех бы рабочих, всё бы Чёрное море! Эх, Кошуба, Кошуба, было бы тебя послушаться... А то такая ерунда получилась!

В последний раз поклонился Родион своему родному кораблю.

— Ладно, — сказал он сквозь зубы, — ладно. За нами не пропадёт. Всё равно всю Россию подыдем.

Через несколько дней, купив на последние деньги вольную одежду, он ночью переправился через гирло Дуная, возле Вилково, на русскую сторону.

План у него был такой: добраться степью до Аккермана, от туда на барже или на пароходе в Одессу; из Одессы до родного села Нерубайского — рукой подать. А там — как выйдет...

Одно только знал Родион наверняка: что к прошлому для него все пути заказаны, что прежняя его жизнь, подневольная матросская жизнь на царском броненосце и трудная родная крестьянская жизнь дома, в голубой мазанке с синими окошками среди жёлтых и розовых мальв, отрезана от него навсегда.

Теперь — либо на виселицу, либо скрываться, поднять восстание, жечь помещиков, идти в город искать комитет.

Он почувствовал себя худо ещё в дороге. Но останавливаться было уже нельзя. Он шёл больной.

И вот теперь... Что это с ним происходит? Где он лежит? Почему в дверях качаются звёзды? И звёзды ли это?

Чёрным морем обступила Родиона ночь...

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- У тебя есть батька и матка?
- Ни.
- С кем же ты живёшь.
- С дедом.
- А дед кто?
- Старик.

¹ Фелюга — небольшое парусное судно.

- Понятно, что старик, не молодой. А что он делает?
- Рыбу ловит.
- Значит, рыбак?
- Ну, рыбак. Рыбалка.
- А ты что?
- Хлопец.
- Это ясно, что хлопец, а не девочка. Я тебя спрашиваю: что ты делаешь?
- А ничего. Дедушке помогаю.
- Стало быть, вместе рыбачите?
- Эге.
- Так-с. Понятно. Как же это вы так рыбачите?
- А просто. Ставим на ночь перемёт, а потом утром вытягиваем бычков.
- Стало быть, выходите в море на шаланде?
- Эге.
- Каждый день?
- Как это? Что вы спрашиваете, дядя? Я не понимаю.
- Экий ты дурень! Я тебя спрашиваю: каждый ли вы день выходите в море на шаланде?
- А то как же!
- Утром и вечером?
- Ни.
- Что ни?
- Только утром.
- А вечером?
- И вечером тоже.
- Так как же ты говоришь, что только утром, когда и вечером тоже?
- Ни. Мы вечером только ставим перемёт. А бычков — тех вытягиваем утречком.
- Понимаю. Стало быть, вечером тоже выходите?
- Ни. Вечером только ставим.
- Ой, господи боже! Но для того, чтобы поставить, ведь надо вам прежде выйти в море?
- А как же?
- Значит, вечером тоже выходите?
- Ни. Вечером не вытягиваем. Вытягиваем только утречком.
- А вечером выходите ставить?
- А как же!
- Стало быть, вечером тоже выходите?
- Эге.
- Ну, вот видишь, какой ты дурень! С тобой надо разговаривать, хорошенько накушавшись гороха. Ты зачем такой дурень?
- Я маленький.
- Усатый господин посмотрел на Гаврика сверху вниз с нескрываемой насмешкой и слегка, но, впрочем, довольно-таки основательно щёлкнул его по голове.
- Эх ты, рыбалка!

Но мальчик вовсе не был таким дурнем.

Он сразу почувствовал в усатом хитрого и опасного врага. Ходит по берегу, выпрашивает про матроса... Наверно, какой-нибудь из сыскного. Ещё, чего доброго, пронюхает как-нибудь, что именно у них в хибарке и скрывается беглец. Может, уже и проследил, не дай бог!

Гаврик тотчас решил прикинуться совсем маленьким дурачком. От дурачка немного узнаешь.

Мальчик тут же скроил глупую рожу, какая, по его мнению, должна быть у маленького дурня, выпучил бессмысленно глаза и стал преувеличенно застенчиво переминаться с ноги на ногу.

Усатый, видя, что имеет дело с полным несмышлёнышем, решил сначала войти с ним в дружбу, а уж потом обо всём выпросить.

Он не без основания полагал, что дети—народ любопытный и наблюдательный и знают лучше взрослых, что делается вокруг.

— А как тебя звать, мальчик?

— Гаврик.

— Так-с. Стало быть, Гаврюха?

— Эге. Гаврюха.

— Ну, вот что, Гаврюха, хочешь выстрелить?

Даже уши у мальчика — и те покрылись горячей краской. Однако он тут же овладел собой и, продолжая изображать дурачка, пропищал совсем тоненьким голоском:

— А у меня, дяденька, нету пятачка.

— Это я понимаю, что у тебя нету капиталов. Ничего. Один раз можешь выстрелить, я заплачу.

— Знаете что, дядя, я лучше не буду стрелять, а вы меня лучше угостите в будке зельтерской с сиропом. Вам же дешевле обойдётся.

Усатый ничего не имел против, и они отправились к будке.

Здесь усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал не больше, не меньше, как целую большую бутылку воды «Фиалка» за восемь копеек.

...Гаврик пил и вместе с тем обдумывал, как он будет выворачиваться, если усатый снова начнёт приставать с вопросами. У мальчика на этот счет даже созрел целый план.

— Ну что, Гаврюха, понравилась тебе вода «Фиалка»?

— Спасибо, дядечка, сроду такой вкусной не пил.

— Я думаю! А скажи мне теперь: выходили вы вчера вечером в море?

— Выходили.

— Пароход «Тургенев» видели?

— А как же! Он нам чуть было весь перемёт колёсами не покалечил.

— А с парохода никто не прыгал?

Усатый смотрел на мальчика в упор чёрными мохнатыми глазами. Гаврик с трудом ухмыльнулся и преувеличенно возбуждённо заговорил:

— А ей богу, прыгал! Чтоб мне пропасть! Он ка-ак прыгнет, а брызги во все стороны ка-ак полетят! А он как поплывет наразмашку!..

— Стоп! Да ты не брешешь? Куда ж он поплыл?

— Ей-богу, не брешу, святой истинный крест!

Тут Гаврик, хотя и знал, что это грех, быстро раза четыре подряд перекрестился.

— Как поплывёт, как поплывёт.

И мальчик стал, размахивая руками, показывать, как плыл матрос.

— Куда же?

— Туда! — мальчик махнул рукой в море.

— А куда ж он потом делся?

— Потом его якась шаланда подобрала.

— Шаланда? Какая?

— Такая, знаете, большая — громадная очаковская шаланда под парусом.

— Здешняя?

— Не.

— А какая?

— С Большого Фонтана... А то, может, из Люстдорфа. Такая вся синяя-синяя и наполовину красная, громадная. Она его как подобрала, так сразу тем же ходом и пошла и пошла прямо на Люстдорф. Святой истинный крест...

— Название лодки не заметил?

— Как же, заметил: «Соня».

— «Соня»? Прекрасно. Да ты не врешь?

— Святой истинный крест, чтоб мне в жизни счастья не видеть, или «Соня», или «Вера».

— «Соня» или «Вера»?

— Или «Соня», или «Вера»... или «Надя».

— А то смотри...

Тут, вместо того чтобы расплатиться, усатый шепнул будочнику на ухо что-то такое, от чего лицо будочника сразу стало кислое. Затем он кивнул мальчику и торопливо побежал к подъёму в город, как понял мальчик, — на дачный поезд.

Гаврик только того и дожидался.

ЧЕСТНОЕ БЛАГОРОДНОЕ СЛОВО

— О, Гаврик!

— О, Петька!

Этими двумя возгласами изумления и радости, собственно, и закончился первый момент встречи закадычных друзей.

Мальчики не обнимались, не тискали друг другу рук, не заглядывали в глаза, как, несомненно, на их месте поступили бы девчонки.

Они не расспрашивали друг друга о здоровье, не выражали громко восторга, не суетились.

Они поступили, как подобало мужчинам, черноморцам: выразили свои чувства короткими, сдержанными восклицаниями и тотчас перешли к делу, как будто бы расстались только вчера.

— Куда ты идёшь?

— На море.

— А ты?

— На Ближние Мельницы, к братону.

— Зачем?

— Надо. Пойдёшь?

Разумеется, пойти без спросу на Ближние Мельницы являлось поступком ужасным...

Минут десять его мучила совесть. Он колебался.

Впрочем, это не мешало ему уже давно шагать рядом с Гавриком по городу и, захлёбываясь, рассказывать о своих дорожных приключениях.

Так что, когда в страшной борьбе с совестью победа осталась всё-таки на стороне Пети, а совесть была окончательно раздавлена, оказалось, что мальчики зашли уже довольно далеко.

Правила хорошего тона предписывали черноморским мальчикам относиться ко всему на свете как можно равнодушнее.

Однако Петин рассказ, против всяких ожиданий, произвёл на Гаврика громадное впечатление. Гаврик ни разу не сплюнул презрительно через плечо и ни разу не сказал «брешешь». Пете показалось даже, что Гаврик испугался. Но Петя тотчас приписал это своему таланту рассказчика.

Он покраснелся и кричал на всю улицу, изображая страшную сцену в лицах:

— Тогда этот ка-ак вдарит его по морде щепкой с гвоздём! Честное благородное слово! А тогда тот ка-ак закричит на весь «Тургенев»: «Сто-ой, сто-о-ой!» Можешь мне наплевать в глаза, если вру. А тогда этот ка-ак вскочит на перила да как соскочит в море — ба-бах! — аж только брызги полетели, высокие, до четвёртого этажа, чтоб я пропал, святой истинный крест!..

Петя так размахался руками и так распрыгался, что опрокинул у какой-то лавочки корзину с рожками, и мальчикам пришлось, высунув языки, два квартала бежать от хозяина.

— А этот был какой? — спросил Гаврик. — С якорем на руке, что ли?

— Ну да! Ясно! — возбуждённо орал Петя, тяжело переводя дух.

— Вот тут якорь?

— Ясно. А ты откуда знаешь?

— Не видал я матросов! — буркнул Гаврик и сплюнул совершенно как взрослый...

— А тот, — сказал Гаврик, — был в «скороходах» и в очках?

— В пенсне.

— Нехай будет так.

— А ты откуда знаешь?

— Не видал я агентов из сыскного?



Окончив свою историю, Петя поспешно облизал губы и тотчас, без передышки, стал рассказывать её опять с самого начала.

Трудно себе представить муки, которые при этом испытывал Гаврик. Перед тем, что знал он, Петины приключения не стоили выеденного яйца! Гаврику стоило только намекнуть, что этот самый таинственный матрос в данный момент находится у них в хибарке, как с Петьки тотчас соскочил бы всякий фасон.

Но приходилось молчать и слушать во второй раз Петину болтовню. И это было нестерпимо.

А может быть, всё-таки намекнуть? Так только, одно словечко. Нет, нет, ни за что! Петька обязательно разболтает. А если взять с него честное благородное слово? Нет, нет, всё равно разболтает. А если заставить перекреститься на церковь? Пожалуй, если заставить — на церковь, то не разболтает...

Словом, Гаврика терзали сомнения.

Язык чесался до такой степени, что иногда мальчик, чтобы не начать болтать, с силой сжимал себе пальцами губы.

Однако ничто не помогало. Открыть тайну хотелось всё сильней и сильней. А Петя между тем продолжал с жаром рассказывать, изображая, как ехал дилижанс, как из виноградника выскочил страшный матрос и напал на кучера, как Петя на него закричал и как тот спрятался под скамейку...

Это было уже слишком. Гаврик не выдержал:

— Дай честное благородное слово, что никому не скажешь!

— Честное благородное слово, — быстро, не моргнув глазом, сказал Петя.

— Побожись!

— Ей-богу, святой истинный крест! А что?

— Я тебе что-то скажу.

— Ну?

— Только ты никому не скажешь?

— Чтоб я не сошёл с этого места!

— Побожись счастьем!

— Чтоб мне не видеть в жизни счастья! — с готовностью проговорил Петя, от любопытства крупно глотая слюни, и для большей верности быстро прибавил: — Пусть у меня лопнут глаза! Ну?

Гаврик некоторое время шёл молча, сопя и отплёвываясь. В нём всё ещё продолжалась борьба с искушением. Но искушение побеждало.

— Петька, — сказал Гаврик сипло, — перекрестись на церкву.

Петя, сгоравший от нетерпения поскорее услышать секрет, стал искать глазами церковь...

Петя истово помолился на золотой крест с цепями и проговорил с убеждением:

— Святой истинный крест, что не скажу! Ну!

— Слышь, Петька...

Гаврик кусал губы и грыз себе руку. У него в глазах стояли слёзы.

— Слышь, Петька... Ешь землю, что не скажешь!

Петя внимательно осмотрелся по сторонам и увидел под стеной подходящую, довольно чистую землю. Он выцарапал ногтями щепотку и, высунув язык, свежий и розовый, как чайная колбаса, положил на него землю. После этого он вопросительно повернул выпученные глаза к приятелю.

— Ешь! — мрачно сказал Гаврик.

Петя зажмурился и начал старательно жевать землю.

Но в этот миг на дороге послышался странный нежный звон.

Два солдата конвойной команды, в чёрных погонах, с шашками наголо, вели арестанта в кандалах. Третий солдат, с револьвером и толстой разносной книгой в мраморном переплёте, шёл сзади. Арестант в ермолке солдатского сукна и в таком же халате, из-под которого высывались серые подштанники, шёл опустив голову...

Мальчики остановились и, открыв рты, разглядывали косо посаженные бескозырки солдат, синие револьверные шнуры и ярко-белые ножи качающихся вместе с руками шашек, на кончиках которых ослепительно вспыхивало солнце.

— Проходите, не останавливайтесь, — не глядя на мальчиков, сказал сердито солдат с книгой. — Не приказано смотреть.

Арестанта провели.

Петя вытер язык рукавом и сказал:

— Ну!

— Чего?

— Ну, теперь скажи.

Гаврик вдруг злобно посмотрел на приятеля, с ожесточением согнул руку и сунул заплатанный локоть Пете под самый нос:

— На! Пососи!

Петя глазам своим не поверил. Губы у него дрогнули.

— Я же землю кушал! — проговорил он, чуть не плача.

Глаза Гаврика блеснули диким лукавством, и он, присев на корточки, завертелся юлой, крича оскорбительным голосом:

— Обманули дурака на четыре кулака, на пятое стуло, чтоб тебя раздуло!

Петя понял, что попал впросак: никакой тайны у Гаврика, разумеется, не было, а он только хотел над ним посмеяться — заставить есть землю! Это, конечно, обидно, но не слишком.

В другой раз он выкинет с Гавриком такую штуку, что тот не обрадуется. Посмотрим!..

БЛИЖНИЕ МЕЛЬНИЦЫ

Петя никогда не предполагал, что город такой большой. Незнакомые улицы становились всё беднее и беднее. Иногда попадались магазины с товаром, выставленным прямо на тротуар...

За кладбищем потянулись дровяные склады, от которых исходил удивительно приятный, горячий, но несколько кисловатый запах дуба...

Затем — лесные склады с сохнувшим тёсом. Здесь тоже преобладал горячий запах пилёного дерева... Наконец, дорогу преградил опустившийся перед самым носом полосатый шлагбаум.

Из будочки вышел стрелочник с зелёным флажком. Раздался свисток. Из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собою тендер¹.

...Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги, бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы.

У, как это было жутко и в то же время весело!

¹ Тендер — вагон для топлива, воды; прицепляется к паровозу.

Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядел солдат и на тендере стоял другой солдат с винтовкой.

Едва локомотив скрылся за поворотом, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добела натёртым рельсам, гремящим, как оркестр.

Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому — вот только что, сию минуту — прошёл настоящий локомотив?

— Почему на нём вместо машиниста солдат? — спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав «кремушков» с балласта¹, отправились дальше.

— Видать, опять железнодорожники бастуют, — нехотя ответил Гаврик.

— Что это значит — бастуют?

— Бастуют — значит бастуют, — ещё сумрачнее сказал Гаврик. — Не выходят на работу. Тогда, бывает, вместо их солдаты водят поезда.

— А солдаты не бастуют?

— Солдаты не бастуют. Не имеют права. Ихнего брата за это — ого! — в арестантские роты могут. Очень просто.

— А то бы бастовали?

— Спрашиваешь!

— А твой братон Терентий бастует?

— Когда как...

— Отчего же он бастует?

— Оттого, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше — «Одесса-Товарная». А вон они самые, Ближние Мельницы...

ДЯДЯ ГАВРИК

— Тута!

Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками.

Из деревянных сеней мазанки выглянула женщина.

Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад:

— Ничего, это до тебя братик прийшов.

Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца.

Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало ат-

¹ Балласт — здесь: песок или щебень, который употребляется для покрытия верхней части железнодорожного полотна.

летической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим.

Подтянув ремешок штанов, мужчина подошёл к мальчикам.

— Это Петька с Канатной, угол Куликова поля,— сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. — Учителя мальчик. Ничего.

Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазками с весёлой искоркой.

— Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на пасху? Что ты ходишь, всё равно как босьяк с Дюковского сада?

Гаврик печально и длинно свистнул.

— Эге-э-э, где теи башмаки-и-и...

— Босьявка ты, босьявка!

Терентий сокрушённо покрутил головой и пошёл за дом, куда последовали мальчики.

Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе, под шелковицей, была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя.

...Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошёл от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребёнком на руках, подошедшую к шелковице.

Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребёнка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику.

— Посмотри, кто пришёл, агу! Гаврик пришёл, агу! Скажи дяде Гаврику: «Здравствуйте, дядя Гаврик! Агу!»

Гаврик с чрезвычайной серьёзностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлёк оттуда красного леденечного петуха на палочке.

Три часа таскать с собой такое лакомство и не только не попробовать его, но даже не показать — это мог сделать только человек с неслыханной силой воли! Гаврик протянул петуха ребёнку:

— На!

— Возьми, Женечка,—засуетилась девочка, поднося ребёнка к самому петушку.—Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принёс дядя Гаврик. Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так...

— Это Петя с Канатной, угол Куликова,— сказал Гаврик.— Пойди с ним поиграй, Мотя...

Мотя послушно отнесла ребёнка в дом и вернулась, прямая, как палка, со втянутыми щеками, страшно серьёзная.

Она остановилась шагах в четырёх от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза, неестественно тонким голосом:

— Мальчик, хотите, я вам покажу русско-японские картины?

— Покажь, — сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким, по правилам хорошего тона, следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо.

— Пойдем, мальчик...

* * *

Петя снисходительно согласился...

Потом они играли в картонки, причём Петя начисто обыграл девочку. Но у неё сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко, и он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает!

Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в «дыр-дыра», иначе — в прятки.

...Словом, всё было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврика, подошедшего в самый разгар игры.

— Петька, как звать того матроса? — озабоченно спросил Гаврик.

— Какого матроса?

— Который прыгал с «Тургенева».

— Не знаю...

— Ты ж ещё рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый чёрт из сыскного.

— Ну да... Ах, да!.. Жуков. Родион Жуков. Не мешай, мы играем.

...Вскоре пришла Мотина мать звать ужинать.

— Мотя, приглашай своего кавалера кулеш¹ кушать, а то он, наверное, голодный.

Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая, как палка, и произнесла сдавленным голосом:

— Мальчик, хотите с нами кушать кулеша?

Только сейчас Петя почувствовал голод. Ведь он сегодня не обедал!

Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительной придымлённой картошечкой и маленькими кубиками свиного сала!

После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой.

С ними пошёл в город и Терентий.

* * *

Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы про-

¹ Кулеш — жидкая кашлица, похлёбка.

верить разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности.

— А это у тебя кто лежит? — спросил вдруг господин с портфелем, заметив матроса.

Дедушка замялся.

— Больной, что ли? Если больной, то что ж ты его не отвёдешь в больницу?

— Не, — сказал дедушка, напуская на себя весёлое равнодушие, — он не больной, а только пьяный.

— А, пьяный! Сын, что ли?

— Не.

— Чужой?

— Я же вам говорю, ваше благородие: пьяный!

— Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?

— Как это откуда? — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. — Ну, пьяный и пьяный, известное дело...

Господин внимательно посмотрел на матроса.

— Что ж он, так и валялся в бурьяне в одних подштанниках?

— Так и валялся.

— Эй, ты, а ну-ка, дыхни! — закричал господин, совсем близко наклоняясь к матросу.

Жуков сделал вид, что ничего не слышит, и повернулся лицом к стенке, закрыв голову подушкой.

— Пьяный, а вином не пахнет, — заметил господин и, строго уставившись на дедушку, прибавил: — Смотри!

С тем комиссия и удалилась.

Гаврику это не понравилось.

Несмотря на свои девять с половиной лет, Гаврик в иных случаях жизни действительно разбирался лучше, чем многие взрослые. Да и не мудрено. Мальчик с самых ранних лет жил среди рыбаков, а одесские рыбаки, в сущности, мало чем отличались от матросов, кочегаров, рабочих из доков, портовых грузчиков, то есть самой нищей и самой вольнолюбивой части городского населения.

Все эти люди на своём веку довольно хлебнули горя и на собственной шкуре испытали, «почём фунт лиха», что взрослые, что дети — безразлично. Может быть, детям было даже ещё хуже, чем взрослым.

Шёл тысяча девятьсот пятый год — год первой русской революции.

Все нищие, обездоленные, бесправные подымались на борьбу с царизмом. Рыбаки занимали среди них не последнее место. А борьба начиналась лютая: не на жизнь, а на смерть. Борьба учила хитрости, осторожности, зоркости, смелости.

Все эти качества совершенно незаметно, исподволь, росли и развивались в маленьком рыбаке.

Брат Гаврика, Терентий, тоже сперва рыбачил, но потом женился и пошёл работать в вагонные мастерские. По множеству

признаков Гаврик не мог не догадываться, что старший брат его имеет какое-то отношение к тому, что в те времена называлось глухо и многозначительно — «движение».

Бывая в гостях у Терентия на Ближних Мельницах, Гаврик частенько слышал, как братон говорил слова «комитет», «фракция», «явка»... И хотя смысла их Гаврик не понимал, однако чувствовал, что слова эти связаны с другими, понятными всякому: «забастовка», «сыскное», «листовка».

Особенно хорошо было известно Гаврику, что такое листовки — эти странички плохой бумаги с мелкой серой печатью. Однажды, по просьбе Терентия, Гаврик даже разносил их ночью по берегу и клал, стараясь, чтобы никто не заметил, в рыбацьи шаланды.

Тогда Терентий сказал:

— А как кто-нибудь увидит — прямо кидай их в воду и тикай. А как поймают — скажи, что нашёл в бурьяне.

Но всё обошлось благополучно.

Вот именно поэтому Гаврик прежде всего и решил рассказать про матроса брату своему Терентию. Мальчик знал, что Терентий всё устроит. Однако он понимал, что следует ещё кое с кем посоветоваться, кое-где побывать, может быть, даже в том самом «комитете».

Значит, нужно пока что ждать. Но ждать становилось опасно.

ПОГОНЯ

Уже смеркалось, когда дверь хибарки неожиданно открылась и вошёл большой человек, на миг заслонив собой звёзды. Матрос вскочил.

— Ничего, дядя, сидите, это наш Терентий, — сказал Гаврик. Матрос сел, силясь в темноте рассмотреть вошедшего.

— Вечер добрый, — сказал голос Терентия. — Кто тут есть, никого не вижу. Почему лампу не зажигаете, керосина нема, чи шо?

— Ще трошки есть, — прокряхтел дедушка и зажёл лампочку.

— Здорово, диду, как дело? А я вышел сегодня в город и — дай, думаю, заскочу до своих родичей! Э, да я вижу, у вас тут ещё кто-то есть в хате! Здравствуйте!

Терентий быстро, но очень внимательно оглядел матроса при слабом свете разгоравшейся коптилки.

— Наш утопленник, — с добродушной усмешкой пояснил дедушка.

— Слышал.

Матрос с сумрачным сомнением смотрел на Терентия и молчал.

— Родион Жуков? — спросил Терентий почти весело.

Матрос вздрогнул, но взял себя в руки. Он ещё твёрже упёрся кулаками в койку и, сузив глаза, выговорил с дерзкой улыбкой: — Допустим, Жуков. А вы кто такой, что я вам обязанный

отвечать? Я, может быть, обязанный отвечать лишь перед одним комитетом.

Усмешка сошла с рябоватого лица Терентия. Гаврик никогда не видел брата таким серьёзным.

— Можешь меня считать за комитет, — немного подумав, заметил Терентий и сел рядом с матросом на койку.

— Чем вы докажете? — упрямо сказал матрос, отвергая товарищеское «ты» и отодвигаясь.

— Надо сначала, чтоб вы доказали, — ответил Терентий.

— Кажется, мои факты довольно-таки ясные. — И матрос сердито показал глазами на ноги в подштанниках.

— Мало что!

Терентий подошёл к двери, приоткрыл её и негромко сказал в щель:

— Илья Борисович, зайдите на минуту.

Тотчас зашумел бурьян, и в хибарку вошёл маленький, щуплый, очень молодой человек в пенсне с чёрной тесёмкой, заложённой за ухо. Под старой расстёгнутой тужуркой виднелась чёрная сатиновая косоворотка, подпоясанная ремешком. На обросшей голове сидела приплюснутая техническая фуражка.

Матросу показалось, что он уже где-то видел этого «студента».

Молодой человек стал боком, поправил пенсне и посмотрел на матроса одним глазом.

— Ну? — спросил Терентий.

— Я видел товарища утром пятнадцатого июня на Платоновском молу в карауле у тела матроса Вакулинчука, зверски убитого офицерами, — быстро и без передышки проговорил молодой человек. — Вы там были, товарищ?

— Факт!

— Видите. Стало быть, я не ошибся.

Тогда Терентий молча достал из-под пиджака свёрток и положил на колени матросу.

— Пара брюк, ремешок, тужурка, ботинок, к сожалению, не достали, пока будете ходить так, а потом купите, не теряя времени, одевайтесь, мы можем отвернуться, — так же быстро и без знаков препинания высыпал молодой человек, прибавив: — А то мне кажется, что за этим домом слежка.

Терентий мигнул:

— А ну-ка, Гаврик.

Мальчик сразу понял и тихонько выбрался из хибарки в темноту. Он остановился. Прислушался. Ему показалось, что на огороде трещит сухая картофельная ботва.

Он пригнулся, сделал несколько шажков и вдруг, привыкнув к темноте, ясно увидел посреди огорода две неподвижные фигуры.

У мальчикахватило дух. В ушах так зашумело, что он перестал слышать море. Прикусив изо всех сил губу, Гаврик со-

всем неслышно пробрался за хибарку, с тем чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на тропинке.

На тропинке стояло ещё двое, из которых один белел кителем.

Гаврик пополз к горке и увидел на ней несколько городовых¹. Он сразу узнал их по белым кителям. Хибарка была окружена.

Мальчик хотел броситься назад, как вдруг почувствовал большую горячую руку, крепко схватившую его сзади за шею. Он рванулся, но тотчас получил подножку и полетел лицом в бурьян.

Сильные руки схватили его. Он вывернулся и, к ужасу своему, нос к носу увидел над собой усатого, его открытый рот, из которого разило говядиной, его жёсткий, как сосновая доска, солдатский подбородок.

— Дяденька-а-а, — притворно тонким голосом заплакал Гаврик.

— Молчи, шкура... — зашипел усатый.

— Пусти-и-ите!

— А ну, покричи у меня, сволочуга, — сквозь зубы выцедил усатый, взяв железными пальцами мальчика за ухо.

Гаврик съёжился и диким голосом закричал, повернув лицо к хибарке:

— Тикайте!

— Молчи, убью!

Усатый так рванул ухо, что оно затрещало. Показалось, что лопнула голова. Ужасная, ни с чем не сравнимая боль обожгла мозг. Вместе с тем Гаврик почувствовал прилив ненависти и ярости, от которой потемнело в глазах.

— Тикайте! — ещё раз закричал он во всю глотку, корчась от боли.

Усатый навалился на Гаврика, продолжая одной рукой из всех сил крутить ухо, а другой затыкая рот. Но мальчик катался по земле, кусая потную, ненавистную волосатую руку, и, обливаясь слезами, иступлённо орал:

— Тикайте! Тикайте! Тика-а-а-айте-е-е!

Усатый яростно отшвырнул мальчика и кинулся к хибарке. Раздался длинный полицейский свисток.

Гаврик поднялся на ноги и сразу понял, что его крик был услышан: три фигуры — две рослые и одна маленькая — выскочили из хибарки и, спотыкаясь, бежали через огород.

Два белых кителя преградили им дорогу. Беглецы хотели повернуть, но увидели, что окружены.

— Стой! — закричал в темноте незнакомый голос.

— Илья Борисович, стреляйте! — услышал мальчик отчаянный крик Терентия.

¹ Городовой — полицейский.

В тот же миг сверкнули огоньки, и раздались подряд три револьверных выстрела, похожих на хлопанье кнута. По крикам и возне Гаврик понял, что в темноте происходит свалка.

Неужели их возьмут? Ничего не соображая от ужаса, Гаврик бросился вперёд, как будто мог чем-нибудь помочь.

Не успел он пробежать и десяти шагов, как увидел, что из свалки вырвались всё те же три фигуры — две большие и одна маленькая, — кинулись к обрыву и пропали в темноте.

— Держи! Держи-и-и!

Вылетел красный сноп огня. Ударил сильный выстрел из полицейского смит-вессона. Вверху на обрывах заливались свистки городских. Было похоже, что оцеплен весь берег.

Мальчик в отчаянии прислушивался к шуму погони. Он совершенно не понимал, зачем Терентий выбрал для бегства это направление. Надо быть сумасшедшим, чтобы взбираться наверх: там засада, и наверняка их там схватят. Лучше было бы проскользнуть вдоль берега.

Гаврик пробежал ещё немного, и ему показалось, что он видит, как по крутому, почти отвесному обрыву карабкаются три фигурки. Верная гибель!

— Ой, Терентий, куда ж вы полезли! — с отчаянием шептал мальчик, кусая руки, чтоб не заплакать, а едкие слёзы щекотали нос и кипели в горле.

И вдруг, в одну секунду, мальчик понял, зачем понадобилось им лезть на обрыв. Он совсем упустил из виду... А ведь это так просто! Дело в том, что... Но в это время усатый налетел на Гаврика, схватил его под мышку и, разрывая на нём рубаху, поволок его обратно. Он с силой втолкнул мальчика в хибарку. Возле неё уже стояло двое городских. Гаврик больно треснулся скулой о косяк и упал в угол на дедушку, сидевшего на земле.

— Уйдут — головы сорву! — крикнул усатый городovým и убежал вон.

Гаврик сел рядом с дедушкой, совершенно так же, как и он, подвернув ноги. Они сидели, ничего не говоря, прислушиваясь к свисткам и крикам, мало-помалу затихающим в отдалении.

Наконец шума совсем не стало слышно.

Тогда Гаврик почувствовал ухо, о котором было забыл. Оно ужасно болело. Казалось раскалённым. До него страшно было дотронуться.

— У, дракон, чисто всё ухо оторвал, — проговорил Гаврик, изо всех сил сдерживая слёзы и желая казаться равнодушным.

Дедушка искоса посмотрел на него. Глаза старика были неподвижны, страшные своей глубокой пустотой. Губы мягко жевали. Он долго молчал. Наконец покачал головой и укоризненно произнёс:

— Видели вы, господа, такое дело, чтобы уши детям обрывать? Разве это полагается?

Он тяжело вздохнул и опять зажевал губами. Вдруг суетливо наклонился к Гаврику, испуганно посмотрел на дверь — не подслушивает ли кто — и шепнул:

— Ничего не слышать, ушли они или остались?

— Они на обрыв полезли, — быстро и тихо сказал мальчик, — Терентий их повел до катакомбы. Если их по дороге не постреляют, непременно уйдут.

Дедушка повернул лицо к чудотворцу, прикрыл глаза и медленно, размашисто перекрестился, с силой вдавливая сложенные щепоткой пальцы в лоб, в живот, в оба плеча. Крошечная, еле заметная слеза поползла по щеке и пропала в морщине.

ДЕДУШКА

Под многими городами мира есть катакомбы. Катакомбы есть в Риме, Неаполе, Константинополе, Александрии, Париже, Одессе.

Когда-то, лет пятьдесят тому назад, одесские катакомбы были городскими каменоломнями, из которых выпиливали известняк для построек. Они и сейчас простираются запутанным лабиринтом под всем городом, имея несколько выходов за его чертой.

Жители Одессы, конечно, знали о существовании катакомб, но мало кто спускался в них, а тем более представлял себе их расположение. Катакомбы являлись как бы тайной города, его легендой.

Но недаром же Терентий был в своё время рыбаком. Он великолепно знал одесский берег и в точности изучил все выходы катакомб к морю.

Один из таких выходов находился в ста шагах позади хибарки, посредине обрыва. Это была узкая щель в скале, сплошь заросшая шиповником и бересклетом. Маленький ручеек просачивался из щели и бежал вниз по обрыву, заставляя вздрагивать ползучие растения и бурьян.

Отбившись от первого натиска городских и сыщиков, Терентий повёл товарищей прямо к знакомой расселине.

Преследователи понятия о ней не имели. Они думали, что беглецы хотят дачами добраться в город. Полицейским это было на руку. Все дачи были оцеплены. Беглецы неизбежно попадали в засаду.

Поэтому после первого же выстрела городским было приказано больше не стрелять.

Однако, прождав внизу с четверть часа, пристав¹ Александровской части, который лично руководил облавой, послал околоточного надзирателя узнать, схвачены ли преступники.

Околоточный отправился в обход удобной дорогой и вернулся ещё через четверть часа, сообщив, что беглецы наверху не по-

¹ Пристав — в царской России начальник полиции небольшого участка.

являлись. Таким образом, их не было ни наверху, ни внизу. Где же они? Было совершенно невероятно, чтобы они сидели где-нибудь посредине обрыва, в кустах, и ждали, пока их схватят.

Тем не менее пристав велел своим молодцам лезть вверх и обшарить каждый кустик. Страшно ругаясь, поминутно скользя лакированными сапогами по траве и глине, он сам полез на обрыв, больше не доверяя «этим болванам».

Они обшарили в темноте весь обрыв снизу доверху и ничего не нашли. Это было похоже на чудо. Не провалились же беглецы, в самом деле, сквозь землю!

— Ваше высокоблагородие! — раздался вдруг испуганный голос сверху. — Пожалуйте сюда!

— Что там такое?

— Так что, ваше высокоблагородие, катакомба!

Пристав схватился белыми перчатками за колючие ветки. Тотчас он был подхвачен дюжими руками и втащен на маленькую площадку.

Усатый зажигал спичку за спичкой. При свете их можно было рассмотреть заросшую кустами чёрную узкую щель в скале.

Пристав мигом понял, что дело проиграно. Ушла такая добыча! Он затрясся в ярости, затопал узкими сапогами и, тыча кулаками в белых перчатках направо и налево, куда попало, в морды, в скулы, в усы, кричал залихватским, осипшим от крика голосом:

— Что же вы стоите, бал-л-ваны?! Вперёд! Обыскать все катакомбы! Головы посрываю, мор-р-ды р-р-раскрошу к чёртовой матери! Чтоб негодяи были схвачены! Марш!

Но он сам понимал, что всё равно ничего не выйдет. Чтобы обыскать все катакомбы, надо по крайней мере недели две. Да и всё равно напрасно, так как прошло уже больше получаса, и беглецы, несомненно, уже давно в другом конце города.

Несколько городских с неохотой полезли в щель, непрерывно зажигая спички, топтались недалеко от входа, оглядывая серые известняковые стены подземного коридора, терявшегося в могильной тьме.

Пристав изо всех сил плюнул и, дробно бренча шпорами, побежал вниз. Ярость душила его. Он рванул перекрахмаленный воротник пикейного кителя с такой силой, что отлетели крючки.

Крупно шагая по трескучему бурьяну, он подошел к хибарке и с остервенением дёрнул дверь. Городовые в ужасе вытянулись.

Пристав вошёл в каморку и застыл, расставив ноги и заложив судорожно играющие пальцы за спину. Тотчас за приставом в дверь пролез усатый.

— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить, — таинственно шепнул он, показывая круглыми глазами на дедушку. — Хозяин конспиративной¹ квартиры, а это его мальчишка.

¹ Конспиративный — подпольный, тайный.

Пристав, не глядя на усатого, протянул к нему руку, взял его ощупью всей белой растопыренной пятернёй за потную морду и с яростным отвращением оттолкнул.

— Тебя, бол-лвана, не спрашивают. Сам знаю.

Гаврика охватил ужас. Он чувствовал, что сейчас произойдёт что-то страшное. Бледный и маленький, с красным распухшим ухом, он смотрел не мигая на стройного, плечистого офицера в голубых шароварах и чёрной лаковой портупее через плечо.

Постояв таким образом не менее минуты, показавшейся мальчику часом, пристав присел боком на койку. Не спуская глаз с дедушки, он вытянул лаковый сапог, извлёк из тесного кармана серебряную папиросницу с оранжевым трутом и закурил жёлтую папироску.

Пристав пустил из ноздрей дым, произнёс вместе с дымом: «Н-нусс», — и вдруг заорал во всю глотку так, что зазвенело в ушах:

— Встань, мерзавец, когда находишься в присутствии офицера!

Дедушка суетливо вскочил. Скрючив босые чёрные ноги и опираясь на тщедушном теле рубаху, старик уставился на пристава бессмысленными солдатскими глазами.

Гаврик видел, как дрожала дедушкина вытянутая шея и как двумя вожжами натягивалась под подбородком сухая кожа со старинным шрамом.

— Нелегальных¹ прячешь? — ледяным голосом произнёс пристав.

— Никак нет, — прошептал дедушка.

— Говори: кто у тебя только что был?

— Не могу знать.

— Ах, ты не можешь знать! — И офицер медленно привстал.

Сжав губы, он коротким и точным движением ударил старика в ухо с такой силой, что тот отлетел и всем телом стукнулся в стенку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать, — твёрдо сказал старик, двигая скулами.

Снова мелькнул кулак в белой перчатке. Из дедушкиных ноздрей потекли две слабые струйки крови. Старик зажмурился, вдавил голову в плечи и всхлипнул.

— За что же вы бьёте, ваше благородие? — тихо, но грозно сказал дедушка, вытирая под носом и показывая приставу запачканную руку.

— Молчать! — заорал офицер бледнея.

Большая бархатная родинка чернела на его гипсовом лице. Он с отвращением посмотрел на свою испорченную перчатку.

— Говори, кто был?

— Не могу знать...

¹ *Нелегальный* — не разрешённый законом, подпольный.

Старик успел закрыть лицо руками и отвернуться к стенке. Удар пришёлся по голове. Штаны на коленях обвисли. Дедушка стал медленно сползать вниз.

— Дядя, не бейте его, он — старик! — со слезами отчаяния закричал Гаврик, бросаясь к приставу.

Но пристав уже выходил из хибарки, крича:

— Взять мерзавца! Отвезти!

Городовые бросились к старику и схватили его, выворачивая локти. Они потащили его из хибарки, как куль соломы. Гаврик сел на пол и, кусая кулачки, зарыдал злыми, бешеными слезами.

Некоторое время он сидел не шевелясь, прислушиваясь одним ухом к шумам и шорохам ночи. Другое оглохло.

...Внезапно мальчик ясно почувствовал своё одиночество. Он торопливо задул огонь и бросился за дедушкой.

Роскошная августовская ночь висела над миром. Чёрное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звёздами. Звон сверчков подымался, струясь, до самого Млечного Пути.

Но какое дело было измученному и оскорблённому ребёнку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым?

Гаврик бежал изо всех сил.

Он догнал дедушку лишь в городе, на Старопортофранковской улице, возле самого участка.

Два городских — один сидя, а другой стоя — везли дедушку на извозчике. Старик лежал, соскользнув с сиденья, в ногах у городского, поперёк дрожек. Его голова бессильно прыгала и билась о подножку. По лицу, грязному от пыли и крови, бежал свет газовых фонарей.

Гаврик бросился к дрожкам, но они уже остановились у ворот участка. Городовые тащили спотыкающегося старика в ворота.

— Дедушка! — закричал мальчик.

Городовой слегка стукнул Гаврика ножами шашки по шее. Ворота закрылись. Мальчик остался один.

* * *

Наступила осень.

Петя уже ходил в гимназию. Из большого загорелого мальчика с длинными ногами в фильдекосовых чулках он, надев форму, превратился в маленького, выстриженного под ноль, лопухого приготовишку, на гимназическом языке — «мартыхана».

...Гаврик больше не появлялся, и Петя его почти забыл, всецело занятый гимназией.

До поры до времени забыл о Петинем существовании и Гаврик. Теперь он жил на Ближних Мельницах, у Терентия.

Дедушку всё ещё не выпускали. Он сидел то в Александровском участке, то в охранке, куда его часто возили ночью на извозчике. Но, как видно, старик умел держать язык за зубами, так как Терентия до сих пор не трогали.

Куда девался матрос, Гаврик в точности не знал. Расспрашивать же Терентия он не считал нужным. Впрочем, по некоторым признакам можно было заключить, что матрос в безопасности и находится где-то поблизости.

Мало ли было на Ближних Мельницах трущоб и закоулков, где человек мог сгинуть, пропасть, исчезнуть? И мало ли было таких сгинувших до поры до времени людей в районе Ближних Мельниц?

Не в правилах Гаврика было совать нос в чужие дела. У него и своих дел оказалось достаточно.

Терентию с семьёй приходилось туго. Железная дорога бастовала почти всё время. Терентий пробавлялся мелкой слесарной работой, которую брал на дом. Но, во-первых, работы было мало, а во-вторых, много времени отнимали те неотложные дела, о которых в семье принято было говорить только намёками.

Терентий как бы вовсе не принадлежал себе. Случалось, за ним являлись ночью, и он, не говоря ни слова, одевался и уходил, иногда на целые сутки.

Постоянно в доме сидели какие-то приезжие, которым надо было готовить кулеш, кипятить в чайнике воду. В сенях не выводилась осенняя грязь, в комнате столбом стоял махорочный дым.

У мальчика не хватало совести сесть на шею семейному брату, приходилось кормиться самому. Не маленький! Надо было тоже носить передачи бабушке в участок. Конечно, без бабушки о рыбной ловле нечего было и думать. Да и погода пошла плохая — через день шторм.

Гаврик сходил на берег, перетащил лодку к соседям и запер хибарку на замок.

Теперь он целыми днями бродил по городу в старых чоботах Терентия, ища себе пропитания. Конечно, выгоднее всего было просить милостыню. Но Гаврик скорее согласился бы сдохнуть, чем протянуть руку прохожему. Вся его рыбацкая кровь закипала при одной мысли об этом.

Нет! Он привык добывать хлеб трудом. Он носил кухаркам корзинки с привоза до самого дома за две копейки. Он помогал грузчикам на станции Одесса-Товарная. Для извозчиков, которые, под угрозой штрафа, не имели права отлучаться от лошади, он бегал в монопольку за шкаликом водки.

...Наконец, Гаврик добывал деньги игрой в ушки. Эта игра только что вошла в моду. Ею увлекались не только дети, но и взрослые. Ушками назывались форменные пуговицы различных ведомств, со вбитыми внутрь петельками.

В общих чертах игра состояла в том, что игроки ставили чашечки ушек в кон, а затем по очереди били по ним специальной ушкой-битой, стараясь их перевернуть орлом вверх. Каждая перевернутая таким образом ушка считалась выигранной.

...Гаврик блестяще играл в ушки. У него был твёрдый, сильный удар и очень меткий глаз. В короткое время он приобрёл

славу чемпиона. Его мешочек всегда был наполнен превосходными, дорогими ушками. Когда его дела становились особенно скверными, он продавал часть своего запаса.

Но его мешочек никогда не пустовал. На другой же день Гаврик выигрывал ещё больше ушек, чем продал накануне.

Таким образом, то, что для других было развлечением, для мальчика стало чем-то вроде выгодной профессии. Ничего не поделаешь, приходилось выкручиваться!..

* * *

Пете открылось много такого, о чём он раньше не подозревал.

Раньше существовали понятия, до такой степени общеизвестные и непреложные, что о них никогда даже и не приходилось думать.

Например — Россия. Было всегда совершенно ясно и непреложно, что Россия — самая лучшая, самая сильная и самая красивая страна в мире. Иначе как можно было бы объяснить, что они живут в России?

Затем папа. Папа — самый умный, самый добрый, самый мужественный и образованный человек на свете.

Затем царь. О царе нечего и говорить. Царь — это царь. Самый мудрый, самый могущественный, самый богатый. Иначе чем можно было бы объяснить, что Россия принадлежит именно ему, а не какому-нибудь другому царю или королю, например французскому?

Ну и, конечно, бог, о котором уже совсем нечего говорить, — всё понятно.

И вдруг, что оказалось? Оказалось, что Россия — несчастная, что, кроме папы, есть ещё какие-то самые лучшие люди, которые гниют на каторгах, что царь — дурак и пьяница...

Кроме того, министры — бездарные, генералы — бездарные, и, оказывается, не Россия победила Японию, в чём не было до сих пор ни малейших сомнений, а как раз Япония — Россию.

В участке сидели приличные, трезвые люди, даже такой замечательный старик, как дедушка Гаврика, которого, кроме того, ещё и били. Матрос прыгнул с парохода. Солдаты остановили дилижанс. В порту стояли часовые. Горела эстакада. С броненосца стреляли по городу.

Нет, было совершенно ясно, что жизнь вовсе не такая весёлая, приятная, беззаботная вещь, какой казалась ещё совсем-совсем недавно...

Какова же была его радость, когда он увидел во дворе Гаврика!

Гаврик стоял на коленях, окружённый детьми, присевшими на корточки. Он обучал их модной игре в ушки.

Петя ещё даже не успел хорошенько поздороваться с приятелем, с которым не виделся столько времени, как уже был охвачен азартом. Они сыграли на пробу одну партию ушками Гаврика. Но это ещё больше раззадорило Петю.

— Гаврик, дай на разживу десяток, — сказал Петя, протягивая руку, дрожащую от нетерпения. — Я, как только найграю, так и отдам, святой истинный крест!

— Не лапай, не купишь, — сумрачно ответил Гаврик, высыпал ушки в байковый серый мешочек и аккуратно завязал его шпагатиком. — Ушки тебе не картонки. Они деньги стоят. Могу продать, если хочешь.

Петя ничуть не обиделся на Гаврика и не надулся. Он прекрасно понимал, что дружба — дружбой, а каждая игра имеет свои нерушимые правила. Раз ушки стоят денег, значит, за них надо платить деньги, и никакая дружба тут не поможет. Таков железный закон улицы.

Но как же быть?

Играть хотелось мучительно.

...Петя чуть не плакал. Он был в полном отчаянии. Гаврик сжалился над приятелем. Он дал ему в долг на отыгрыш две ушки-одинарки. Но Петя был слишком азартен и нетерпелив — он в пять минут проигрался снова. С Гавриком трудно было бороться.

Гаврик небрежно ссыпал весь свой баснословный выигрыш в мешочек и отправился домой, сказав, что завтра зайдёт опять.

ДОЛГ ЧЕСТИ

Утром Петя унёс из чулана две пары летних кожаных скороходов и по дороге в гимназию продал их старьевщику за четыре копейки.

Когда днём явился Гаврик, мальчики тотчас расставили ушки. Петя проиграл всё только что купленное у Гаврика ещё скорее, чем в первый раз.

Да и понятно: у приятелей были слишком неравные силы. Надо быть мастером! В конце концов Петя проиграл не только всё, что у него было, но ещё остался должен.

...Гаврик пообещал прийти завтра за долгом...

...Петя промучился весь вечер. От умственного напряжения у него даже до того разгорелись уши, что против лампы светились совершенно как рубиновые.

Мальчик перебрал тысячи способов быстрого обогащения, но все они были или слишком фантастические, или слишком преступные. Наконец ему в голову пришла удивительно простая и вместе с тем замечательная мысль. Ведь покойный-то дедушка, мамин папа, был майор! О, как он мог это забыть!

Не теряя времени, Петя вырвал из арифметической тетрадки лист бумаги и принялся писать бабушке, маминой маме, письмо в Екатеринослав.

Осыпая бабушку ласковыми именами и сообщая о своих блестящих гимназических успехах, — что, по правде сказать, было

сильно преувеличено, — Петя просил прислать ему на память — как можно скорее — майорский мундир дорогого дедушки.

Хитрый мальчик отлично понимал, на какую наживку легче всего клюнет добрая старушка, одинаково сильно чтившая память дедушки, героя турецкой кампании, и любившая Петю, своего старшего внука.

Мальчик извещал её далее, что, по примеру дедушки-героя, сам твёрдо решил стать героем и поэтому избирает военную карьеру, а мундир необходим для постоянного поддержания в нём воинского духа.

Петя надеялся, что на майорском мундире масса ушек — штук двадцать, если не тридцать, отличных офицерских пятков с чеканными орлами.

Это одно могло помочь ему выпутаться из долгов и, может быть, даже отыграться. По Петиним расчётам, посылка обязательно должна прийти через неделю, не позже.

Петя рассказал Гаврику всё. Гаврик вполне одобрил. Мальчики вместе, встав на цыпочки, опустили письмо в большой жёлтый ящик с изображением заказного пакета за пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков.

Теперь оставалось спокойно ждать...

ТЯЖЁЛЫЙ РАНЕЦ

Прошла неделя, другая, а посылка от бабушки не приходила. Несмотря на объявленную царём «свободу», беспорядки усиливались. Почта работала плохо.

...Приготовительный класс распустили на неопределённое время. Петя целый день болтался без дела. За это время он успел проиграть Гаврику в долг столько, что страшно было подумать.

Однажды пришёл Гаврик и, зловеще улыбаясь, сказал:

— Ну, теперь ты не ожидай так скоро своих ушек. На днях пойдёт всеобщая.

Может быть, ещё месяц тому назад Петя не понял бы, о чём говорит Гаврик. Но теперь было вполне ясно: раз «всеобщая», значит, «забастовка».

Сомневаться же в достоверности Гавриковых сведений не приходилось. Петя уже давно заметил, что на Ближних Мельницах всё известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был нож в сердце.

— А может, успеют дойти?

— Навряд ли.

Петя даже побледнел.

— Как же будет насчёт долга? — спросил Гаврик настойчиво.

— Честное благородное слово, завтра непременно будут! Святой истинный крест! Последний раз.

В один прекрасный день Гаврик объявил, что ждать больше не желает. Это значило, что отныне Петя, как несостоятельный

должник, поступает к Гаврику в рабство до тех пор, пока полностью не расквитается. Таков был жестокий, но совершенно справедливый закон улицы.

Гаврик слегка ударил Петю по плечу, как странствующий рыцарь, посвящающий своего слугу в оруженосцы.

— Теперь ты скрозь будешь со мною ходить, — добродушно сказал он и прибавил строго: — Вынеси ранец.

— Зачем... ранец?

— Чудак-человек, а ушки в чём носить?

И глаза Гаврика блеснули весёлым лукавством.

По правде сказать, Пете весьма улыбалась перспектива такого весёлого рабства: ему давно уже хотелось побродяжничать с Гавриком по городу. Но дело в том, что Пете ввиду событий самым строжайшим образом было запрещено выходить за ворота. Теперь же совесть его могла оставаться совершенно спокойной: он здесь ни при чём, такова воля Гаврика, которому он обязан беспрекословно подчиняться. И рад бы не ходить, да нельзя: такие правила.

Петя сбегал домой и вынес ранец.

— Надень, — сказал Гаврик.

Петя послушно надел, Гаврик со всех сторон осмотрел маленького гимназиста в длинной, до пят, шинели, с пустым ранцем за спиной. По-видимому, он остался вполне доволен.

— Билет гимназический есть?

— Есть.

— Покажь!

Петя вынул билет. Гаврик его раскрыл и по складам прочёл первые слова: «Дорожа своею честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения...»

— Верно, — заметил он, возвращая билет. — Сховай. Может, сгодится.

Затем Гаврик повернул Петю спиной и нагрузил ранец тяжёлыми мешочками ушек.

— Теперь мы всюду пройдем очень свободно, — сказал Гаврик, застёгивая ранец, и с удовольствием хлопнул по его телячьей крышке.

Петя не вполне понял значение этих слов, но, подчиняясь общему уличному закону — поменьше спрашивать и побольше знать, — промолчал. Мальчики осторожно вышли со двора.

Так начались их совместные странствования по городу, охваченному беспорядками.

С каждым днём ходить по улицам становилось всё более опасно. Однако Гаврик не прекращал своей таинственно увлекательной жизни странствующего человека. Наоборот. Чем в городе было беспокойнее и страшнее, тем упрямее лез Гаврик в самые глухие и опасные места. Иногда Пете даже начинало казаться, что между Гавриком и беспорядком существует какая-то необъяснимая связь.

Прячась в подворотнях от выстрелов и обходя опрокинутые поперёк мостовой конки¹, мальчики колесили по городу, посещая самые отдалённые его окраины.

Благодаря Петинной гимназической форме им без труда удавалось проникать в районы, оцепленные войсками и полицией. Гаврик научил Петю подходить к начальнику заставы и жалобным голосом говорить:

— Господин офицер, разрешите нам перейти на ту сторону, мы с товарищем живём вон в том большом сером доме, мама, наверное, сильно беспокоится, что нас так долго нет.

Вид у мальчика в форменной шинели, с телячьим ранцем за плечами был такой простодушный и приличный, что обыкновенно офицер, не имевший права никого пропускать в подозрительный район, делал исключение для двух испуганных детишек.

— Валяйте, только поосторожней! Держитесь возле стен. И чтоб я вас больше не видел! Брысь!

Таким образом мальчики всегда могли попасть в любую часть города, совершенно недоступную для других.

БОМБА

Но вот однажды настал конец этой восхитительной, но жуткой бродячей жизни.

В этот памятный день Гаврик пришёл раньше обыкновенного и мальчики тотчас отправились в город.

У Гаврика было серое, необычайно собранное, неподвижное лицо с пёстрыми от холода, крепко сжатыми губами. Он быстро и валко шёл, глубоко засунув руки в карманы своих широких бобриковых штанов, — маленький, сгорбившийся, решительный. Только в его прозрачных, как у дедушки, стоячих глазах мелькало иногда недоброе оживление. Петя еле поспевал за своим другом. Мальчики почти бежали по улице, безлюдной, как во сне.

Напряжённое ожидание чего-то висело в сером воздухе. Шаги звонко раздавались по плиткам тротуара. Под каблуком иногда ломалось оконное стекло льда, затянувшего пустую лужу.

Вдруг где-то далеко, в центре, раздался лёгкий грохот. Можно было подумать, что везли на ломовике пирамиду пустых ящиков и внезапно они развязались и рухнули на мостовую.

Гаврик остановился, прислушиваясь к слабому шуму эха.

— Что это? — шёпотом спросил Петя. — Ящики?

— Бомба, — сухо и уверенно сказал Гаврик. — Когось трахнули.

Через два квартала навстречу мальчикам из-за угла выбежала женщина с корзиной, из которой сыпались древесный уголь и айва.

¹ *Конка* — городская железная дорога с конной тягой, которая существовала в крупных городах до введения электрического трамвая. Конкой также назывался вагон этой дороги.

— Ой, господи Иисусе Христе, ой, мать пресвятая богородица... — бессмысленно повторяла женщина, стараясь дрожащей рукой натянуть сбившийся с головы платок. — Ох, господи, что же это делается? На кусочки разорвало...

— Где?

— На Полицейской... Вот так я иду, а вот так он едет... И как рванёт... На мелкие кусочки... Господи, помилуй... Лошадей поубивало, экипаж на мелкие кусочки...

— Кого?

— Пристава... С Александровского участка... Вот так — я, а вот так — он... А тот боевик — напротив, и у него в руках, представьте себе, обыкновенный пакетик, даже завёрнутый в газету...

— Поймали?

— Боевика-то? Куда там! Как бросились все в разные стороны — его и след простыл... боевика-то... Говорят, какой-то передетый матрос...

Женщина побежала дальше. Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик схватил Петю за плечо и притопнул ногами.

— Это того самого, который деда бил кулаком по морде, — быстро, горячо зашептал он. — А пускай не даёт волю своим рукам. Верно?

— Верно, — сказал Петя, холодея.

В этот день мальчики два раза заходили на Малую Арнаутскую улицу, во двор с фонтаном и цаплей.

В первый раз, забрав «товар», как выразился Гаврик, они отправились на Александровский проспект, оцепленный войсками. Их без особого труда пропустили.

Пройдя несколько домов, Гаврик втащил Петю в какие-то ворота.

...Гулкая тишина стояла вокруг.

Но за этой тишиной, по ту сторону дома, на незнакомой улице, не столько слышался, сколько угадывался тревожный шум какого-то движения.

Кроме того, сверху, будто с неба, изредка хлопали громкие выстрелы, наполняя двор колодезным шумом. Петя прижался ранцем к стене и, дрожа, зажмурился. Гаврик же не торопясь вложил в рот два пальца и свистнул.

Где-то наверху стукнул ставень и раздался голос:

— Сейчас!

Через минуту, показавшуюся Пете часом, из двери чёрного хода выскочил красный, потный человек без пальто, в пиджаке, испачканном мелом.

Петя увидел и ахнул. Это был Терентий.

— Давай, давай, давай! — бормотал Терентий, обтирая рукавом мокрое лицо.

Не обращая внимания на самого Петю, он бросился к его ранцу.

— Давай скорее! Спасибо, в самый раз! А то у нас ни черта не осталось.

Он нетерпеливо расстегнул ремешки, сопя, переложил мешочки из ранца в карманы и бросился назад, успев крикнуть:

— Пущай Иосиф Карлович сей же час присылает ещё. Тащите, что есть. А то не продержимся.

— Ладно, — сказал Гаврик, — принесём.

Тут под крышу ударила пуля, и на мальчиков посыпался розовый порошок кирпича.

Они поспешили той же дорогой, назад, на Малую Арнаутскую, и взяли новую партию «товара». Ранец на этот раз был так тяжёл, что Петя его еле тащил.

Теперь мальчик, конечно, прекрасно понимал уже, какие это ушки. В другое время он бросил бы всё и убежал домой. Но в этот день он, охваченный до самого дна души азартом опасности, гораздо более могущественным, чем азарт игры, ни за что не согласился бы оставить товарища одного. К тому же он не мог отказаться от славы Гаврика. Одна мысль, что он будет лишён права рассказывать потом о своих похождениях, сразу заставила его пренебречь всеми опасностями.

Гаврик и Петя отправились обратно. Но как изменился за это время город! Теперь он кипел.

Улицы то наполнялись бегущим в разные стороны народом, то вдруг пустели мгновенно, подметённые железной метёлкой залпа.

Мальчики подходили уже к заставе, как вдруг Гаврик схватил Петю за руку и быстро втащил в ближайшую подворотню.

— Стой!

— Что?

Не выпуская Петиной руки, Гаврик осторожно выглянул из ворот и тотчас отвалился назад, прижавшись спиной к стене под чёрной доской с фамилиями жильцов.

— Слышь, Петька... Дальше не пройдем... Там ходит тот самый чёрт, который мне уши крутил... Смотри...

Петя на цыпочках подошёл к воротам и выглянул. Возле заставы, мимо вывернутых чугунных решёток сквера и винтовок, составленных в козлы, по мостовой прогуливался господин в драповом пальто и каракулёвой шляпе пирожком. Он повернулся и Петя увидел бритое грубое лицо с мясистым носом. Что-то было в этом незнакомом лице очень знакомое. Где-то Петя его уже видел. Но где? Что-то мешало мальчику вспомнить. Может быть, мешала синева над верхней губой? И вдруг он вспомнил. Конечно, это был тот самый усатый с парохода «Тургенев», но только бритый, без усов. Он тогда врезался в память на всю жизнь. Петя узнал бы его из тысячи даже бритым.

— Усатый, — прошептал Петя, становясь рядом с Гавриком, ранцем к стенке. — Который ловил матроса. Только теперь без усов. Помнишь, я тебе говорил, а ты ещё смеялся.

— Ишь, побрился, чтоб не узнали... Шкура... Он меня знает

как облупленного, — сказал Гаврик с досадой. — Ни за что не пройдем.

— А может, пройдем?

— Смеёшься?

Гаврик выглянул из ворот.

— Ходит...

Гаврик сжал кулачок и стал со злостью грызть костяшки пальцев.

— А они тама сидят и дожидаются... У, дракон!

В наступившей на минуту полной и глубокой тишине восстания слышались отдалённые выстрелы. Их шум перекатывался где-то под крышами города.

— Слышь, Петька, — сказал вдруг Гаврик, — понимаешь, они тама сидят и даром дожидаются... без товара... Их тама всех перестреляют, очень просто... А я не могу иттить, потому что этот чёрт непременно за мной прилипнет!

Злые слёзы закипели на глазах Гаврика. Он сильно потянул носом, высморкался в землю и сердито посмотрел Пете в глаза.

— Чуешь, что я тебе говорю?

— Чую, — одними губами проговорил Петя, бледнея от этого сердитого, дружеского, настойчивого и вместе с тем умоляющего взгляда товарища.

— Сможешь пойтить один? Не сдрейфишь?

От волнения Петя не мог выговорить ни слова. Он крупно глотнул, кивнул головой. Воровато озираясь по сторонам и выглядывая из ворот, Гаврик стал набивать Петины карманы своими мешочками.

— Слышь, всё отдашь, весь товар. И что в ранце отдашь, и что в карманах. А если поймаетесь, молчи и отвечай, что нашёл на улице и ничего не знаешь. Понял?

— Понял.

— Как только отдашь, так беги сюда обратно, я тебя буду тута дожидаться, в воротах. Понял?

— Понял.

С неудобно раздутыми карманами Петя, почти ничего не сознавая от страха и волнения, подошёл к заставе.

— Куда лезешь, не видишь, что ли? — закричал усатый, бросаясь к мальчику.

— Дяденька, — захныкал Петя привычным тоненьким голосом Гаврика, — пожалуйста, пропустите, мы живём тут недалеко, на Александровском проспекте, в большом сером доме, мама очень беспокоится, наверное, думает, что меня убили.

И совершенно натуральные слёзы, брызнули из его глаз, катясь по замурзанным пухлым щёчкам. Усатый с отвращением посмотрел на маленькую фигурку пригодишки и взял Петю за ранец.

Он подвёл мальчика к обочине мостовой и слегка поддал коленом:

— Жарь!

Не чувствуя под собой ног, Петя побежал к известному дому.

ШТАБ БОЕВИКОВ

Мальчик шмыгнул в ворота, стал пробираться через двор.

Проходя здесь час тому назад с Гавриком, Петя не испытывал особенного беспокойства. Тогда он чувствовал себя под надёжной защитой друга, ловкого и опытного. Избавленный от необходимости думать самому, он был всего лишь послушным спутником, лишённым собственной воли. За него думал и действовал другой, более сильный.

Теперь мальчик был совершенно один. Он мог рассчитывать только на самого себя и ни на кого больше.

...Петя спустился в подвал.

Он долго шёл ощупью в душном, но холодном мраке, дыша пыльным воздухом сараев. Ужас охватывал мальчика всякий раз, когда его ресницы задевала паутина, казавшаяся крылом летучей мыши.

Наконец, он выбрался на второй двор. Здесь было пусто.

...Теперь надо было сунуть в рот пальцы и свистнуть. Но вдруг Петя сообразил, что не умеет свистеть в два пальца. Плевать сквозь зубы давно научился, а свистеть нет. Не сообразил. Забыл.

Мальчик неловко вложил в рот пальцы и дунул, но свиста не вышло. В отчаянии он дунул ещё раз, изо всех сил. Ничего. Только слюни и шипение.

Тогда Петя собрал все свои душевные силы и, зажмурившись, крикнул:

— Э-э!

Голос прозвучал совсем слабо. Но гулкое эхо тотчас наполнило пустую цистерну двора.

Однако никто не откликнулся. Тишина стала ещё страшней.

Вверху что-то оглушительно щёлкнуло, и вниз полетело колесо сбитой водосточной трубы, увлекая за собой куски кирпича, костыли, извёстку.

— Э-э! Э-э! Э-э! Э-э! — закричал мальчик изо всей мочи.

Наверху приоткрылся ставень, и выглянуло незнакомое лицо.

— Чего кричишь? Принёс? Беги сюда наверх! Живенько!

И лицо скрылось.

Петя в нерешительности оглянулся. Но он был совершенно один, и не с кем было посоветоваться. Вверху опять щёлкнуло, и вниз полетел большой кусок штукатурки, разбившийся вдребезги у самых Петиних ног.

Съёжившись, мальчик бросился в дверь чёрного хода. Пугаясь в полах слишком длинной, сшитой «на рост» шинели, он стал взбираться по гремучей железной лестнице наверх.

— Давай, давай, давай! — кричал сверху сердитый голос.

Тяжёлый ранец больно колотил по спине. Раздутые карманы стесняли шаг. Сразу стало жарко. Фуражка внутри стала горя-

чая и мокрая. Пот лился на брови, на глаза. Лицо пылало. А раздражённый, умоляющий голос продолжал кричать сверху:

— Давай! Давай же, ну тебя к чёрту!

Едва Петя, тяжело дыша и даже высунув от напряжения язык, добрался до площадки четвёртого этажа, как его сразу схватил за плечи человек в хорошем, но грязном пальто с барашковым воротником, без шапки, с мокрыми волосами, прилипшими ко лбу.

Его франтоватые усики и бородка совершенно не соответствовали воспалённому простому, курносому лицу, осыпанному известкой.

Отчаянные, весёлые и вместе с тем как бы испуганные глаза жарко блестели под побелевшими от извести колосистыми бровями. У него был вид человека, занятого какой-то очень трудной и, главное, очень спешной работой, от которой его оторвали.

Он ужасно торопился назад. Он схватил Петю сильными руками за плечи.

Мальчику показалось, что сейчас его будут трясти, как папа в минуту ярости. Петя даже присел от страха. Но человек ласково взглянул в глаза.

— Принёс? — торопливым шёпотом спросил он и, не дожидаясь ответа, втащил мальчика в пустую кухню какой-то квартиры, в глубине которой — Петя сразу это почувствовал — делалось что-то громадное и страшное, что обычно в квартире делаться не может.

Человек бегло осмотрел Петю и сразу же, не говоря ни слова, полез в его оттопыренные карманы. Он торопливо стал вытаскивать из них грузные мешочки. Петя стоял перед ним, расставив руки.

Что-то было в этом незнакомом человеке с усиками и бородкой очень знакомое. Несомненно, где-то Петя его уже видел. Но где и когда?

Мальчик изо всех сил напрягал память, но никак не мог вспомнить. Что-то ему мешало, сбивало с толку. Может быть, усики и бородка?

Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре мешочка.

— Всё? — спросил он.

— Нет, ещё есть в ранце.

— Молодец мальчик! — закричал человек. — Ай, спасибо! А ещё гимназист!

Он в знак восторга крепко взялся за козырёк Петиной фуражки и глубоко насунул её мальчику по самые уши.

И тут Петя увидел возле самого носа закопчённую, тухло пахнущую порохом коренастую руку с маленьким голубым якорем.

— Матрос! — воскликнул Петя.



Но в этот же миг в глубине квартиры что-то рухнуло. Рванулся воздух. С полки упала кастрюля. Матрос мягким, кошачьим движением бросился в коридор, успев крикнуть:

— Сиди тут!

Через минуту где-то совсем рядом разорвалось подряд шесть отрывистых выстрелов. Петя поскорей сбросил ранец и стал его расстёгивать дрожащими пальцами.

В это время из коридора в кухню, шатаясь, вошёл Терентий. Он был без пиджака, в одной сорочке с оторванным рукавом. Этим рукавом была перевязана его голова. Из-под перевязки по виску текла кровь. В правой руке он держал револьвер.

Увидев Петю, он хотел что-то сказать, но махнул рукой и сперва напился воды, опрокинув лицо под кран.

— Принёс? — спросил он, задыхаясь, между двумя глотками воды, шумно бившей в его неправдоподобно белое лицо. — Где Гаврюшка? Живой?

— Живой.

Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Терентий тотчас стал доставать из ранца мешочки.

— Всё равно не удержимся, — бормотал он, еле держась на ногах... — Будем по крышам уходить... Они там орудие ставят... А ты, мальчик, тикай, а то тебя здесь подстрелят... Тикай скорей. Спасибо, будь здоров.

Терентий присел на табурет, но тотчас встал, и обтирая револьвер о колено, побежал по коридору туда, откуда слышались непрерывное хлопанье выстрелов и звон разбивающихся стёкол.

Петя схватил лёгкий ранец и бросился к двери. Но любопытство всё-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью.

Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решёткой дранки.

Несколько человек, припав к подоконникам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов.

Петя увидел перевязанную голову Терентия и барашковый воротник матроса. Мелькали ещё какая-то чёрная косматая бурка и студенческая фуражка.

И всё это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма.

Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка, и поминутно высовывал наружу дёргающуюся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом:

— Огонь! Огонь! Огонь!

Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал Гаврик.

— Ну как, отнёс?

— Отнёс.

Петя, захлёбываясь, рассказал всё, что видел в страшной квартире.

— Они всё равно не удержатся. Будут уходить по крышам... — шептал Петя, тяжело дыша. — Там против них пушку ставят...

Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным.

Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам.

— Пропало! — закричал Гаврик в отчаянии. — Тикай!

Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу, в третий раз изменившемуся за это утро.

Теперь в нём безраздельно хозяйничали казаки. Всюду слышалось льющееся цоканье подков.

Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками.

От них некуда было спрятаться: все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлял собой ловушку.

Остатки рассеянных демонстраций бежали врассыпную, куда глаза глядят, без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке.

На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда.

Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас.

Через каждые десять шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное, истерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались два донца.

Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледные при дневном свете.

Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного.

Дверь была заперта. Он рвал её с отчаянием, он бил в неё изо всех сил ногами, ломился плечом. Дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар.

Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижимал к груди флаг. Блеснула шашка. Спина покачнулась. Пиджак лопнул наискось. Хозяин тира дёрнулся и повернулся...

— Негодяи! Сатрапы! Палачи! — страстно закричал он на всю улицу. — Долой самодержавие!

Но в тот же миг — резко и одновременно — блеснули две шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой.

Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал.

Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на верёвке тело человека, оставлявшее на мертвенно-серой мостовой длинный красный, удивительно яркий след.

Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков.

* * *

Чувствуя на сердце необъятную тоску и тяжесть, Петя сидел в тёмной детской на подоконнике и смотрел в нарядно замёрзшее окно, где среди ледяных папоротников мерцал золотой орех уличного фонаря...

В это время в дверях детской таинственно появилась Дуня¹ и поманила Петю.

¹ Прислуга в семье Пети.

— Паньч, вас на чѣрной лестнице дожидается той скаженный¹ Гаврик, — прошептала она, оглядываясь.

Петя бросился на кухню.

Гаврик сидел на высоком подоконнике чѣрного хода, прислонившись плечом к ледяному окну, игравшему синими искрами месяца. Из башлыка блестели маленькие злые глаза. Мальчик тяжело сопел.

В первый миг Петя подумал, что Гаврик пришѣл за долгом. Он уже приготовился рассказать о несчастье, постигшем их с дедушкиными пуговицами, и дать честное благородное слово, что не позже как через два дня расквитается.

Но Гаврик торопливо вытащил из-за пазухи ватной кофты четыре хорошо знакомых мешочка и сунул их Пете.

— Сховай, и будем с тобой в расчѣте, — тихо и твѣрдо сказал он. — От Иосифа Карловича остаток, царство ему небесное.

При этих словах Гаврик истово перекрестился.

— Сховай и держи, пока не пригодятся.

— Сховаю, — шѣпотом ответил Петя.

Гаврик долго молчал. Наконец резко вытер кулачком под носом и сполз с подоконника.

— Ну, Петька... Будь здоров...

— А те — ушли тогда?

— Ушли. По крышам. Теперь их повсюду ищут.

Гаврик задумался, не сказал ли чего-нибудь лишнего, но потом доверчиво приблизился к самому Петиному уху и прошептал:

— Уй, сколько народа похватали! Ну, их не споймают. Я тебе говорю. Они в катакомбах отсиживаются. Все ихние боевики тама. Весной опять начнут. А Терентия жену с маленькими детьми — с Женечкой и Мотечкой — хозяин дома с квартиры выселяет. Такое дело...

Гаврик озабоченно почесал брови.

— Не знаю теперь, что мне с ними делать. Верно, придѣтся всем вместе переезжать с Ближних Мельниц в дедушкину хибарку. А дедушка, знаешь, совсем никуда стал. Верно, скоро помрѣт. Ты до нас когда-нибудь, Петька, всё-таки заскочи. Только пережди время. Главное, мешочки хорошенько сховай. Ничего. Ты не плачь, Маруся, будешь ты моя. Дай пять.

Гаврик сунул Пете руку дощечкой и побежал, дробно стуча своими разбитыми чоботами по лестнице.

Петя вернулся в детскую и спрятал мешочки в ранец под книги.

Но тут вдруг с невероятным стуком распахнулась дверь, и в комнату вошѣл быстро отец...

— Негодный мальчишка, сорванец, — кричал он, — я знаю всё! Ты играешь в азартные игры! Лгунишка!..

— Сию же минуту давай сюда эти... как они там у вас называются... чушки или душки...

¹ Скажѣнный (укр.) — сумасшедший, бешеный.

— Ушки, — криво улыбнувшись, пролепетал Петя, надеясь как-нибудь обернуть дело в шутку.

Но, услышав слово «ушки» из уст сына, отец вскипел ещё пуще:

— Ушки? Отлично... Где они? Сию же минуту давай их сюда. Где эта уличная мерзость? В огонь! В плиту! Чтоб духу их не было!

Он стремительно осмотрел комнату и бросился к ранцу.

Петя, рыдая, бежал за ним по коридору до самой кухни, когда отец, широко и нервно шагая, быстро и брезгливо, как дохлых котят, нёс мешочки.

— Папочка! Папочка! — кричал Петя, хватая его за локти. — Папочка!

Отец грубо оттолкнул Петю, затем шумно сдвинул кастрюлю и, яростно пачкая сажей манжеты, сунул мешочки в пылающую плиту.

Мальчик замер от ужаса.

— Тикайте! — закричал он не своим голосом.

Но в этот миг в плите застреляло. Раздался небольшой взрыв.

Из камфорки рванулось разноцветное пламя. Лапша вылетела из кастрюльки и прилипла к потолку. Плита треснула. Из трещин повалил едкий дым, в одну минуту наполнивший кухню.

Когда плиту залили водой и выгребли золу, в ней нашли кучу обгоревших гильз от револьверных патронов.

Но ничего этого Петя уже не помнил. Он был без сознания. Его уложили в постель. Он весь горел. Поставили термометр. Оказалось тридцать девять и семь десятых.

Петя проболел всю зиму. Лишь в середине великого поста он стал ходить по комнатам.

Приближалась весна.

...На слабых ногах Петя слонялся по комнатам, сразу сделавшимися, как только он встал с кровати, маленькими и очень низкими. Он становился на цыпочки перед зеркалом в тёмной передней и с чувством щемящей жалости разглядывал своё вытянувшееся белое лицо с тенями под неузнаваемыми, какими-то испуганно-изумлёнными глазами.

...Дни прибывали, и мальчику уже нечем было заполнить невероятно растянувшиеся часы между обедом и вечером.

Пете уже разрешали гулять возле дома. Он медленно ходил взад и вперёд по сухому тротуару, жмурясь на солнце, садившееся за вокзалом.

...Пасха пришла и расцвела в тот самый день, в который ей и полагалось по календарю.

Утомительно трезвонили колокола, среди взбитых облаков летело свежее солнце.

...Целый день, с утра до вечера, Петя проводил на Куликовом

поле. Он почему-то был уверен, что непременно встретится здесь с Гавриком.

...А дни становились всё длиннее, всё незаполнимей. И вот однажды Петя отправился на море, в гости к Гаврику.

* * *

Дедушка умирал.

И Гаврик, и Мотя, и Мотина мама, и Петя, проводивший теперь почти всё время на море,— все знали, что дедушка скоро умрёт.

Знал это и сам дедушка.

...Однажды утром Петя пришёл на море и не нашёл возле хибарки старика. На том месте, где обычно стояла его кровать, теперь были устроены козлы, и на них чужой рослый старик с киевским крестиком на чёрной шее стругал доску.

Длинная стружка, туго завиваясь, штопором лезла из рубанка.

Тут же стояла Мотя в новом, но некрасивом, ни разу не стиранном коленкоровом платье и в тесных ботинках.

— А у нас дедушка сегодня умер,— сказала она...

На третий день дедушку похоронили.

...Четыре русоусых рыбака несли на плечах дедушку в лёгком открытом гробу.

Впереди шёл чистенький, умытый, аккуратно причёсанный Гаврик. Он держал на полотенце громадную глиняную миску с колевым¹.

Гроб провожали Мотина мама с Женечкой на руках, Мотя, Петя и несколько соседей-рыбаков в праздничных костюмах, всего человек восемь. Но по мере приближения к кладбищу народу за гробом становилось всё больше и больше.

Слух о похоронах старого рыбака, избитого в участке, непонятным образом облетел весь берег от Ланжерона до Люстдорфа.

Из приморских переулков целыми семьями и куренями выходили рыбаки — малофонтанские, среднефонтанские, с дачи Вальтуха, из Аркадии, с Золотого Берега, — присоединяясь к процессии.

Теперь за нищим гробом дедушки в глубоком молчании шла уже толпа человек в триста.

...Дедушку зарыли на узкой лужайке, усеянной лиловыми скорлупками пасхальных крашенок, у самой стены, за которой уже двигались фуражки конной полиции. Люди тесным кольцом окружили могилу, куда медленно опускалась на полотенцах лёгкая лодка нищего гроба.

Один за другим, не торопясь и не толкаясь, люди подходили к свежей могиле, крестились, кланялись в пояс и подавали руку сначала Мотиной маме, потом Гаврику.

¹ *Кóлево* (укр.) — кутья, кушанье из варёного риса с изюмом или мёдом, которое едят на похоронах и на поминках.

Гаврик же, дав Пете держать миску, аккуратно и хозяйственно насупившись, выбирал новенькой деревянной ложкой колево — каждому понемногу, чтобы всем досталось, и клал его в протянутые ковшиком руки и в шапки. Люди с бережным уважением, стараясь не уронить ни зёрнышка, высыпали колево в рот и отходили, уступая место следующим.

Это было всё, что могла предложить дедушкина семья друзьям и знакомым, разделившим её горе.

Некоторым из подходивших за коловом рыбакам Гаврик говорил с поклоном:

— Кланялся вам Терентий, просил не забывать: завтра часов в двенадцать маёвка¹ на своих шаландах против Аркадии.

— Приедем.

Наконец в опустошённой миске осталось всего четыре лиловых мармеладки.

Тогда Гаврик с достоинством поклонился тем, кому не хватило, сказал: «Извиняйте» — и распределил четыре лакомых кусочка между Женечкой, Мотей и Петей, не забыв, однако, и себя. Давая Пете мармеладку, он сказал:

— Ничего. Она хорошая. Братьев Крахмальниковых. Скушай за упокой души. Поедешь завтра с нами на маёвку?

— Поеду, — сказал Петя и поклонился могиле в пояс, так же точно, как это делали все другие.

Толпа не спеша разошлась. Кладбище опустело. Где-то далеко, за стеной, слышался одинокий голос, затянувший песню. Её подхватили хором:

Прощай же, товарищ, ты честно прошёл
Свой доблестный путь благородный!

Но тотчас раздался полицейский свисток. Песня прекратилась. Петя слышал шум множества ног, бегущих за стеной. И всё стихло.

Несколько капель дождя окропило могилу. Но дождик лишь подразнил — перестал, не успев начаться. Стало ещё более душно, сумрачно.

Мотя с мамой, Гаврик и Петя в последний раз перекрестились и пошли домой. Петя простился с друзьями у Куликова поля.

— Так не забудь, — сказал Гаврик многозначительно.

— Говоришь! — Петя с достоинством кивнул головой.

Затем он, как бы невзначай, подошёл к Моте. Унизительно краснея от того, что приходится обращаться с вопросом к девочке, он быстро шепнул:

— Слышь, Мотька, что такое маёвка?

Мотя сделала строгое, даже несколько постное лицо и ответила:

— Рабочая пасха.

¹ *Маёвка* — в дореволюционной России нелегальное собрание рабочих, устраиваемое за городом 1 Мая.

МАЁВКА

Тёплый дождик шёл всю ночь. Он начался в апреле и кончился в мае. В девятом часу утра ветер унёс последние капли.

Море курилось парным туманом, сливаясь с ещё не расчищенным небом. Горизонт отсутствовал. Купальни как бы висели в молочном воздухе. Лишь извилистые и глянцевитые отражения свай покачивались на волне цвета бутылочного стекла.

Гаврик и Петя гребли, с наслаждением опуская вёсла в воду, тёплую даже на вид.

Сначала наваливались — кто кого перегребёт. Но Пете трудно было тягаться с Гавриком. Маленький рыбак без особого труда одолевал гимназистика, и лодка всё время крутилась.

...Петя старательно сопел, высунув язык. Правда сказать, он немного уже устал. Но он ни за что не сознался бы в этом перед Гавриком.

Кроме того, мальчика сильно беспокоил вопрос: маёвка это уже или ещё не маёвка? Однако ему не хотелось спрашивать, чтобы опять не оказаться в дураках.

Мотя сказала, что маёвка — это рабочая пасха. Но вот они уже добрых полчаса плывут вдоль берега, а до сих пор что-то не видать ни кулича, ни окорока, ни крашеных яиц. Впрочем, может быть, это так и полагается. Ведь пасха-то не просто пасха, а рабочая.

Всё же в конце концов мальчик не выдержал.

— Послушайте,— сказал он Терентию,— это уже самая маёвка или ещё нет?

— Ещё не маёвка.

— А когда она будет? Скоро?..

— Сначала подъедем до Малого Фонтана — заберём одного человека, а там и маёвку будем начинать.

Действительно, на Малом Фонтане в шаланду прыгнул франтоватый господин с тросточкой и верёвочной кошёлкой. Он со всего маху сел рядом с Терентием, воровато оглянулся на берег и сказал:

— Навались. Поехали.

Это был матрос.

Но, боже мой, как он был наряден!

Мальчики смотрели на него с полуоткрытыми ртами, восхищённые и подавленные его неожиданным великолепием.

...Скоро шаланда очутилась среди множества других рыбацких шаланд, болтавшихся на одном месте против Аркадии, как это и было условлено заранее.

Целая флотилия разноцветных лодок окружила старую, облезшую посудину покойного дедушки...

— Здорово, Терентий!

— Осторожно! Не потопи наши калоши своим броненосцем!

— Эй, босяки, пропустите главного политического!

— Терёха! Дорогой друг! И где это ты поймал такого моло-

дого человека? Нет спасения — жилет-пике, бламанже, парле франсе!..

Когда водворились тишина и порядок, Терентий толкнул матроса локтем.

— Начинай, Родя.

Матрос не спеша снял шляпу, положил её на колени и крошечным гребешком расчесал усики. Затем он встал и, расставив для устойчивости ноги, произнёс ясно и громко, так, чтобы его слышали все:

— Здравствуйте, товарищи одесские рыбаки! С Первым вас мая!

Лицо его сразу сделалось скуластым, курносым, решительным.

— Тут мне слышалось, кому-то было интересно узнать, что я за такой сюда к вам приехал — интересный господинчик в перчаточках и в крахмалке, парле франсе. На это могу вам ответить, что я есть член Российской социал-демократической рабочей партии, фракции большевиков, посланный сюда к вам от Одесского объединённого комитета. И я есть такой же самый рабочий человек и моряк, как вы здесь все. А что касается крахмале жилет-пике, белые брючки, то на этот вопрос тоже могу я вам с удовольствием ответить одним вопросом. Вот вы все здесь одесские рыбаки и, наверное, знаете. Почему, скажите вы мне, рыба скумбрия носит на себе такую красивую голубую шкуру с синими полосками, вроде муаровыми¹? Не знаете? Так я вам могу свободно это объяснить. Чтоб тую скумбрию незаметно было в нашем голубом Чёрном море и чтоб она не так скоро споймалась на ваш рыбацкий самодур. Ясно?

На шаландах слышался смех. Матрос подмигнул, потрянул головой и сказал:

— Так вот я есть тая же самая рыба, которая специально одевается в такую шкуру, чтоб её не сразу было заметно.

На шаландах засмеялись ещё пуще.

— Добрая рыба!

— Целый дельфин!

— А не страшно тебе попасть один какой-нибудь раз на крючок?

Матрос подождал, когда кончатся возгласы, и заметил:

— А ну, споймай меня. Я скользкий.

Затем он продолжал:

— Вот я смотрю вокруг, товарищи, и думаю про нашу воду и землю. Солнышко светит. В море до чёрта всякой рыбы. На полях до чёрта пшеницы. В садах разная фрукта: яблоки, аберко-сы, вишня, черешня, груша. Растёт виноград. На степу кони, волы, коровы, овечки. В земле золото, серебро, железо, всякие-разные металлы. Живи — не хочу. Кажется, на всех хватает. Кажется, все люди свободно могут быть довольные и счастливые. Так что же вы думаете? Нет! Всюду непременно есть богатые, кото-

¹ *Муар* — шёлковая ткань с волнообразным отливом.

рые совсем не работают, а забирают себе всё, и всюду есть бедные, нищие люди, которые работают день и ночь, как проклятые, и не имеют с этого ни чёрта! Как же это так получается? Могу вам на это ответить: очень просто. Возьмём рыбака. Что делает рыбак? Ловит рыбу. Наловит и идёт на привоз. И сколько же ему, например, дают на привозе за сотню бычков? Тридцать — сорок копеек!

Матрос остановился и посмотрел вокруг.

— Ещё спасибо, если дадут тридцать, — сказал похожий на дедушку старик, прилёгший на носу неуклюжей шаланды «Дельфин». — Я позавчера принёс четыре сотни, а она мне больше как по двадцать пять не хочет платить, хоть ты что! И тут же их сама продаёт по восемь гривен.

Все оживились. Матрос попал в самое больное место. Каждый старался высказать свои обиды. Кто жаловался, что без паруса не жизнь. Кто кричал, что привоз держит за горло...

А матрос, перекрывая шум, продолжал:

— Значит, выходит, что у нас буржуи отнимают три четверти нашего труда. А мы что? Как только мы подыдем голову, так они нас сейчас шашкой по черепу — трах! Бьют ещё нас, товарищи, сильно бьют. Подняли мы красный флаг на «Потёмкине» — не удержали в руках. Сделали восстание — то же самое. Сколько нашей рабочей крови пролилось по всей России — страшно подумать! Сколько нашего брата погибло на виселицах, в царских застенках, в охранках! Говорить вам об этом не приходится, сами знаете. Вчерась, кажется, хоронили вы одного своего хорошего старика, который тихо и незаметно жизнь свою отдал за счастье внуков и правнуков. Перестало биться его старое благородное рабочее сердце. Отошла его дорогая нам всем душа. Где она, тая душа? Нет её и никогда уже не будет... А может быть, она сейчас летает над нами, как чайка, и радуется на нас, что мы не оставляем своего дела и собираемся ещё и ещё раз драться за свою свободу до тех пор, пока окончательно не свергнем со своей спины ненавистную власть...

Матрос замолчал и стал вытирать платочком вспотевший лоб. Ветер играл красным шёлковым лоскутком, как маленьким знаменем.

Полная, глубокая тишина стояла над шаландами.

А с берега уже доносились тревожные свистки городских...

Тогда матрос скомандовал мальчикам:

— Вёсла-а-а.. на воду!.. Ать! Ать-ать! Ать!

И, хлопнув Терентия по спине, закричал:

Чёрное море, Плавает мой милый
Белый пароход. Уж четвёртый год.

— Ну, босяки! Что же вы не помогаете?

И Терентий и оба мальчика весело подхватили:

Ты не плачь, Маруся, Я к тебе вернусь,
Будешь ты моя. Возьму за себя!

Маёвка кончилась.

Но к берегу пристали не скоро — часа два ещё крутились в море, выжидая удобного момента.

Сначала высадили Терентия возле Золотого Берега, а потом отвезли матроса на Ланжерон.

Прежде чем сойти на берег, матрос долго осматривался по сторонам. Наконец он махнул рукой: «Ничего. Авось-небось, как-нибудь...», подхватил под мышку свою щегольскую тросточку с мельхиоровой ручкой в виде лошадиной головы и выпрыгнул из шаланды.

— Спасибо, хлопчики! — пробормотал он поспешно. — До приятного свидания.

И с этими словами исчез в толпе гуляющих.

Петя вернулся домой к обеду, с пузырями на ладонях и красным, за один день обгоревшим лицом.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

Прошла неделя.

За это время Петя ни разу не побывал на море. Он был занят приготовлениями к отъезду в экономию. Приходилось то с папой, то с тётей отправляться в город за покупками.

Но однажды рано утром во дворе раздался знакомый свист. Мальчик подбежал к окну и увидел посредине двора Гаврика.

Через минуту Петя очутился внизу. У Гаврика был необыкновенно озабоченный вид. Его сероватое лицо, решительно поджатые губы и слишком блестящие глаза говорили о том, что произошло какое-то несчастье.

Сердце у Пети сжалось.

— Ну, — против воли понижая голос до шёпота, спросил он, — что?

Гаврик, насупившись, отвернулся.

— Ничего. Хочешь идти с нами на шаланде?

— Когда?

— А сейчас. Я, Мотья и ты. Под парусом.

Идти на шаланде под парусом!

Нечего и говорить, что Петя даже не сбегал домой за фуражкой. Через десять минут мальчики были уже на берегу.

Шаланда со вставленной мачтой и свёрнутым парусом, до половины выдвинутая в море, покачивалась на лёгкой волне.

Босая Мотья возилась на дне лодки, укладывая в ящик под кормой дубовый бочоночек с водой и буханку житного хлеба.

— Петька, берись! — сказал Гаврик, упираясь плечом в корму.

Мальчики навалились и, без особого труда столкнув шаланду, вскочили в неё уже на ходу.

— Поехали!

— Куда мы едем? — спросил Петя.

— Увидишь.

— А далеко?

— Узнаешь.

Некоторое время все молчали.

Вдруг Гаврик полез в карман и вытащил довольно большие часы чёрной воронёной стали. Он с важностью приложил их к уху, послушал, как они тикают, и затем не без труда отколупнул крышку мраморным ногтем со множеством белых пятнышек, как известно, приносящих человеку счастье.

Если бы Гаврик вытащил из кармана живую гадюку или горсть драгоценных камней, то и тогда Петя был бы удивлён меньше.

Собственные карманные часы! Это было почти то же самое, что собственный велосипед или собственное монтекристо. Даже, может быть, больше.

У Пети захватило дух. Он не верил своим глазам. Он был подавлен.

А Гаврик между тем принялся сосредоточенно отсчитывать указательным пальцем цифры, шепча себе под нос:

— Один час, два, три, чечире, пять... Девять и ещё трошки. Ничего. Поспеем.

— Покажи! — закричал Петя вне себя от изумления.

— Не лапай, не купишь.

— Это твои?

— Не.

И, притянув Петю за рукав, Гаврик таинственно шепнул ему:

— Казённые. С комитета. Понятно?

— Понятно, — прошептал Петя, хотя ему совершенно ничего не было понятно.

— Слухай здесь, — продолжал Гаврик, искоса поглядывая на Мотю. — Матроса нашего поймали. Чуешь? Он теперь сидит в тюрьме. Шестой день. Его после той самой маёвки прямо на Ланжероне схватили. Только у него, понятно, документ на другую фамилию. Пока ничего. Ну только если те драконы его откроют, то молись богу, ставь чёрный крест, сейчас же и повесят. Чуешь? А они его могут открыть каждую минуту. Снимут с него усы. Найдут какого-нибудь Иуду, сделают очную и откроют. Теперь чуешь, какое выходит некрасивое дело?

— Врёшь! — испуганно воскликнул Петя.

— Раз я тебе говорю, значит, знаю. Теперь слухай здесь опять. Пока он сидит там ещё не открытый, ему на воле подстраивают убежать. Комитет подстраивает. Сегодня как раз в десять с половиной ровным счётом он будет бежать с тюрьмы прямо на Большой Фонтан, а отсюда на нашей шаланде под парусом обратно в Румынию. Теперь чуешь, куда мы идём? На Большой Фонтан. Шаланду переправляем. А часы мне Терентий из комитета принёс, чтоб не было опоздания.

Гаврик снова достал часы и начал на них старательно смотреть.

— Без чуточки десять, Успеет в самый раз.

— Как же он убежит? — прошептал Петя. — Его же там сторожат тюремщики и часовые?

— Неважно. У него как раз в десять и с половиной прогулка. Выводят погулять на тюремный двор. Ему только надо перебежать через огороды, а на малофонтанской дороге его уже Терентий дожидается с извозчиком. — И ходу прямо к шаланде. Чуешь?

— Чую. А как же он перелезет через тюремную стену? Она же высокая. Во какая! До второго этажа. Пока он будет лезть, они его застрелят из винтовки.

Гаврик сморщился, как от оскомины.

— Та не! Ты слухай здесь. Зачем ему лезть через стенку? Стенку Терентий подорвёт.

— Как это подорвёт?

— Чудак! Говорю — подорвёт. Сделает в ней пролом. Ночью под неё один человек с комитета подложил танамида, а сегодня в десять и с половиной утра, аккуратно как начнётся у нашего матроса прогулка, Терентий с той стороны подпалит фитиль и — ходу к извозчику. И будем ждать. Танамид ка-ак бабахнет...

Петя строго посмотрел на Гаврика.

— Что бабахнет?

— Танамид.

— Как?

— Танамид, — не совсем уверенно повторил Гаврик, — который взрывает. А что?

— Не танамид, а динамит! — наставительно сказал Петя.

— Нехай динамит. Неважно, лишь бы стенку проломало.

Петя сейчас только вдруг понял как следует значение Гавриковых слов. Он почувствовал, что его спина покрывается «гусиной кожей».

Тёмными большими глазами он посмотрел на друга.

— Дай честное благородное слово, что правда.

— Честное благородное.

— Перекрестись.

— Святой истинный крест на церкву.

Гаврик истово и быстро перекрестился на монастырские купола Большого Фонтана. Но Петя верил ему и без этого. Креститься заставил больше для порядка. Петя всей своей душой чувствовал, что это правда.

Гаврик опустил парус. Шаланда стукнулась о маленькие лодочные мостки. Берег был пуст и дик...

— Я останусь в шаланде, — сказал Гаврик, — а ты и Мотька бежите наверх и стойте в переулочке. Будете их встречать. Как только они подъедут, замахайте платочком, чтоб я подымал парус. Соображаешь, Петька?

— Соображаю... А если их часовой подстрелит?

— Промахнётся, — с уверенностью сказал Гаврик и сурово усмехнулся. — Часовой как раз с Дофиновки, знакомый. Бежи, Петька. Как только их заметишь, так сразу начинай махать. Сможешь?

— Спрашиваешь!

Петя и Мотя вылезли из шаланды и побежали наверх...

— Мотька, слушай здесь, — сказал Петя, осмотревшись по сторонам. — Я влезу на шелковицу — оттуда дальше видно, — а ты ходи по переулочку и тоже хорошенько смотри. Кто раньше заметит.

По правде сказать, на шелковицу можно было и не лазить, так как снизу тоже всё было прекрасно видно. Но Петя уже почувствовал себя начальником. Ему хотелось совершать поступки и командовать...

— Слушай здесь. Как только их увидишь, сейчас же кричи мне. А как только я увижу — буду кричать тебе. Хочешь?

— Хочу, — тоненьким голоском сказала девочка.

— Ну, ступай...

Сначала мальчику очень нравилась эта игра.

Необыкновенно приятно было сидеть высоко на дереве, с напряжением вглядываясь в конец переулка — не покажется ли мчащийся извозчик.

О, как ясно представлял он себе взмыленную лошадь и кучера, размахивающего над головой свистящим кнутом! Экипаж подлетает! Из него выскакивают с револьверами в руках Терентий и матрос. За ними бегут тюремщики. Терентий и матрос отстреливаются. Тюремщики один за другим падают убитые. Петя изо всех сил машет платком, кричит, ловко прыгает с дерева и мчится, обгоняя всех, к лодке — помогать ставить парус. А Мотька только сейчас догадалась, что это приехали они. Ничего не поделаешь — девчонка.

...Но время шло, а никого не было. Становилось скучновато.

Мальчик уже давно успел рассмотреть во всех подробностях соседнюю дачу: ярко-зелёные газоны, гравий на дорожках, туи¹, статую, испещрённую лиловыми кляксами тени, вазу, из которой ниспадали длинные острые листья алоэ, и художника, пишущего пейзаж.

Художник, с закрученными усиками и эспаньолкой², в бархатном берете, сидел под зонтиком на складном полотняном стульчике и, откинувшись, ударял длинной кистью по холсту на мольберте³.

Ударит и полюбуется, ударит и полюбуется.

...А между тем уже давно подъехал пыльный извозчик, и по переулку медленно шли два человека. Впереди них бежала Мотя, крича:

— У меня уже приехали! Махайте, махайте!

Петя чуть не свалился с дерева. Он вырвал из кармана платок и стал отчаянно крутить над головой.

¹ Ту́я — вечнозелёное хвойное дерево.

² Эспаньо́лка — короткая остроконечная борода.

³ Мо́льбе́рт — подставка для подрамника с холстом, на котором художник пишет картину.

Шаланда закачалась сильнее, и Петя увидел, что Гаврик прыгает и машет руками.

Под шелковицей, на которой сидел Петя, прошли Терентий и матрос. По их пламенно-красным лицам струился пот. Мальчик слышал их тяжёлое дыхание.

Матрос шёл без шапки, сильно хромая. Его щегольские кремовые брюки — те самые, в которых Петя видел его в последний раз, на маёвке, — были порваны и выпачканы кирпичным порошком.

Грязная полуоторванная манишка¹ обнажала выпуклую, блестящую от пота грудь.

Сжатые кулаки были как бы опутаны голубыми верёвками жил. Усики висели. На обросшем лице сильно выдавались скулы. Глаза сухо искрились. Горло двигалось.

— Здравствуйте, дядя! — крикнул Петя.

Терентий и матрос посмотрели на мальчика и усмехнулись. Пете показалось даже, что матрос подмигнул ему. Но они уже бежали вниз, оставляя за собой облако пыли.

— А я первая увидела, ага! — сказала Мотя.

Петя слез с дерева, делая вид, что не слышит.

Мальчик и девочка стояли рядом, глядя вниз на шаланду, подымавшую парус.

Они видели, как маленькая фигурка матроса прыгнула в лодку. Парус надулся. Его стало относить от берега, как лепесток. Теперь на опустевших мостках стояли только Терентий и Гаврик. Через минуту Терентий исчез.

Остался один Гаврик. Он махнул Пете и Моте рукой и стал не торопясь подниматься по обрыву.

Шаланда, подпрыгивая и разбивая волну, быстро уходила в открытое море, ярко синевшее крепкой зыбью.

— Поехал один, — сказал Петя.

— Ничего. Мы ему хлеба положили. Целую буханку. И восемь таранек.

Скоро к Пете и Моте присоединился и Гаврик.

— Слава богу, отправили, — сказал он, перекрестившись. — А то прямо наказание.

— А как же шаланда? — спросил Петя. — Так теперь и пропала?

— Шаланда пропала, — сумрачно сказал Гаврик, почесав макушку.

— Как же вы будете без шаланды?

— Не дрейфь. Не пропадём как-нибудь.

Торопиться было некуда.

Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника.

Теперь почти уже весь пейзаж был готов. Затаив дыхание,

¹ Манишка — белый нагрудник, пришитый или пристёгиваемый к мужской сорочке.

они засмóтрелись, очарованные чудесным возникновением на маленьком холсте целого мира, совсем другого, чем на самом деле, и вместе с тем как две капли воды похожего на настоящий.

— Море есть, а шаланды нету,— шепнула Мотя, как бы нечаянно положив руку на Петино плечо, и тихонько хихикнула.

Но вот художник набрал тонкой кистью каплю белил и в самой середине картины на лаковой синеве только что написанного моря поставил маленькую выпуклую запятую.

— Парус! — восхищённо вздохнула Мотя.

Теперь нарисованное море невозможно было отличить от настоящего. Всё — как там. Даже парус.

И дети, тихонько толкая друг друга локтями, долго смотрели то на картину, то на настоящее, очень широко открытое море, в туманной голубизне которого таял маленький парус дедушкиной шаланды, лёгкий и воздушный, как чайка.

...Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч солнца золотой.

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Вопросы и задания.

1. О каких событиях рассказывает повесть В. Катаева «Белеет парус одинокий»? Какие вы знаете ещё произведения о борьбе революционеров в царской России?
2. Перечитайте страницу, где рассказывается о броненосце «Потёмкин». Сравните описание восставшего и пленённого корабля. Как встречали мятежный броненосец и как переживали его поражение батраки с ферм?
3. Расскажите историю Родиона Жукова до его встречи с одесскими подпольщиками. Каким мы видим Родиона Жукова при каждом его новом появлении на страницах повести (внешность, особенности поведения)? Чем объясняются происходящие в нём перемены? Какое участие принимал матрос в революционных событиях?
4. Как жилось Гаврику и дедушке? Подтвердите свои ответы примерами из повести. Обратите внимание на портреты героев, на описание их жилища. Как относились Гаврик и дедушка друг к другу? Как характеризует Гаврика разговор с сыщиком? Выразительно прочитайте эту сцену в лицах. Почему Гаврик пользовался доверием рабочего комитета и какие задания выполнял по его поручению? В каких эпизодах, по-вашему, ярче всего проявился характер Гаврика?
5. Расскажите о Пете, о его занятиях и увлечениях. Через какие испытания прошёл Петя вместе с Гавриком? Под влиянием каких людей и событий он понял, что «жизнь — вовсе не такая беззаботная вещь, какой казалась ещё совсем недавно»?
6. Как вы думаете, почему дружили Гаврик и Петя, такие разные по характеру мальчики? Почему Петя рассказал Гаврику о матросе, а Гаврик не раскрыл другу свою тайну? Чему научила Петю дружба с Гавриком? Какую помощь они оказали революционерам?

7. Кто в повести вызывает у вас чувства ненависти и гнева? Проследите, как ведёт себя сыщик на пароходе, при первой встрече с Гавриком, во время облавы. Что вы можете рассказать о мадам Стороженко? Найдите в повести описание внешности полицейского пристава, обратите внимание на его речь, на отношение к окружающим. Как относится автор к сыщику, полицейскому приставу, Стороженко? На основании чего мы можем судить об этом?
8. Дайте названия иллюстрациям к повести. О чём думают и что переживают изображённые на рисунках действующие лица?
9. Почему в начале и в конце повести звучат строки из стихотворения Лермонтова «Парус»?

О пейзаже в литературном произведении

Пейзаж в литературном произведении — это художественное описание природы.

Пейзаж помогает писателю рассказать о месте и времени изображаемых событий. Так, в произведении Катаева «Белеет парус одинокий» все события связаны с Чёрным морем, поэтому на страницах повести мы находим много морских пейзажей: море ночью и утром, море в тихую погоду и в шторм.

Вот как описывает Катаев штиль и бурю на море:

Между тем солнце ещё немножко поднялось над горизонтом. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах: длинной полосой на самом горизонте и десятком режущих глаза звёзд, попеременно вспыхивающих в зеркале волны, осторожно лежащей на песок...

На всём же ослепительном своём громадном пространстве море светилось такой нежной, такой грустной голубизной августовского штиля, что невозможно было не вспомнить:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...

...налетит буря, и оно грозно преобразается. Штормовой ветер гонит крупную зыбь. По грифельному небу летают с криками чайки. Вибаламученные волны волокут и швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина... Малахитовые доски прибоя, размашисто исписанные белыми зигзагами пены, с пушечным громом разбиваются о берег. Эхо звенит бронзой в оглушённом воздухе.

Писатель выразительно, красочно рисует и безмятежный покой моря, и могучую грозную силу бури; его яркие картины полны движения, звуков. Кажется, что мы видим море, слышим его.

Пейзаж в художественном произведении помогает читателям представить не только место и время событий, но и глубже понять переживания и думы героев. Вспомним картину осенней рощи в Кистенёвке, где Владимир Дубровский после похорон отца предаётся горьким раздумьям (см. стр. 54).

Вчитываясь в описание осенней картины, мы особенно остро чувствуем одиночество и безотрадность положения Владимира

Дубровского. В появлении у читателя таких чувств немалую роль сыграл пейзаж.

Иногда картина природы в произведении по настроению прямо противоположна переживаниям героя. В повести Катаева мы читаем:

...Внезапно мальчик ясно почувствовал своё одиночество. Роскошная августовская ночь висела над миром. Чёрное мерцающее небо осыпало бегущего мальчика звёздами. Звон сверчков подымался, струясь, до самого Млечного Пути.

Но какое дело было измученному и оскорблённому ребёнку до этой равнодушной красоты, не имевшей власти сделать его счастливым?

Таким образом, пейзаж в художественном произведении помогает читателю не только представить место и время действия, но и глубже понять и почувствовать душевное состояние героя.

Вопрос и задания.

1. Что вы можете рассказать о пейзаже в литературном произведении?
2. Найдите в главе «Море» (В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий») эпитеты и сравнения, которые помогают писателю нарисовать картины моря.
3. Рассмотрите внимательно картину И. Айвазовского «Девятый вал» (см. цветную вклейку IV). Расскажите, что изображено на ней, используя описание моря из повести В. П. Катаева.

Дмитрий Гулиа

Олень

Стоял он, красивый и рослый,
На круче у горной реки...
Рога — как трёхлетние сосны,
А ноги, как лóзы, тонки.

Такой не падёт на колени,
Со всех окружённый сторон;
Стоял изваяньем оленя
С глазами горящими он.

Под кручей туманы клубятся,
И пропасть лежит, как
в дыму...

Он сделал, что мог. И ему
Теперь — погибать или сдаться.

[illegible]

И люди, у бездны на грани,
В молчанье следили за ним,
Пока он не скрылся в тумане,
По-прежнему непобедим.

А мне захотелось сегодня
Поведать вам песню о том,
Что лучше погибнуть
свободным,
Чем жить, оставаясь рабом.

Перевод с абхазского М. Соболя.

Михаил Васильевич ИСАКОВСКИЙ (1900—1973)



Михаил Васильевич Исаковский — автор замечательных стихов и поэм, всенародно любимых песен, таких, как «Катюша», «Прощальная комсомольская» («Дан приказ: ему на запад...»), «В прифронтовом лесу», «Ой, туманы мои, растуманы...», «Летят перелётные птицы», и многих других.

Родился М. Исаковский в бедной крестьянской семье на Смоленщине. Поэт так вспоминает о своём детстве: «Встают перед глазами... хата с промёрзшими углами, с окнами, густо покрытыми инеем. Мать прядёт лён или ткёт холстину. Я сижу на печке, и мне очень скучно: хочется пойти на улицу, побегать, порезвиться. Но пойти я не могу — нет ни одежды, ни обуви...»

И если бы не помощь народных учителей, которые обратили внимание на одарённость Исаковского, вряд ли бы он смог получить образование,

События революции сразу вовлекли юношу в активную общественную деятельность. Он становится сельским учителем, вступает в Коммунистическую партию, редактирует газету, занимается литературным творчеством.

Большинство своих задушевных стихов и песен поэт посвятил людям советской деревни, их делам, думам, чувствам.

Дума о Ленине

Когда вырастешь, дочка, отдадут тебя замуж
В деревню большую, в деревню чужую.
Мужики там все злые — топорами секутся,
А по будням там дождь и по праздникам дождь.

(Из старой русской народной песни)

В Смоленской губернии, в хате холодной,
Зимою крестьянка меня родила.
И, как это в песне поётся народной,
Ни счастья, ни доли мне дать не могла.

Одна была доля — бесплодное поле,
Бесплодное поле да тощая рожь.
Одно было счастье — по будням ненастье,
По будням ненастье, а в праздники — дождь.

Голодный ли вовсе, не очень ли сытый,
Я всё-таки рос и годов с десяти
Постиг, что одна мне наука открыта —
Как лапти плести да скотину пасти.

И плёл бы я лапти... И, может быть, скоро
Уже обогнал бы отца своего...
Но был на земле человек, о котором
В ту пору я вовсе не знал ничего.

Под красное знамя бойцов собирая,
Все тяготы жизни познавший вполне,
Он видел меня из далёкого края,
Он видел и думал не раз обо мне.

Он думал о том о бесправном народе,
Кто поздно ложился и рано вставал,
Кто в тяжком труде изнывал на заводе,
Кто жалкую нивку слезой поливал;

Чьи в землю вросли захудалые хаты;
Чьи из году в год пустовали дворы;
О том, кто давно на своих супостатов
Точил топоры, но молчал до поры.

Он стал и надеждой и правдой России,
И славой её и счастливой судьбой.
Он вырастил, поднял могучие силы
И сам их повёл на решительный бой.

И мы, что родились в избе, при лучине,
И что умирали на грудах тряпья, —
От Ленина право на жизнь получили —
Все тысячи тысяч таких же, как я.

Он дал моей песне тот голос певучий,
Что вольно плывёт по стране по родной.
Он дал моей ниве тот колос живучий,
Который не вянет ни в стужу, ни в зной.

И где бы я ни был, в какие бы дали
Ни шёл я теперь по пути своему, —
И в дни торжества, и в минуты печали
Я сердцем своим обращаюсь к нему.

И в жизни другого мне счастья не надо,
Я счастья хотел и хочу одного:
Служить до последнего вздоха и взгляда
Живому великому делу его.

Вопросы.

- 1.** Почему в качестве эпиграфа М. Исаковский взял слова из народной песни? Как рассказывается в этой песне о судьбе крестьянки?
- 2.** Как поэт изображает жизнь народа до революции?
- 3.** Почему стихотворение, в котором поэт рассказывает о своей судьбе, называется «Дума о Ленине»?

Демьян БЕДНЫЙ (1883—1945)

Демьян Бедный — литературное имя советского поэта и баснописца Ефима Алексеевича Придворова.

Он родился в крестьянской семье, рано узнал горе и нужду.

Время тёмное, глухое...
И забитость, и нужда...
Ой ты, времечко лихое,
Мои юные года!
Перед кем лишь мне, парнишке,
Не случилось спину гнуть?
К честным людям, к умной книжке
Сам протапывал я путь...

Ещё до революции стихи Д. Бедного начали появляться в рабочей печати. Он был одним из основных сотрудников газеты «Правда». И уже тогда стихотворения и басни Демьяна Бедного привлекли внимание В. И. Ленина. Он высоко оценил силу произведений молодого поэта, их остроумие, простоту, доходчивость. В Ле-



нине поэт нашёл учителя, наставника, друга и отвечал ему горячей любовью и признательностью.

Во время революции, на фронтах гражданской войны частушки, басни, стихи, песни Демьяна Бедного без промаха разили врага, поднимали дух борцов за новую жизнь.

Известие о смерти Ильича потрясло поэта. Своё глубокое горе и горе всего народа он выразил в стихотворении «Снежинки».

Снежинки

Засыпала звериные тропинки
Вчерашняя разгульная метель,
И падают, и падают снежинки
На тихую, задумчивую ель.

Заковано тоскою ледяною
Безмолвие убогих деревень.
И снова он встаёт передо мною —
Смертельною тоской пронзённый день.

Казалось: земля с пути свернула.
Казалось: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно-суровая зима.

Забуду ли народный плач у Горок
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Шли лентою с пригорка до ложбинки,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега белый — гроб.

21 января 1925 г.

Вопросы.

1. Каким запечатлелся в памяти поэта день похорон вождя?
2. Что сближает стихотворение М. Исаковского «Дума о Ленине» со стихотворением Д. Бедного «Снежинки»?

Хута Берилава

Ленину

На камне гробовом от века
Две даты ставились всего:
Одна — рождение человека,
Другая дата — смерть его.

Одной-единственной датой
Венчает время жизнь твою, —
Год восемьсот семидесятый
Я прославляю и пою.

Грохочет горным водопадом
Десятилетий череда,
Но встать с твоим рождением рядом
Смерть не посмеет никогда.

Перевод с грузинского
А. Межирова

Незаряженная кассета

Человек шёл по весенней Москве, старательно обходя голубые лужи, насвистывал и весело думал: «До чего же хорошая вещь — это самое солнце! Сколько света — и совершенно бесплатно! и никаких тебе хлопот, никаких тебе вспышек магния! Нет, с сегодняшнего дня перехожу на иждивение солнца!»

На все блага, даруемые ранней московской весной, человек смотрел со своей, так сказать, колокольни: он был фотограф. И не просто фотограф, а «наш фотокорреспондент», как сообщали газеты под его снимками.

Нынешние фотокорреспонденты — щеголеватые молодые люди в светлых плащах, с красивыми кожаными футлярами через плечо — улыбнулись бы, наверное, при виде его странного одеяния из выцветшей лиловой портьеры, огромных валенок, подшитых красной резиной, а главное, его фотоаппарата, похожего на средней величины шарманку.

И все же он наверняка не согласился бы поменяться с ними: вот этой «шарманкой» он снимал самый первый советский Май, и первый субботник, и открытие первого дома отдыха, и первый танк, отбитый в бою у белых...

А сегодня газета поручила ему съёмки в Свердловском университете на собрании партработников, уезжающих в деревню.

В огромной аудитории Свердловки плавал синий махорочный дым. В оттаявшие стёкла лились широкие потоки света. На возвышении стоял стол, покрытый неровным куском кумача. На стене висела саженная карта бывшей Российской империи, исколотая цветными флажками.

Повестка дня этого собрания выглядела очень мирно: «О работе в деревне». Но люди, собравшиеся здесь, должны были в этот же день выехать в районы, охваченные кулацким восстанием, пробиваясь сквозь вокзальные пробки, железнодорожную неразбериху...

Фотограф повертелся тут и там, залез на подоконник и щёлкнул первый ряд («Слушают докладчика»).

Нацелил аппарат повыше и щёлкнул ещё раз («Общий вид зала»).

Он суетился несколько больше, чем полагалось бы «нашему фотокорреспонденту», но это объяснялось, конечно, его молодостью — вряд ли было ему двадцать лет.

Сделав два-три снимка, он стал выискивать удобную позицию, чтобы запечатлеть докладчика возле карты с указкой в руке. И вдруг где-то в передних рядах раздались несмелые хлопки, а потом аплодисменты грянули с оглушительной, всё возрастающей силой.

«Наш фотокорреспондент» растерялся: что-то такое он пропустил. Он увидел только, что все поднялись со своих мест. Пришлось изо всех сил тянуться на цыпочках да ещё удерживать в равновесии громоздкую «шарманку» с треножником. С тихим ожесточением, работая свободной рукою, он стал пробиваться вперёд...

Невысокий плотный человек в коричневом пиджаке торопливо прошёл в президиум.

Сердце у «нашего фотокорреспондента» подпрыгнуло в груди, рука сжала треножник. «Это же Ленин!» — чуть не вскрикнул он.

Ленин сидел в десяти шагах от него и глядел в разбушевавшийся зал.

«Бог ты мой, — смятенно думал фотограф. — Ведь это настоящий Ленин!.. Владимир Ильич... И какой кадр... Какое освещение!.. Какой случай!»

А случай был трудный, очень трудный.

Владимир Ильич не любил фотографироваться и разрешение на съёмку давал чрезвычайно редко. Многим пришлось столкнуться с этим обстоятельством и отступить.

Прошлой весной — это было известно «нашему фотокорреспонденту» — на первомайском субботнике в Кремле Ленин резко сказал людям, хотевшим его сфотографировать: «Что за комедия? Я сюда пришел работать, а не сниматься!»

Пришлось пойти на обман. Комиссар школы кремлёвских курсантов, работавший с Лениным в паре, задержался на полминутки, как бы желая отдохнуть, и Владимира Ильича осторожно и незаметно сфотографировали. Вот каким путём мир получил фотографию Ленина, работающего на кремлёвском субботнике.

— Слово предоставляется товарищу Ленину, — сказал председатель.

* * *

Спустя час Ленин вышел из аудитории. Его сопровождал высокий военный, председательствовавший на собрании, и члены президиума. Продолжая разговор, Владимир Ильич надел кепку. Взгляд его случайно упал на человека, стоявшего поодаль. Человек этот сделал несколько неуверенных, робких движений, желая загородить треножник с большим чёрным ящиком.

Владимир Ильич, сощурившись, поглядел на чёрный ящик и сказал с явным неудовольствием:

— Ага, поздравляю! И здесь сниматься! Нет уж, пожалуйста, увольте!

Вот и всё! Можно уходить!

Но «наш фотокорреспондент» не уходил. Неожиданно для всех он заговорил срывающимся простуженным баском:

— Товарищ Ленин!.. Ваши снимки нужны всей республике... Не мне лично!..

— Гм... вот как! — иронически заметил Владимир Ильич.

Но тут у «нашего фотокорреспондента» объявились защитники. Все стали просить Ленина сфотографироваться вместе с ними.

— Ну, если вместе... пожалуй! — неуверенно произнёс Ленин.

«Наш фотокорреспондент» засуетился. Расставляя штатив и пристраивая аппарат, он делал множество ненужных движений и всё время бормотал:

— Одну секундочку!.. Я сейчас!.. Одну секундочку!..

Составить группу оказалось нелегко. Каждый хотел сняться рядом с Лениным и незаметно оттирал своего соседа. Владимир Ильич терпеливо ждал.

Наконец всё было готово для съёмки. Набросив на себя чёрную материю, фотограф стал наводить объектив. «Одну секундочку! — доносилось его бормотание. — Сейчас поставлю кассету... и в одну секундочку сейчас сниму!»

Люди перед аппаратом сделали торжественно-неподвижные лица, только у Владимира Ильича пряталась в глазах смешливая искорка.

И вдруг все заметили, что с фотографом происходит что-то неладное. Он судорожно сдёрнул с себя покрывало, уронил на пол какую-то жестянку и схватился за голову. Люди смотрели на него с удивлением и тревогой. Ленин быстро подошёл к нему:

— Что с вами, товарищ? Вам плохо!?

— Плохо! — обморочным голосом ответил фотограф. — Я не успел перезарядить кассеты!.. У меня нет заряженных кассет!

Бессильно опустив руки, сгорбившись, стоял он возле своей «шарманки», и подбородок его с царапинами от неумелого бритья вздрагивал. Он знал, что нет ему прощения — ему, жалкому человеку, неудачнику, испортившему эту удивительную, эту неповторимую минуту.

— Ну что же, товарищи! — сказал высокий военный, надевая солдатскую фуражку с крупной алой звездой. — Как говорится, по не зависящим от редакции обстоятельствам вкралась досадная опечатка... Не будем задерживать Владимира Ильича!

Но Ленин, пристально смотревший на фотографа, как будто не заметил того, что произошло. Достав из жилетного кармана часы на ремешке, он быстро взглянул на них и спросил:

— А сколько вам нужно времени, чтобы зарядить кассету?

— Мне? Минут... десять, — заикаясь, ответил «наш корреспондент», и его изжелта-бледное лицо покрылось розовыми пятнами.

— Минут десять я ещё побеседую с товарищами! — спокойно произнёс Ленин.

Фотограф схватил пачку пустых кассет, коробку с пластинками и побежал, неловко вскидывая ноги в огромных валенках.

Он бежал, как лошадь, сорвавшаяся с привязи. Он бежал по длинному коридору, тыкался в двери аудиторий и бежал дальше. Ему нужна была тёмная комната, абсолютно тёмная комната, а солнце, на иждивение которого он перешёл с сегодняшнего дня, светило с потрясающей, ослепительной щедростью.

Выскочив на лестницу, он взметнулся вверх, хватая ртом горячий воздух. Но трепещущие солнечные зайчики настигали его повсюду.

Сердце бешено стучало в горле, когда он домчался до последнего этажа. И тут он увидел, что на лестничной площадке стоит большой деревянный ящик.

Не раздумывая ни секунды, «наш корреспондент» рванул крышку. Какие-то толстые шланги лежали там, похожие на свернувшихся удавов, душно запахло резиной.

Он спрыгнул в ящик, и при этом его ударило крышкой по голове, но он не почувствовал боли.

Согнувшись в три погибели (вот, оказывается, что означает это ходячее выражение!), он быстро распечатал коробку с пластинками, схватил кассету, но тут лицо его исказилось, и он поспешно сунул коробку за пазуху: тонкий прямой лучик сумел пролезть и сюда — нашёл какую-то дырочку.

Мимо проходила женщина с метёлкой, должно быть, уборщица. Вдруг она вскрикнула, выронила метёлку. Из ящика высунулся человек, чихнул и сипло сказал, облизывая губы:

— Товарищ, это я!.. Одну секундочку!.. Прошу вас... сядьте на крышку... здесь есть ещё щёлка, проходит свет!..

Женщина смотрела на него, округлив глаза.

— Товарищ, я вас умоляю, сядьте!

Женщина села на крышку, соображая, что это означает и не следует ли, опустив щеколду, сходить за комендантом.

В ящике слышалась какая-то возня, фыркание, потом сдавленный голос крикнул:

— Тётенька, откройте, я задыхаюсь!

Она встала.

Человек выскочил из ящика, как игрушка на пружине, покрытый пылью, сияющий.

— Абсолютный мрак! — крикнул он. — Спасибо, тётенка! И побежал вниз, перескакивая через три ступеньки.

* * *

Деревья протягивали к солнцу ещё не отогревшиеся голые коричневые лапы. На бульварах бесформенными кучами лежал снег, серый и ноздреватый, как губка. Ветер залихватски трепал отставшие от стен афиши. Водосточные трубы низвергали кусочки зеленоватого льда.

Человек шёл по весенней Москве. Иногда он останавливался, разводил руками и улыбался. Редкие прохожие смотрели на него с удивлением.

Дома было гораздо холоднее, чем на улице. В насквозь промёрзшей кухоньке с окном, забитым фанерой, пахло оттаивающей штукатуркой — единственный пока признак весны.

Он нашарил выключатель на стенке, и в темноте загорелась лампочка рубиново-красным огоньком. Здесь помещалась его лаборатория.

Фотокорреспонденты в светлых плащах, с красивыми кожаными футлярами через плечо опять, наверное, улыбнулись бы при виде такой лаборатории. Но уж теперь-то он никогда бы не поменялся с ними — ни за какие блага мира!

Он поставил на табурет ванночку с проявителем и долго дышал на него, стараясь согреть хоть немного. Руки у него дрожали, когда пластинка погружалась в жидкость. Присев на корточки перед табуретом, он осторожно покачивал ванночку. На поверхности её колебались рубиновые волны.

И вот на молочно-белой эмульсии стал проступать отчётливый чёрный рисунок. Фотокорреспондент увидел знакомый контур большого лба, бровь, изогнувшуюся над прищуренным глазом, и вдруг громко запел своим простуженным, хрипловатым баском...

Утром он долго выбирал среди отпечатанных снимков самые отчётливые, без пятнышек и царапин. Наконец отложены были два наилучших. Медленно, точно смакуя каждое движение, он вложил их в конверт и старательно заклеил его.

Теперь оставалось написать адрес.

Чиркая с трудом загоревшиеся спички, он подогрел заледеневшую чернильницу, обмакнул перо и вдруг задумался, не отрывая глаз от конверта. Потом, улыбаясь своим мыслям, вывел печатными буквами:

«Ленину!»

Вот и всё! Готов адрес!

Письмо с этим адресом можно опустить в любом месте земного шара — где-нибудь в Калькутте, или в Гренландии, или на острове Кипр, — и оно обязательно дойдёт до своего адресата.

Через некоторое время «нашему фотокорреспонденту» рассказали: известный художник, которому посчастливилось рисовать Ленина в его совнаркомовском кабинете, спросил однажды, не имеет ли Владимир Ильич фотографий. Ленин ответил, что своих изображений обычно не хранит, но вот, кажется, есть одно...

Он открыл ящик и протянул художнику аккуратно вскрытый конверт:

— Это меня снимал один молодой товарищ в Свердловском университете!

Говоря это, он улыбнулся. Вспомнил, должно быть, историю с незаряженной кассетой.

Михаил Михайлович ПРИШВИН (1873—1954)

Чувство природы моё есть не что
иное, как чувство Родины.

(М. Пришвин)



Мало кто столько исходил по земле с ружьём за плечами и записной книжкой в кармане, кто так хорошо понимал думы и мечты простого человека, так постиг существо русской природы, как Пришвин.

Пришвин обладал удивительной способностью открывать в привычных вещах то, чего многие не замечают. Писатель находил новое во всём, что его окружало. Каждый куст, каждая ёлочка, каждый листок доверчиво рассказывали ему свои тайны.

Писательница В. Инбер вспоминает о своих прогулках с Михаилом Михайловичем Пришвиным: «Я была свидетельницей того, как Пришвин записал высказывание большой синицы, сидевшей на сосне.

Синица коротко просвистела какую-то фразу и стукнула клювом по стволу: поставила точку. Пришвин записал. Но, перелетев на ель и смахнув с неё снежок, синица повторила сказанное уже по-другому: длинным разветвлённым предложением. Пришвин, закинув голову, прислушался, зачеркнул написанное и тоже записал по-другому, видимо, более подробно. Мы отправились дальше. Голубая синица, вся розовая от заката, смотрела нам вслед».

Но природа у писателя не существует отдельно от человека. «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же только о людях и думаю», — говорил он. Именно человек у Пришвина — хозяин всех великих благ природы. И чтобы быть достойным этого богатства, человек должен быть добрым, мудрым, щедрым.

В письме к пионерам М. М. Пришвин писал: «Мы — хозяйева нашей природы, и она для нас — кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Именно для нас она открывает и показывает эти сокровища. Мы любим и бережём нашу Родину, научимся же беречь нашу родную природу».

Чем пристальнее вчитываешься в строки книг Пришвина, тем ближе и дороже становятся его герои, мужественные искатели новых путей, зоркие следопыты, люди, обладающие доброй и смелой душой.

Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к людям и к той земле, на которой он жил и трудился.

Кладовая солнца

Сказка-быль

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была, как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у неё, ни тёмные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

/ После родителей всё их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безымённые овцы, куры, золотой петух Петя и поросёнок Хрен.

Вместе с этим богатством доставалась, однако, детишкам бедным и большая забота о своих живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие зазорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она своё любимое стадо и катилась обратно в избу.

Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

Митраша выучился у отца делать деревянную посуду, бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило¹, длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает² железными или деревянными обручами. При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынок деревянную посуду, но добрые люди просят, кому — шайку на умывальник, кому нужен под капли бочонок, кому — кадушечку солить огурцы или грибы или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже оплатят добром. Но кроме бондарства³, на нём лежит и всё мужское хозяйство, и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверное, что-то смекает.

Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу,

¹ Лади́ло — бондарный инструмент.

² Обде́рживает — обхватывает, связывает.

³ Бо́ндарство — ремесло бондаря (бо́ндарь — мастер по изготовлению бочек и кадушек).

тоже учить свою сестру Настю. Но сестрёнка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот ещё!

— Да что ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот ещё! — сердится брат. — Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот ещё!

Так, помучив строптивного брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснётся широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть огурцы, или свёклу мотыжить, или картошку полоть.

* * *

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт в болотах летом, а собирают её поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках ещё держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Ещё до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское дуствольное ружьё «тулку», манки¹ на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, отправляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе ещё нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович, — отвечал отец, — в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами, и по солнцу в лесу ты определить не сможешь, пойдёшь наугад, ошибёшься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдёшь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как её ни верти, всё на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырёк его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же, в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домо-тканой материи. На животике своём мальчик связал эти полосы

¹ Манки (манок) — свистки, издающие звуки, очень похожие на голоса птиц, которых приманивает охотник.

кушаком, и отцовская куртка села на нём как пальто, до самой земли. Ещё сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя. — Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас ещё больше будет.

И только хотел сказать Митраша своё «вот ещё», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, ещё когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь, — сказал Митраша сестре, — как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка¹ в лесу...

— Помню, — ответила Настя, — о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Ещё помню, говорил про страшное место Слепую елань².

— Вот там, возле елани, и есть палестинка, — сказал Митраша. — Отец говорил: идите на Высокую гриву и после того держите на север и, когда перевалите через Звонкую борину, держите всё прямо на север и увидите — там придёт вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На палестинке ещё никто не бывал.

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у неё от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок варёной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке³ и опрокинула в корзину весь чугунок.

«Может быть, ещё и заблудимся, — подумала она. — Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра всё стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу всё, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растёт сладкая клюква...

* * *

Лет двести тому назад ветер-сеятель принёс два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в

¹ Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу. Прим. автора.

² Елань — топкое место в болоте, всё равно что прорубь на льду. Прим. автора.

³ Загнетка — углубление в русской печи, куда сгребаются горячие угли.



одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь всё выше, толстая стволами, они впивались сухими

сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на всё Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услышав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежащему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными ёлочками и берёзками, осветили Звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали, как зажжённые свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвящённое восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились, как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине чёрного грудь его стала переливать из синего на зелёное. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными, жалкими ёлочками, он вдруг подпрыгнул на своём высоком мостике, показав своё белое, чистейшее бельё подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф! Ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежащего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользя по верхушкам ближайших, очень маленьких ёлочек, наконец-то заиграл на щеках у детей.

Неподвижные, как изваяния¹, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными ёлочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул, ёлка нажала на сосну, и сосна простонала. Ветер рванул ещё раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

¹ Изваяние — статуя.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа шла направо, другая, слабенькая, прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая на слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот ещё! — рассердился Митраша. — Люди шли, — значит, тропа. Нам надо на север. Идём, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде.

И её самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь. Золотая Курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри, — сказала она, — какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди, — решительно ответил упрямый «Мужичок в мешочке». — Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами, — сказала Настя, — и, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно, — резко повернул Митраша, — я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошёл туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец, быстро перебежав по мостику остальной путь до косача, со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных пёрышек и погнался и погнался далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла всё солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко трывнул. Сплетённые корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на всё Блудово болото зарычали, завывали, застонали.

* * *

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завывала.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из тёплого, належаного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стога, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребёнок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетённых навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, всё жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрёт.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы. — Восемьдесят?

— Мало, — отвечал он.

— Сто?

— Много.

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько же тебе лет?

— По правде, — отвечал старик, — я вам скажу, если вы впредь скажете мне, что есть правда, какая она, где живёт и как её найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас, — говорили мы, — и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю, — усмехался Антипыч.

— Ну, скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрёшь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки, — сказал он, — вы не маленькие, пора бы самим знать, а вы всё спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с чёрным ремешком по всей спине. У неё под глазами были чёрные полосы с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на неё, и собака сразу поняла человека: он звал её по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах всё ниже, ниже и, когда подползла так

к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами чёрных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить её, она как вдруг вскочит и лапами на плечи — и чмок его: и в нос, и в щёки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет, — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил её по голове и сказал:

— Ну, будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята, — сказал Антипыч, — вот Травка, собака гончая, с одного слова всё понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живёт. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я всё перешепчу.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через брёвнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону¹ поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придёт, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил её, кормил и берёг от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу, и тут иногда, услышав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивался волк Серый помещик...

...В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завyli деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, подняв голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

¹ На гону — в погоне, в быстром беге.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека, это — волк, злейший враг его, самой злобой своей обречённый на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить...

* * *

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и ещё больше скота. И уж, конечно, всем, кто идёт в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что всё Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не даёт родителям-растениям передавать все своё добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достаётся человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети, у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился всё моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперёд по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твёрдое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала, как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетённых между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые ёлочки. Кислая болотная почва не даёт им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Ёлочки-старушки не как деревья в бору все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждёт тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвёртая, стоя, вяжет чулок, и так все: что ни ёлочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился всё тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая всё далеко вокруг, он всё шёл и шёл вперёд. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шёл впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки-ёлки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьём, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждёшь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мёртвыми головами на шестах.

Чёрный ворон, стерегущий гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьём близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это значило у неё:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами наострила ушки на крик ворона.

Митраша всё это слышал, но ничуть не трусил: что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шёл такой же человек, как и он, значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И услышав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, чёрный ворон,
Над моею головой!

Пение подбодрило его ещё больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из моха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону аллейкой выростала высокая сладкая трава белоус. По этой, не жёлтого цвета, как всюду было теперь ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто заворачивает влево и туда идёт далеко и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.



- Чьи вы? — закричал в это время чибис.
 - Жив, жив! — ответил кулик.
 - Дрон-тон! — ещё уверенней крикнул ворон.
- И кругом в ёлочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко по той стороне поляны змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая

по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повёртывать налево, на кочки, если тропа вон, рукой подать, виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошёл вперёд, пересекая чистую полянку.

* * *

— Эх, вы! — бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болото, придём домой грязные, мокрые. — Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же?

— Ходили бы, — отвечал он, — голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и всё становится понятным; обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего ещё вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не зная броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не зная броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду её было невозможно узнать.

Митраша по елани шёл вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать всё глубже и глубже, и становилось всё труднее и труднее вытаскивать её обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу, и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колен. Он ещё мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружьё на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу, — сказал он.

И рванулся.

Но было уже поздно. Сгоряча, как раненый, — пропадать так уж пропадать, — на авось, рванулся ещё, и ещё, и ещё. И почувствовал себя плотно схваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было, при малейшем движении его тянуло вниз. Он мог сделать только одно: поло-

жить плашмя ружьё на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружьё, положил его перед собой, опёрся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принёс ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил. Но ветер был с той стороны, где Настя, и унес его крик в ту сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только ёлочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с ёлочки на ёлочку с обычным их тревожным стрекотаньем, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках ёлок, тонкие, косатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде: «Дри-ти-ти!», другие: «Дра-та-та!»

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков ёлок на землю и с разных сторон начали прыжками своё сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слёзы.

* * *

Кто никогда не видал, как растёт клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идёт. Вот взять ягоду чернику, — та растёт, и её видишь: стебелёчек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зелёные маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, чёрные ягодки с синим пушком. Так же брусника, кровяно-красная ягода, листики тёмно-зелёные, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место кажется кровью полито. Ещё растёт в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдёшь, не заметив. В глухих местах, где живёт огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зелёной оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много её соберётся на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать, и тянешь вместе с одной ягодинкой зелёную ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод...

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, для каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за

горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, всё чаще и чаще, а хочется всё больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться.

А вот теперь он ушёл один неизвестно куда, она и не помнит, что ведь хлеб-то у неё, что любимый брат там где-то, в тёмном болоте, голодный идёт. Да она и о себе самой забыла и помнит только о клюкве, и ей хочется всё больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у неё при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, — куда клюква ведёт, туда и она, — Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями, — там тоже тропы не было. Тут-то бы к случаю и вспомнить ей про компас, как о нём говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого вспомнить, что он голодный идёт, и, вспомнив, перекликнуться с ним.

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достаётся хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своём, по какой тропке идти, дети одного не знали: что больша́я тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу¹ Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплосай он, не упустит из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу. Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета!

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой² частый осинник, и в нём стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое в частом сером

¹ *Суходол* — долина без воды или низина, не заливаемая водой.

² *Куртинка* — здесь: островок.

осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлёпнулись к дереву и на нежной осинке остаётся узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берётся жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползающую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползёт она и ползёт к большому чёрному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось её и за человека не считает: у неё все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой чёрный пенёк собирает в себе лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинается вечереть, воздух и всё кругом охлаждается. Но пенёк, чёрный и большой, ещё сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие чёрные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела чёрный тёплый пенёк и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону.

Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, громадная, в полметра длиной, вползла на пенёк и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже вползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дёрнула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела...

Тогда-то, наконец, Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперёд длинные длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумлённо смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком, в тёплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на неё большая рыжая собака с чёрными ремешками на спине. Собака эта была Травка, и Настя даже вспомнила её: Антипыч не раз приходил с ней в село.

Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб. Сколько же времени прошло,



сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нём, как она сама забыла себя и всё вокруг?

Она опять поглядела на пенёк, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унёс крик в другую сторону.

* * *

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был ещё не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был ещё не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоквал косач-токовик. И журавли прокричали три раза не как утром: «Победа!», а вроде как бы: «Спите. Но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!»

День кончился не порывом ветра, а последним лёгким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало всё слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула её солёную от слёз щёку.

Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила её прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завывала...

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей-скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнётся.

А Травка в это время сама слышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв! Тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тьякала лисица по зайцу... И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тьякает она, только чтобы он бежал и морился, и когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лёжке.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню...

И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей... А Серый наконец-то услышал долгожданный лай собаки, понёсся на махах в направлении Слепой елани.

* * *

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человека и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человека в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были, как два человека: один — Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а остановится и узнает, её это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещённого последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мёртвые, но вдруг в них загорелся огонёк, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч», — подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно.

Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается, и частые звёздочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы её между тем понемногу тоже засасывало.

Если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосёт, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое было слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова травить, и наша

Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась ещё Затравка. И когда загорелся огонёк в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаясь кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч. — Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал её и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже тайлся и хитрый план своего спасения. Если бы он мог пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для неё понятным и должен был обманывать её ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принуждён был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он её сладким голосом.

А сам думал: «Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, ещё, ещё!..

И вот понемногу она поползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружьё, наклониться немного вперёд, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчёте движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот ещё бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчёте своём маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперёд и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из

руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил её другой рукой за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лёг животом на ружьё, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружьё всё вперёд и вперёд, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отёр последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания — перед нею стоял прежний прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал нам перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не заста-нем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу собаке какую-то свою большую челове-ческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековой суровой борьбы людей за любовь.

* * *

Нам теперь остаётся уже немного досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, ещё не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой прерванный гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело её — гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это всё её счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом. Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что всё спасение его будет в этом зайце, что если он убьёт зайца, то огонь добудет выстрелом и, как не раз бывало при отце, испечёт зайца в горячей золе.

Осмотрев ружьё, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Ещё хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услышав возобновлённый гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились... Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело своё продолжала. Самое главное, самое счастливое было не заяц, не волк, а что Настя, услышав близкий выстрел, закричала. Митраша узнал её голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и, скорее всего, заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они ещё только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны, — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжёлой корзинкой, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили — неслыханный сбор клюквы был налицо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого, хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с верёвкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мёртвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели, — на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили: «Мужичок в мешочке»!..

И тогда, незаметно для всех, прежний «Мужичок в мешочке», правда, стал переменяться и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный! И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто её в жадности, как мы, не упрекал; напротив, все одобряли и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие к девочке, узнали от неё, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остаётся теперь сказать ещё несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Ещё с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нём горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для ра-

боты большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: всё это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

Вопросы и задания.

1. Почему «Кладовая солнца» называется сказкой-былью? Что в ней «сказка» и что «быль»?
2. Чем похожи и чем отличаются друг от друга Настя и Митраша? Найдите в первой главе эпитеты и сравнения, которые помогают нам понять отношение автора к детям.
3. Из-за чего поссорились брат и сестра? Какое участие принимает природа в судьбе героев? Какие силы природы в «Кладовой солнца» вы считаете добрыми, какие — злыми?
4. Почему Митраша попал в беду?
5. Почему в эпизоде сбора клюквы Пришвин называет Настю «прежняя Золотая Курочка»?
6. Как Митраше удалось спастись?
7. Расскажите историю Травки. Почему Травка пришла на помощь Митраше?
8. Как встретились дети и чем закончились их приключения?
9. Расскажите, какие эпизоды изображены на иллюстрациях к произведению. Используйте в своём рассказе описания природы из сказки-были.
10. Что изобразили бы вы на иллюстрациях «Ель и сосна на Блудовом болоте», «У Лежачего камня» и «Клюквенная палестинка» (по выбору)?
11. Какой смысл вкладывает писатель в заглавие «Кладовая солнца»?

Об олицетворении

О двух деревьях — ели и сосне — Пришвин рассказывает так: «Ветер-сеятель принёс два семечка... Оба семечка легли в одну ямку... С тех пор ель и сосна вместе растут... их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет... Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья... стояли и выли на всё Блудово болото».

Почему, читая эти строки, мы так отчётливо видим борьбу искалеченных деревьев, почему сочувствуем им?

Да потому, что писатель рассказывает о ели, о сосне, о ветре как о живых существах.

Деревья стараются обогнать друг друга, борются между собой, стонут и воют. Злой ветер, устроив деревьям несчастную жизнь, прилетает их мучить.

Такое изображение, когда неодушевлённые предметы наделяются признаками живого существа, называется олицетворением.

Пришвин часто обращается в своей сказке-были к олицетворениям: явления природы в этом произведении становятся как бы действующими лицами, которые принимают прямое участие в жизни людей: «...ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился»; «Очень волновались старушки-ели, пропуская между собой мальчика».

Олицетворения в художественных произведениях встречаются часто. Вы читали стихи Некрасова:

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои...

Олицетворения помогают писателю создавать яркие, живые и выразительные картины.

Мы употребляем олицетворения и в разговорной речи, иногда сами того не замечая: погода разгулялась, ветер воет, солнце выглянуло из-за туч.

Задание. Найдите олицетворения в следующих стихах:

1. Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет,
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.

(А. Пушкин.)

2. Скинуло кафтан зелёный лето,
Отсвистели жаворонки всласть!
Осень, в шубу жёлтую одета,
По лесам с метёлкою прошла...

(Д. Кедрин.)

3. Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром...

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

(С. Есенин.)

4. Солнце раз ещё взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

(Ф. Тютчев.)

5. Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул...

(А. Фет.)

ВЕТЕР

6. Осторожно ветер Поиграл немного
Из калитки вышел, Ветками черёмух,
Постучал в окошко, Пожурил за что-то
Пробежал по крыше; Воробьёв знакомых.

И, расправив бодро
Молодые крылья,
Полетел куда-то
Вперегонку с пылью.

(М. Исаковский.)

Н. А. Заболоцкий

Журавли

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вёл вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.

Но, когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Чёрное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину...

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.

Лев Абрамович КАССИЛЬ

(1905—1970)

У нас в стране нет ни одного школьника, который не знал бы и не любил произведений Л. А. Кассиля.

Его книги рассказывают о славной истории нашей страны: о революции и первых годах Советской власти, о довоенном строительстве, о суровых и героических днях Великой Отечественной войны.

Герои «Кондуита и Швамбрании», «Раннего восхода», «Черемыша, брата героя», «Дорогих моих мальчишек», «Улицы младшего сына» сразу нашли дорогу к сердцам юных читателей и стали их верными спутниками и надёжными товарищами.

Л. А. Кассиль всегда был тесно связан с детьми. «Мне интересно с ребятами, я с ними веселее и моложе», — говорил он.

Знания писателя были так обширны и разнообразны, что



он мог ответить на любые вопросы, волновавшие его читателей: о географических открытиях, астрономии, искусстве, математике, спорте.

Умные, добрые книги Л. А. Кассиля учат дружить, вызывают горячее стремление во всём и всегда быть честным, прямым и отважным, отдавать все свои силы великой Родине.

Рассказ об отсутствующем

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награждённых, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожка на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шёл к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награждённому руку, поздравил и протянул орденскую коробку.

Награждённый, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, чётко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился:

— Разрешите обратиться?

— Пожалуйста.

— Товарищ командующий... И вот вы, товарищи,—заговорил прерывающимся голосом награждённый, и все почувствовали, что человек очень взволнован,—дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен был стоять здесь рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.

Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблёскивал золотой ободок ордена, и обвёл зал просительными глазами.

— Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.

— Говорите, — сказал командующий.

— Просим! — откликнулись в зале.

И тогда он рассказал.

— Вы, наверное, слышали, товарищи,—так начал он,—какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсеки от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из миномётов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочёсывают автоматами. Время истекло, по ча-

сам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться, а пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что нас тут горсточка всего-навсего осталась, и берёт нас своими клещами за горло. Вывод ясен — надо пробиваться окольным путём.

А где он, этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит:

— Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щёлка имеется. Если найдём — проскочим.

Я, значит, сразу вызвался.

— Дозвольте, — говорю, — мне попробовать, товарищ лейтенант.

Внимательно посмотрел он на меня. Тут уж не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни — кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился.

— Хорошо, — говорит, — товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?

Вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку.

— Ну, Коля, — говорит, — давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля... Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие...

— Ладно, — говорю, — Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале...

И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону — нет, не пробиться: густым огнём фашисты по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне буерака кустарник, и за ним дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю — над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка; пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан — видно, пострадал где-то... Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки... Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает... Взял я колючую былинку, да и поскрёб ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том ме-

сте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.

— Ты что тут? — говорю я.

— Я, — говорит, — корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке чёрная. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет... Только вы, дядя, не верьте... Это я всё вру... пробую так. Дядя, — говорит, — вы от наших отбились?

— А это кто такие ваши? — спрашиваю.

— Ясно, кто — Красная Армия... Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.

— А ну иди сюда, — говорю. — Расскажи, что тут в твоей местности делается.

Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперёд, съехал мальчонка лет тринадцати.

— Дядя, — зашептал он, — вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь, сбоку, миномёты ихние установлены. Тут через дорогу никакого хода нет.

— И откуда, — говорю, — ты всё это знаешь?

— Как, — говорит, — откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?

— Для чего же наблюдаешь?

— Пригодится в жизни, мало ль что...

Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идёт по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завывало и раздавался такой треск, словно большую половину разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где-то, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподнимает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта.

— Вот это так дало! — говорит. — Попало нам с вами, дядя, как богатым... Ой, дядя, — говорит, — погодите! Да вы ж раненый!

Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу — из разорванного сапога кровь плывёт. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет мне:

— Дядя, сюда немцы идут! Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда... Эх ты, как вас сильно...

Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад.

— Эх, дядя, дядя! — говорит мой дружок и сам чуть не пла-



чет. — Ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слышать, не видеть... А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь после...

Побледнел он так, что веснушек ещё больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» — соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами — на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу... Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!.. Стоять! Не ходить дальше!»

Заскрипели над моей головой тяжёлые сапоги: я расслышал, как немец спросил:

— Ты что такое тут делал?

— Я, дяденька, корову ищу, — донёсся до меня голос моего дружка. — Хорошая такая корова, сама белая, а на боку чёрное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?

— Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко! Ты что такое лазил тут уже очень долго? Я тебя видел, как ты лазил.

— Дяденька, я корову ищу, — стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка.

И внезапно по дороге чётко застучали его лёгкие босые пятки.

— Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! — закричал немец.

Над моей головой забухали тяжёлые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня.

Я прислушался, задыхаясь.

Снова ударил выстрел. И услышал я далёкий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо... Я, как припадный, бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.

Опираясь на локти, цепляясь за ветки, пополз я... После уже ничего не помню.

Помню только — когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея...

Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу.

Он остановился, передохнул и медленно обвёл глазами весь зал.

— Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть выволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло... И есть у меня ещё одна просьба к вам... Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного — героя безымянного... Вот даже и как звать его спросить не успел...

И в большом зале тихо поднялись лётчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы — люди славных боёв, герои жестоких битв, — поднялись, чтобы почтить память маленького, никому не ведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге...

Вопросы.

1. Почему произведение Л. Кассиля называется «Рассказ об отсутствующем»?
2. При каких обстоятельствах Николай Задохтин встретился с маленьким разведчиком? Как удалось солдату-разведчику выполнить опасное задание?
3. Что вы узнали о мальчике из рассказа солдата? Каким человеком был сам Николай Задохтин?
4. Какие книги о детях — героях Великой Отечественной войны вы читали? Какая из них вам особенно запомнилась? Почему?

Максим Танк



Партизанские окопы
Заросли травой,
Можжевельником пахучим,
Ёлкой молодой.

Матери сюда приходят,
Слёзы их росой
Долго тлеют на курганах
Раннею порой.

И несут сюда девчата
Розы, васильки,
Дорогих воспоминаний,
Дум своих венки.

А приходят партизаны
На места боёв,
Запевают они песню
Про друзей-бойцов.

Льётся песня по раздолью...
А дремучий бор,
Что вершинами уходит
В голубой простор,

Под ветрами, облаками
Долго вторит им
Неумолчным гулом сосен,
Шумом вековым.

Перевод с белорусского
А. Прокофьева

**Борис
Николаевич
ПОЛЕВОЙ**

Род. в 1908 г.

...В первый же мой приезд с фронта в Москву меня пригласил к себе редактор «Правды».

— Я и вам и всем военным корреспондентам советую: записывайте подробнейшим образом все выдающиеся события, свидетелями которых становитесь. Записывайте с именами, с адресом, с датой. ...Это ваш гражданский долг, ваша партийная обязанность.

В этой войне народ наш встал во весь рост. Мужество его превосходит всех героев древней, средней, новой истории. Не знала ещё земля такого героизма... Как важно, чтобы в сумятице этой нечеловечески трудной войны ничего не затерялось, чтобы не только мы, а дети, внуки наши знали, как советские люди защищали социализм... Записывайте, всё записывайте. Не сегодня, так завтра, не завтра, так потом всё это приобретёт огромную цену...



Это был один из добрых уроков, полученных мною в «Правде». С тех пор я завёл толстую тетрадку и стал записывать. Когда было время — вёл дневник, но чаще времени не было — я делал беглые записи для памяти, зарисовки сценок, разговоров, фиксировал выдающиеся случаи героизма, с какими сталкивала жизнь.

Из одной такой истрёпанной тетради однажды и шагнул в книжку герой «Повести о настоящем человеке».

(Из автобиографии)

Повесть о настоящем человеке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Звёзды ещё сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошёлся сильный, свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шёпотом перекликались между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тьяканье лисиц и первые, ещё неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжёлыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались.

Внимание его привлёк звук, слышавшийся сверху. Зверь вздрогнул, кожа на спине передёрнулась, задние ноги ещё больше поджались.

Однако звук был не страшный: будто несколько майских жуков, басовито гудя, кружили в листве зацветающей берёзы. И к гуденью их примешивался порой частый, короткий треск, похожий на вечерний скрип дергача на болоте.

А вот и сами эти жуки. Сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазури. Зверь распустил напряжённые мускулы, вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо. И вдруг ещё один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, понёсся прямо к поляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты, как что-то громадное, более страшное, чем

внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу.

Увязло в гуще зелёной хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолёта. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом. И в ней отчётливо слышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на полянку.

Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушёл, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донёсся с опушки.

Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре...

* * *

Лётчик Алексей Мересьев попал в двойные «клещи». Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолёта и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром... Такие случаи тогда бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика.

Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. «Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» — решил он.

Но вывернуться ему не удалось. Немцы преграждали ему путь пулемётными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться от диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного лётчика с искажёнными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унижительный животный страх.

Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолёт задрожал в смертельной лихорадке.

Подшибли! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Лётчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто

это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело.

Во что ранен мотор? Сколько может самолёт продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Всё это не подумал, а скорее ощутил Алексей. Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, к которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолёт на обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками.

Развязка наступила сразу. Мотор осёкся и замолчал. Самолёт, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понёсся вниз. Под самолётом переливался зелёно-серыми волнами необозримый, как море, лес... «И всё-таки не плен!» — успел подумать лётчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолёта.

Падая, самолёт задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметённый ветром у её подножия. Это спасло ему жизнь...

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Какие-то неопределённые человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всём его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределённых форм и задышало на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчётным ужасом, он сделал рывок — и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в лёгкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всём теле, а в ногах.

«Жив!» — мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Немцы! — тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить, защищаясь. — Плен, значит, всё-таки плен!.. Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет его за мёртвого и уйдёт.

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошёл к Мересьеву, похрустел настом, наклонился. Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один и в этом была возможность спастись: если подсте-

речь его, внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо сделать расчётливо и точно.

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь.

Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями «чёртову кожу» комбинезона. Комбинезон не поддался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как всё существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щёлкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооружённую руку.

Зверь ещё сильнее рванул комбинезон. Крепкая материя затрещала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемяв через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок.

Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.

Вспорхнув, проворно улетела сорока. Иней посыпался с потревоженных ветвей. Зверь медленно выпустил жертву. Алексей упал в снег, не отрывая от противника глаз. Тот сидел на задних лапах, и в чёрных, заросших мелкой шерстью, гноящихся его глазках застыло недоумение. Густая кровь матовой струйкой пробивалась меж его клыков и падала на снег. Он зарычал хрипло и страшно, грузно поднялся на задние лапы и тут же замертво осел в снег, прежде чем Алексей успел выстрелить ещё раз.

Напряжение Алексея схлынуло. Он снова ощутил острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание...

Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. В тени снег казался даже не голубым, а синим.

«Жив, жив, жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, всё тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенёс смертельную опасность.

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла всё его тело. В голове стоял глухой, тяжёлый, шум, точно вращались в ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, щербатые

жернова. Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век пальцем. Всё окружающее то виднелось чётко и ярко, облитое холодными жёлтыми солнечными лучами, то исчезало, покрываясь серой, мерцающей искрами пеленой.

«Плохо... Должно быть, контузило при падении, и с ногами что-то случилось», — подумал Алексей.

Планшет с картой он потерял при падении. Но и без карты Алексей ясно представлял себе сегодняшний маршрут. Немецкий полевой аэродром, на который налетали штурмовики, лежал километрах в шестидесяти на запад от линии фронта. Связав немецкие истребители воздушным боем, его лётчикам удалось оттянуть их от аэродрома на восток примерно километров на двадцать, да и ему, после того как вырвался он из двойных «клещей», удалось, вероятно, ещё немного протянуть к востоку. Стало быть, упал он приблизительно километрах в тридцати пяти от линии фронта, далеко за спиной передовых немецких дивизий, где-то в районе огромного, так называемого Чёрного леса.

То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготевших обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень длинный, но тяжёлый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку. Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул унт обеими руками — и тут же потерял сознание. Очнувшись, он осторожно развернул байковую портянку. Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк. Она горела и ныла каждым своим суставом. Алексей поставил ногу на снег — боль стала слабее. Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт.

Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолёта по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны¹ и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест, идти, чего бы это ни стояло.

От боли и напряжения через несколько шагов начинало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись

¹ Плюсна — часть ступни между пяткой и пальцами.

спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах.

Так двигался он до вечера.

Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый крошечной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашёл в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью.

Наготове был пистолет со взведённым курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведённую им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далёкого воя волков — ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.

Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведённой в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чёртову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело била мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было ноги: они болели ещё острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого.

Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять — двенадцать километров, он дойдёт до своих за три, самое большее — за четыре дня.

Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять — двенадцать километров? Километр — это две тысячи шагов; стало быть, десять километров — двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот — шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать...

Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдёт километров десять.

Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить своё внимание на подсчёт, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чём другом, кроме жгучей, дёргающей боли. И всё же он прошёл эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему

лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от леденящего прикосновения.

Потом он вздрогнул, посмотрел на часы. Секундная стрелка отщёлкивала последние мгновенья пятой минуты. Он со страхом взглянул на неё, как будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; а когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу вскочил на ноги, застонал и двинулся дальше.

...Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.

Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашёл он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажёг. Жёлтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом.

Костёр трещал и шипел, распространяя сухой благотворный жар. Алексею стало уютно.

Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они ещё больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был ещё более тёмный, чем вчера.

Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова пошёл по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдалённый звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели всё громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей чувствовал, как сразу похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрёл по целине до густого елового подлеска и тут, зайдя в чащу, опустился на снег. С дороги его, конечно, трудно было заметить; ему же дорога была отчётливо видна, освещённая полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след. Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей ещё крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневики, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свёртывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневики не остановился. За броневиком шёл маленький открытый вездеход. Кто-то

в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофёром, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зелёных шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шёл ещё один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.

Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахло тёплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.

Дождавшись, пока всё стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчётливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь.

Лётчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповерженных врагов. Теперь он брёл по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живётся им здесь, неуютно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.

«Ничего, ничего, всё будет хорошо!» — подбадривал себя Алексей и всё шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят всё острее и что он сам заметно слабеет.

Его качало. Земля выскальзывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал ещё несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он оставался, цепenea и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на неё, попав подбородком в расщелину её раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься поудобнее, он опёрся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги — одну, другую, и они, не неся на себе тяжести тела, легко освободились из сугроба. И тут у Алексея опять мелькнула мысль.

Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперёд, упираться в рогатку подбородком, переносить на неё тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперёд. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не

так будешь уставать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнутся сугробы.

Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперёд, упёрся в неё подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова упёрся, снова шаг, два. И пошёл, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.

Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирает кинжалом, почками берёз и лип да ещё зелёным мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брусники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлёбывая пахнущий дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.

Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тавкают лисицы. У костра съёжился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.

— Ничего, ничего, всё будет хорошо! — говорит вдруг этот человек, и при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимся губами каким-то своим далёким мыслям.

* * *

Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими тёплыми, порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова.

Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он всё же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, по-

качиваясь и собираясь с силами, потом выбрасывал палку вперёд, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток.

Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа — его экипаж — в чёрных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожжённые, багровые, с чёрными, обугленными внутренностями, стояли впритык к броневiku на тёмном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг — на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах — валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зелёному его френчу с тёмным воротником приколота записка. «За чем пойдёшь, то и найдёшь», — написано было на ней. И ниже, другим почерком, чернильным карандашом было добавлено крупно выведенное слово — «собака».

Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптанный в снег, уже поклёванный, старый, заплесневелый сухарь и поднёс его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части: две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие.

Он обошёл ещё раз поле боя. Тут его осенила мысль: партизаны должны быть где-то здесь, поблизости! Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил и откуда-нибудь, с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал что есть мочи:

— Ого-го! Партизаны! Партизаны!

Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно дробно отражённым от древесных стволов, казалось громче.

— Партизаны! Партиза-ны-и-и! Эге-е-й! — звал Алексей, сидя на снегу среди чёрной машинной гари и молчаливых вражеских тел.

Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав своё дело, собрав трофеи, давно ушли, — да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? — но он всё кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чём не заботясь, никуда не стремясь.

Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг — или это, может быть, показалось от большого напряжения? — Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои глухие и частые, то отчётливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь востребовался, точно издали донёсся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею.

Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донёс отчётливо различимые теперь звуки канонады. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти, что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался, обороняясь. Радостные слёзы текли по щекам Алексея.

Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, всё будет хорошо», — Алексей смело ткнул палку в снег, опёрся на неё подбородком, перебросил на неё всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб.

В этот день ему не удалось сделать по снегу и полтора шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пенёк, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колёсико, чиркнул ещё раз — и похолодел: в зажигалке кончился бензин. Он тряс её, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колёсика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истёрся, а огня так и не удалось добыть.

Пришлось на ощупь поползти до молоденького густого соснячка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, охватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчётливей, ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов.

Проснувшись утром с ощущением безотчётной тревоги и горя, Алексей сразу подумал: «Что же случилось? Плохой сон?» Вспомнил: зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое: расцепив отёкшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю.

Держась за сосенку, Алексей ещё раз попытался встать. Это ему наконец удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к

деревцу, — тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной, новой, зудящей боли в ступнях.

Неужели всё? Неужели так и придётся погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданных зверьём костей? Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шёл бой, там были свои. Неужели он не найдёт в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь — десять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на четвереньки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчётно, загипнотизированный звуками далёкого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкапывает к горлу клубок. Точно не себя, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух:

— Ничего, уважаемый, теперь-то уж всё будет в порядке!

К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» руками. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического¹ обмана, звучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить «молнию» комбинезона и расстегнуться.

Когда он переползал моховое болотце с зелёными кочками, вытаявшими из-под снега, судьба приготовила ему ещё подарок: на седоватом сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть помятые, но все ещё сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, тёплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой.

За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересечённая старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям.

Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жильё! Сердце Алексея тревожно забилося. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь. А если и так, там всё же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему.

Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения, полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверно, должна быть видна спасительная деревня.

¹ Акустический — здесь: слуховой.

Вот наконец и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тут же опустил — таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним.

Несомненно, ещё недавно это было небольшой лесной деревенькой. Очертания её без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметёнными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метёлки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром.

И ни души, ни звука, ни дымка... Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек.

Алексей продолжал машинально двигаться вперёд. Крупные слёзы ползли по его небритым щекам и падали на снег.

В сердце его накипала тоска.

Не пускать, не пускать их дальше! Драться, драться с ними, пока есть силы. Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине, пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады.

Так полз он ещё день, два или три... Счёт времени он потерял, всё слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Порой не то дрёма, не то забытьё овладевали им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно ползти, пока не натёкся на дерево или куст или не оступалась рука и он падал лицом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться, двигаться вперёд во что бы то ни стало. Питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретила ему большая муравьиная куча. Она возвышалась в лесу, как ровный, очёсанный и омытый дождями стожок сена. Муравьи ещё не проснулись, и обиталище их казалось мёртвым. Но Алексей сунул руку в этот рыхлый стог, и, когда вынул её, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися ему в кожу. И он стал есть этих муравьёв, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту пряный и терпкий вкус муравьиной кислоты.

Острый вкус муравьиной кислоты подбодрил его. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился — и тотчас же отпрянул: из тёмного водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый тёмной кожей череп, обросший неопрятной, уже курчавившейся щетиной. Из тёмных впадин смотрели большие, круглые, дико блестящие глаза, свалившиеся волосы сосульками падали на лоб.

«Неужели это я?» — подумал Алексей и, страшась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь на восток, притягиваемый всё тем же могучим магнитом.

Ночевать он забрался в большую бомбовую воронку, окружённую жёлтым бруствером выброшенного взрывом песка. На дне её было тихо и уютно.

За эту ночь Алексей как-то особенно ослаб. Он даже не стал жевать сосновую кору, запас которой нёс за пазухой. С трудом оторвался он от земли, точно тело приклеилось к ней за ночь. Не стряхивая с комбинезона, с бороды и усов намёрзшего на них ледка, он стал карабкаться на стенку воронки. Но руки бессильно скользили по обледеневшему за ночь песку. Снова и снова пытался он вылезти, снова и снова соскальзывал на дно воронки. Раз от разу попытки его становились слабее. Наконец он с ужасом убедился, что без посторонней помощи ему не выбраться.

«Всё! Теперь всё равно!»

Вялым движением он достал из кармана гимнастёрки истёртые письма, но читать их не было силы. Вынул обёрнутую в целлофан фотографию девушки в пёстром платье, сидевшей в траве цветущего луга. Серьёзно и грустно улыбаясь, спросил он её:

— Неужели прощай? — и вдруг вздрогнул и застыл с фотографией в руке: где-то высоко над лесом в холодном, промозглом воздухе померещился ему знакомый звук.

Он сразу очнулся от тягучей дрёмы.

По особым, свистящим нотам он безошибочно угадал, что летит «ишачок», на каком летал и он.

Рокот мотора приближался, нарастал, переходя то в свист, то в стон, когда самолёт поворачивался в воздухе, и вот наконец высоко в сером небе появился крохотный, медленно движущийся крестик, то таявший, то снова выплывавший из серой дымки облаков. Вот видны уже красные звёзды на его крыльях, вот над самой головой Алексея, сверкнув на солнце плоскостями, он сделал мёртвую петлю и, повернув, стал уходить назад. Скоро рокот его стих, утонув в шуме обледенелого, нежно гремевшего под ветром ветками леса, но Алексею долго ещё казалось, что он слышит этот свистящий тонкий звук.

Он представил себя в кабине. За одно мгновение, в которое человек не успел бы даже выкурить папиросу, он был бы на родном лесном аэродроме. Кто же летел? Может быть, Андрей Дегтяренко вышел на утреннюю разведку? Он любит во время разведки забираться ввысь в тайной надежде встретить противника... Дегтяренко... Машина... ребята...

Ощувив в себе новый прилив энергии, Алексей оглядел обледеневшие стенки воронки. Ну да! Так не вылезешь. Но не лежать же на боку и ждать смерти! Он вытащил из ножен кинжал и вялыми, слабыми ударами принялся рубить ледяную корку, выгребать ногтями смёрзшийся песок, делать ступеньки. Он обломал ногти, окровавил пальцы, но орудовал ножом и ногтями всё упрямее. Потом, опираясь коленями и руками на эти ступеньки-ямки, он стал медленно подниматься.

С большим трудом он перевалился через песчаный бруствер, бессильно скатился с него. И пополз туда, куда ушёл самолёт и

откуда, разгоняя туман-снегояд и сверкая в хрустале гололедицы, поднималось над лесом солнце.

Но ползти было совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолеть её. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчасика. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперёд. И, преодолевая вяжущую усталость, он всё полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша, кроме звуков канонады и перестрелки.

Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лёг и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться с боку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба.

Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубок. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться.

Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями, брёвнами, уставленной штабелями дров.

Полный ощущения неопределённой опасности, Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела ещё повянуть и пожелтеть, медовая смола капала со срезов, пахло свежими щепками и сырой корой, валявшимися повсюду. Значит, лесосека жила. Может быть, немцы заготавливают здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти. Но тело точно окаменело, скованное чугунной болью, и нет сил двигаться.

Продолжать ползти? Но инстинкт, выработавшийся в нём за дни лесной жизни, настораживал его. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним.

Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого соснячка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий, взволнованный шёпот — человеческий шёпот.

Он выхватил из-за пазухи заржавевший, запылившийся пистолет и принуждён был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок щёлкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколь-



ко деревцев передёрнули вершинами, как будто за них задели, и вновь всё стихло.

«Что это — зверь, человек?» — подумал Алексей, и ему показалось, в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там — друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперёд на голос и тут же со стоном упал как подрубленный, уронив в снег пистолет...

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чём-то перешёптывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузабытья. Сознание работало чётко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы, пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то отчётливо вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одеревеневшей от ползанья. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона...

В это время из кустов раздался взволнованный детский голос: — Эй, ты кто? Дойч¹? Ферштеешь²?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский и, несомненно, ребёнок.

— Ты что тут делаешь? — спросил другой детский голос.

— А вы кто? — ответил Алексей и смолк, поражённый тем, как немошен и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвёл переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка.

— Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять вёрст по духу узнаю. Ты есть дойч?

— А вы кто?

— А тебе почто знать? Не ферштею...

— Я русский.

— Врёшь... лопни глаза, врёшь: фриц!

— Я русский, русский, я лётчик, меня немцы сбили.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами свои, русские, советские. Они не верят ему, что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевелить ни ногой, ни рукой, ни двигаться, ни защищаться. Слезы текли по чёрным впадинам его щёк.

— Гляди, плачет! — раздалось за кустами. — Эй ты, чего плачешь?

— Да русский, русский я, свой, лётчик...

— А с какого аэродрома?

— Да вы-то кто?

— А тебе что? Ты отвечай!

¹ Дойч — здесь употреблено в смысле «немец» (deutsch — немецкий)

² Ферштеешь — искажённое немецкое слово «понимаешь» (verstehen — понимать).

— С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого чёрта...

В кустах зашептались оживлённее. Теперь Алексей отчётливо слышал фразы:

— Ишь, говорит — с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, лётчик, брось наган-то! — крикнули ему. — Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, насторожённые, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причём старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за неё полными неукротимого любопытства глазами, шёл меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шёл и шептал:

— Плачет. И верно плачет. А тощей-то, тощей-то!

Старший, подойдя к Алексею, всё ещё держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет.

— Говоришь, лётчик? А документ есть? Покажь.

— Кто тут? Наши? Немцы? — шёпотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

— А я знаю? Мне не докладывают. Лес тут, — дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастёрку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации¹, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной Красной Армии лётчик.

— Свои, свои, третий день свои!

— Дяденька, ты почему такой тощей-то?

— ...Их тут наши так тряханули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был страсть! Набито их ужась, ну ужась сколько!

— А удирали кто на чём... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненых идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади, верхом, как фон-барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострекотав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за вёслами на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серёнькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея кара-

¹ Оккупация — захват чужой территории военной силой.

улить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитёр — и помирающим прикинется, и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ.

Немцы пришли в эти лесные и озёрные края ещё в октябре. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление, иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришёл. Впрочем, немцы в чёрном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили, что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души — ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, всё своё годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краях ночных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь — за восемнадцать вёрст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны. Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сёл в этом районе, названном немцами мёртвой зоной.

— Так в лесу и живёте? — еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от пут дрёмы.

— А как же, так и живём. А вон и дедя с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном верёвкой, и в высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дядя Михайла, как называли его ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудрёного сельского письма, с чистыми светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю состоявшую из пёстрых заплаток, без труда поднимая и перевёртывая его лёгкое тело, он всё приговаривал с наивным удивлением:

— Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошёл... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как новорождённого ребёнка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним верёвочной вожжей, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмости́л ему под голову. Потом вышел вперёд, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по верёвке мальчикам, сказал: «Ну, с богом!» — и втроём они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полозья, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

* * *

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечётко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

...Алексей помнит: лежит он в маленькой тёмной земляной норе; слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете её видны с нар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утверждённый на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечьи одетая женщина в чёрном платке, наклонившаяся к столу, — младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюжкой с чёрным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и ещё держит на нём руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

— Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то — лепёшки, испечённые на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый тёплый хлебный парок.

Приходят Серёнька с Федькой. С крестьянской степенностью Серёнька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам», — кладёт на стол два кусочка пилёного сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

— Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте, — говорит он и деловито обращается к деду. — Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа не больно обгорелые, топор без топорща. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну.

Только уже гораздо позже, обдумывая всё это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды — всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мёрли, — но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны ещё больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности, взамен убитого зятя, взял на себя дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зёрнышка всё, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведённых от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озёрах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

На третий день гостевания Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

— Обовшивел ты, Алёха, — беда: что жук навозный. А чёсаться тебе трудно. Вот что, баньку я тебе сооружу. Что? Баньку. Помою тебя, косточки попарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всём теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковбе¹ оконце, сделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребяташки и которые Варя мелко-мелко крошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул — в первый раз крепко, без снов.

¹ Волоковбе оконце — оконце в избе, в которое выходит дым, если у печки нет трубы.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

— Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать дён во рту просяного зёрнышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца — ему смерть!.. — Вдруг голос деда стал просительным: — Ему бы не лиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

— Не дам! Не дам и не дам, и не проси, чёрт ты старый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

— Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! — задребезжал тенорок старика. — У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

— Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси, сказано — не дам, и не дам!

Тёмный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослеплённый. Старик кинулся к нему:

— Ай ты не спал, Алёха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты её, Алёха, не суди; не суди, друг, слова-то её. Слова — они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алёша! Всю семью ихнюю — а семья была большущая, душ десять — немец перевёл. Полковником у неё старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, окромя Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство всё порушили. И-их, большая это беда — в её-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у неё одна курица, значит. Хитрая курица, Алёша. Ещё в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица — первое лакомство. Все — «курка, матка, курка!» Ну, а эта спаслась. Ну, просто артист, а не курица! Бывало, немец — во двор, а она — на чердак и сидит там, будто её нет. А свой войдёт — ничего, гуляет. Шут её знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за её вот эту самую Партизанкой мы её и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

— Не суди, Алёха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она как старая берёза в большом лесу, на неё ниоткель не

дуло, а теперь торчит, как трухлявый пенёк на вырубке, и одна ей утеша — эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой ещё силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудрёме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевёловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушёл, не сказав Алексею ни слова.

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытьи. Снова всё поплыло в сероватой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса — Варин и ещё другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шёпотом:

— Не ест?

— Где там ест!.. Так, пожевал вчера лепёшечки самую малость — стошнило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даём.

— А я вот, гляди супчику принесла... Может, примет душа супчик-то.

— Тётя Василиса! — вскрикнула Варя. — Неужто...

— Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрожь его, побуди — можа, поест.

И прежде чем Алексей, слышавший всё это в полузабытьи, успел открыть глаза, Варя затрясла его сильно, бесцеремонно, радостно:

— Алексей Петрович, Алексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суровое и сердитое выражение.

— Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдёт...

И вспомнились Алексею печальная история бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище Партизаночка, и всё — и бабка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок — расплылось в мути слёз, сквозь которую сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

— Спасибо, бабушка, — только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

— Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

— Бабушка, бабушка! — Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

— А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызенным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул — не впал в забытье, а именно заснул — крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто — ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариных рук, которая, опасаясь, не умер ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьётся ли у него сердце, — не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно неотличимый среди других шумов, наполнявших лес, далёкий, однообразный воркующий звук. Алексей встрепенулся и, весь напружинившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нём. Алексей угадал, что это тарахтит мотор «ушки» — самолёта «У-2». Звук то приближался и нарастал, то слышался глуше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолёт где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки. Он считал круги, совершаемые самолётом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокочущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

— Живый! Ах, мать честная! Живый, бис тоби в лопатку! Да где же ты был столько дней? Как же ты так?

Дегтяренко всё порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезённые сестрой армейские одеяла.

— А ты, друг, сиди, сиди, не наше это, мужское дело — пеленать! Ты слушай, да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи. Великого подвига человек этот! Вишь, он какой. Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то вот сил в себе насбирал, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный!

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным пар-



нем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползёт по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползёт, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия лётчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному...

— Когда вы его нашли?

— Когда? — старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил её и принялся делать сигарку. — Когда же? Да в чистую субботу, под самое прощёное воскресенье, стало быть, как раз с неделю назад.

Лётчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи — это казалось просто невероятным.

— Ну, спасибо тебе, дидусь! — лётчик крепко обнял и прижал к себе старика. — Спасибо, брат!

— Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Ишь, спасибо. Что я, чужак иностранный какой! Ага!

Провожать неожиданного своего гостя вышло всё наличное население деревни Плавни.

Когда носилки поднимали в самолёт и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крыш-

ку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своём сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятишек.

Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полёта заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолёта, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мир тяжелораненных обычно ограничен стенами их госпитальной палаты. Где-то за пределами этих стен идёт война, вершатся великие и малые события, бурлят страсти, и каждый день накладывает какой-то новый штришок на душу человека. В палату «тяжёлых» жизнь внешнего мира не впускают, и бури за стенами госпиталя доходят сюда только отдалёнными и глухими отголосками.

И то всегдашнее, что заполняло для «тяжёлого» томительно медленные госпитальные дни, что приковывало к себе его мысли, была его рана, вырвавшая его из рядов бойцов, из трудной боевой жизни и бросившая сюда, на эту вот мягкую и удобную, но сразу же опостылевшую койку. Он засыпал с мыслью об этой ране, опухоли или переломе, видел их во сне и, проснувшись, сейчас же лихорадочно старался узнать, убавилась ли опухоль, сошла ли краснота, повысилась или понизилась температура.

Мересьев тщательно скрывал свои переживания, делал вид, что его не интересуют разговоры врачей. Но всякий раз, когда ноги разбинтовывали для электризации и он видел, как медленно, но неуклонно ползёт вверх по подъёму предательская багровая краснота, глаза его расширялись от ужаса. Краснота перевалила уже подъём и расползалась по щиколоткам. Пальцы совершенно потеряли чувствительность, их кололи булавами, и булавы эти входили в тело, не вызывая боли. Распространение опухоли удалось приостановить каким-то новым способом, носившим странное название «блокада». Но боль росла. Она становилась совершенно нестерпимой. Днём Алексей тихо лежал, уткнувшись лицом в подушку. Ночью Клавдия Михайловна впрыскивала ему морфий¹.

Всё чаще и чаще в разговорах врачей звучало теперь страшное слово «ампутация». Василий Васильевич иногда останавливался у койки Мересьева, спрашивал:

— Ну как, ползун, мозжит? Может, отрезать, а? Чик — и к стороне.

¹ Морфий — болеутоляющее и снотворное лекарство.

Алексей весь холодел и сжимался. Стиснув зубы, чтобы не закричать, он только мотал головой, и профессор сердито бормотал:

— Ну, терпи, терпи — твоё дело. Попробуем ещё вот это. — И делал новое назначение.

Дверь за ним закрывалась, стихали в коридоре шаги обхода, а Мересьев лежал с закрытыми глазами и думал: «Ноги, ноги, ноги мои!..» Неужели остаться без ног, калекой на деревяшках, как старый перевозчик дядя Аркаша в родном его Камышине! Чтобы при купанье так же, как тот, отстёгивать и оставлять на берегу деревяшки, а самому на руках, по-обезьяньи лезть в воду...

Эти переживания усугублялись ещё одним обстоятельством. В первый же день в госпитале он прочёл письма из Камышина. Маленькие треугольнички матери наполовину состояли из родственных поклонов и успокоительных заверений в том, что дома всё слава богу и что он, Алёша, о ней может не беспокоиться, а наполовину — из просьб беречь себя, не студиться, не мочить ног, не лезть туда, где опасно, остерегаться коварства врага, о котором мать достаточно наслышана от соседок.

В синих конвертах, надписанных крупным и круглым ученическим почерком, были письма от девушки, с которой Алексей вместе учился в ФЗУ. Звали её Ольгой.

Писала она, что хлопот у неё полон рот, что теперь и ночевать домой она не ходит, чтобы не терять времени, а спит тут же, в конторе, что завода своего теперь Алексей, пожалуй, и не узнал бы и что поразился бы и сошёл бы с ума от радости, если бы догадался, что они сейчас производят. Между прочим писала, что в редкие выходные, которые случаются у неё не чаще раза в месяц, бывает она у его матери, что чувствует себя старушка неважно, так как от старших братьев — ни слуху, ни духу, что живётся матери туго, в последнее время она стала сильно прихварывать. Девушка просила почаще и побольше писать матери и не волновать её дурными вестями, так как он для неё теперь, может быть, единственная радость.

И вот теперь, когда в беседах врачей всё чаще и чаще звучало слово «ампутация», ему становилось страшно. Как он калекой приедет в Камышин? Как он покажет Оле свои культяпки? Какой страшный удар нанесёт он своей матери, растерявшей на фронтах всех сыновей и ожидающей домой его, последнего!

«Ампутация? Нет, только не это! Лучше смерть... Какое холодное, колючее слово! Ампутация! Да нет же, не быть тому!» — думал Алексей. Страшное слово даже снилось ему в виде какого-то стального, неопределённых форм паука, раздиравшего его острыми, коленчатыми ногами.

* * *

С неделю обитатели сорок второй палаты жили вчетвером. Но однажды пришла озабоченная Клавдия Михайловна с двумя санитарями и сообщила, что придётся потесниться, Койку Степа-

на Ивановича, к его великой радости, установили у самого окна. Кукушкина перенесли в угол, рядом со Степаном Ивановичем, а на освободившееся место поставили хорошую низкую кровать с мягким пружинным матрасом.

Как раз в этот момент и внесли пятого.

Он был, должно быть, очень тяжёл, так как носилки скрипели, глубоко прогибаясь в такт шагам санитаров. На подушке бесильно покачивалась круглая, наголо выбритая голова. Широкое жёлтое, точно налитое воском, одутловатое лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание.

Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату, почему-то подмигнул Степану Ивановичу — дескать, как она, жизнь-то, ничего? — басовито прокашлялся. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем, как два санитары, две сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побелевшие губы. Но он только скрипнул зубами.

Очутившись на койке, он сейчас же ровно выложил по краю одеяла каёмку пододеяльника, стопками разложил на тумбочке принесённые за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу, потом хозяйственным оком подвёл итог всем этим своим делам и тотчас, точно сразу почувствовав себя дома, глубоким и раскатистым басом прогудел:

— Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семён Воробьёв. Человек смирный, некурящий. Прошу принять в компанию.

Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Мересьев успел поймать на себе внимательно-испытующий взгляд его узеньких золотистых, очень цепких глаз.

— Я к вам ненадолго. Не знаю, кому как, а мне здесь залёживаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лёд пройдёт, дороги подсохнут — и айда: «Мы красная кавалерия, и про нас...» А? — пророкотал он, заполняя всю комнату сочным весёлым басом.

— Все мы тут ненадолго. Лёд тронется — и айда... ногами вперёд в пятидесятую палату, — отозвался Кукушкин, резко отвернувшись к стене.

Пятидесятой палаты в госпитале не было. Так между собой больные называли мертвецкую. Вряд ли Комиссар успел узнать об этом, но он сразу уловил мрачный смысл шутки, не обиделся и только, с удивлением глянув на Кукушкина, спросил:

— А сколько вам, дорогой друг, лет? Эх, борода, борода! Что-то вы рано состарились.

...С появлением Комиссара в палате произошло что-то подобное тому, что бывало по утрам, когда сиделка открывала форточку и в нудную больничную тишину вместе с весёлым шумом улиц врвался свежий и влажный воздух ранней московской весны. Комиссар не делал для этого никаких усилий. Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забывать о мучивших его недугах.

Проснувшись утром, он садился на койке, разводил руки вверх, вбок, наклонялся, выпрямлялся, ритмично вращал и наклонял голову — делал гимнастику. Когда давали умыться, он требовал воду похолоднее, долго фыркал и плескался над тазом, а потом вытирался полотенцем с таким азартом, что краснота выступала на его отёкшем теле, и, глядя на него, всем невольно хотелось сделать то же. Приносили газеты. Он жадно выхватывал их у сестры и торопливо вслух читал сводку Советского Информбюро, потом уже обстоятельно, одну за другой, — корреспонденции с фронта. И читать он умел как-то по-своему, так сказать, активно, то вдруг начинал шёпотом повторять понравившееся ему место и бормотать «правильно» и что-то подчёркивал. А то задумывался над газетой, откидывался на подушку и лежал так с раскрытыми глазами или начинал вдруг рассказывать интересные истории о своих конниках, которые, если судить с его слов, все были герой к герою и молодец к молодцу. А потом снова принимался за чтение.

Алексей целыми днями приглядывался к Комиссару, пытаясь понять секрет его неиссякаемой бодрости. Несомненно, тот сильно страдал. Стоило ему заснуть и потерять контроль над собой, как он сразу же начинал стонать, метаться, скрежетать зубами, лицо его искажалось судорогой. Вероятно, он знал это и старался не спать днём, находя для себя какое-нибудь занятие. Бодрствуя же, он был неизменно спокоен и ровен, как будто и не мучил его страшный недуг, неторопливо разговаривал с врачами, пошучивал, когда те прощупывали и осматривали у него больные места, и разве только по тому, как рука его при этом комкала простыню, да по бисеринкам пота, проступавшим на переносице, можно было угадать, до чего трудно ему было сдержаться. Лётчик не понимал, как может этот человек подавлять страшную боль, откуда у него столько энергии, бодрости, жизнерадостности. Алексею тем более хотелось понять это, что, несмотря на всё увеличивавшиеся дозы наркотиков, он сам не мог уже спать по ночам и иногда до утра лежал с открытыми глазами, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не стонать.

Всё чаще, всё настойчивее звучало теперь на осмотрах злое слово «ампутация». Чувствуя неуклонное приближение страшного дня, Алексей решил, что жить без ног не стоит.

И вот день настал. На обходе Василий Васильевич долго ощупывал почерневшие, уже не чувствовавшие прикосновений ступни, потом резко выпрямился и произнёс, глядя прямо в глаза Мересьеву: «Резать!» Побледневший лётчик ничего не успел

ответить, как профессор запальчиво добавил: «Резать — и никаких разговоров, слышишь? Иначе подохнешь! Понял?»

Он вышел из комнаты, не оглянувшись на свою свиту. Палату наполнила тяжёлая тишина. Мересьев лежал с окаменелым лицом, с открытыми глазами. Перед ним маячили в тумане синие безобразные култышки инвалида-перевозчика, он опять видел, как тот, раздевшись, на четвереньках, по-обезьяньи, опираясь на руки, ползёт по мокрому песку к воде.

— Лёша, — тихо позвал Комиссар.

— Что? — отозвался Алексей далёким, отсутствующим голосом.

— Так надо, Лёша.

В это мгновение Мересьеву показалось, что это не перевозчик, а он сам ползёт на култыпках и что его девушка, его Оля, стоит на песке в пёстром развевающемся платье, лёгкая, солнечная, красивая, и, кусая губы, с напряжением смотрит на него. Так будет! И он зарыдал бесшумно и сильно, уткнувшись в подушку, весь сотрясаясь и дёргаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович, кряхтя, сполз с койки, напялил халат и, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя пошёл к Мересьеву. Но Комиссар сделал запрещающий знак: дескать, пусть плачет, не мешай.

И действительно, Алексею стало легче. Скоро он успокоился и почувствовал даже облегчение, какое всегда ощущает человек, когда наконец решит долго мучивший его вопрос. Он молчал до самого вечера, пока за ним не пришли санитары, чтобы нести его в операционную. В этой белой, ослепительно сверкающей комнате он тоже не проронил ни слова. Даже когда ему объявили, что состояние сердца не позволяет усыплять его и операцию придётся делать под местным наркозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Василий Васильевич, сам делавший эту несложную ампутацию и, по обыкновению своему, грозно пушивший при этом сестёр и помощников, несколько раз заставлял ассистента смотреть, не умер ли больной под ножом.

Когда пилили кость, боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах, с лицами, закрытыми марлевыми масками.

Очнулся он уже в палате, и первое, что он увидел, было заботливое лицо Клавдии Михайловны. Странно, но он ничего не помнил и даже удивился, почему у этой милой, ласковой белокурой женщины такое взволнованное, вопрошающее лицо. Заметив, что он раскрыл глаза, она просияла, тихонько пожала ему руку под одеялом.

— Какой вы молодец! — и сейчас же взялась за пульс.

«Что это она?» — Алексей чувствовал, что ноги у него болят где-то выше, чем раньше, и не прежней горячей, мозжащей, дёргающей болью, а как-то тупо и вяло, будто их крепко стянули

выше голени верёвками. И вдруг увидел по складкам одеяла, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось: ослепительное сверкание белой комнаты, свирепая воркотня Василия Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре. «Уже?!» — как-то вяло удивился он и, сясь улыбнуться, сказал сестре:

— Я, кажется, стал короче.

Улыбка получилась нехорошая, похожая на гримасу. Клавдия Михайловна заботливо поправила ему волосы.

— Ничего, ничего, голубчик, теперь легче будет.

— Да, верно, легче. На сколько килограммов?

— Не надо, родной, не надо. А вы молодец, иные кричат, других ремнями привязывают и ещё держат, а вы не пикнули... Эх, война, война!

В это время из вечерней полутьмы палаты слышался сердитый голос Комиссара:

— Вы чего там панихиду затеяли? Вот передайте-ка ему, сестричка, письма. Везёт человеку, даже меня завидки берут: столько писем сразу.

Комиссар передал Мересьеву пачку писем. Это были письма из родного полка. Датированы они были разными днями, но пришли почему-то вместе, и вот теперь, лёжа с отрезанными ногами, Алексей одно за другим читал эти дружеские послания, повествующие о далёкой, полной трудов, неудобств и опасностей, неудержимо тянувшей к себе жизни, которая была потеряна теперь для него безвозвратно. Он смаковал и большие новости, и дорогие мелочи, о которых писали ему из полка.

На миг он уносился мыслью туда, на затерянный среди лесов и озёр аэродром, который лётчики так часто поругивали за коварный грунт и который казался ему теперь лучшей точкой на земле.

Он так увлёкся письмами, что не обратил внимания на разницу в датах и не заметил, как Комиссар подмигнул сестре, с улыбкой показывая в его сторону, и тихо шепнул ей: «Моё-то лекарство куда лучше, чем все эти ваши люминалы и вероналы». Алексей так никогда и не узнал, что, предвидя события, Комиссар прятал часть его писем, чтобы в страшный для Мересьева день, передав лётчику дружеские приветы и новости с родного аэродрома, смягчить для него тяжёлый удар.

* * *

После операции с Алексеем Мересьевым случилось самое страшное, что может произойти при подобных обстоятельствах. Он ушёл в себя. Он не жаловался, не плакал, не раздражался. Он молчал.

Целые дни, неподвижный, лежал он на спине, смотря всё на одну и ту же извилистую трещину на потолке. Когда товарищи заговаривали с ним, он отвечал — и часто невпопад — «да», «нет», и снова смолкал, уставившись в тёмную трещину штукатурки,

точно это был некий иероглиф, в расшифровке которого было для него спасение. Он покорно выполнял все назначения врачей, принимал всё, что ему прописывали, вяло, без аппетита съедал обед и опять ложился на спину.

— Эй, борода, о чём думаешь? — кричал ему Комиссар.

Алексей поворачивал в его сторону голову с таким выражением, точно не видел его.

— О чём, спрашиваю, думаешь?

— Ни о чём.

В палату как-то зашёл Василий Васильевич.

— Ну, ползун, жив? Как дела? Герой, герой, не пикнул! Теперь, брат, верю, что ты восемнадцать дней от немцев на карачках уползал. Я на своём веку столько вашего брата видел, сколько ты картошки не съел, а таких, как ты, резать не приходилось. — Профессор потёр свои шелушащиеся, красные руки с изъеденными сулемой ногтями. — Чего хмуришься? Его хвалят, а он хмурится. Я ж генерал-лейтенант медицинской службы. Ну, приказываю улыбнуться!

С трудом растягивая губы в пустую, резиновую улыбку, Мересьев думал: «Знать бы, что всё так кончится, стоило ли ползти? Ведь в пистолете оставалось три патрона».

Комиссар прочёл в газете корреспонденцию об интересном воздушном бое. Шесть наших истребителей, вступив в бой с двадцатью двумя немецкими, сбили восемь, а потеряли всего один. Комиссар читал эту корреспонденцию с таким смаком, будто отличились не неведомые ему лётчики, а его кавалеристы. Даже Кукушкин загорелся, когда заспорили, стараясь представить, как всё это произошло. А Алексей слушал и думал: «Счастливые! Летают, дерутся, а вот мне уже никогда больше не подняться».

В невесёлом раздумье текли однообразные госпитальные дни Алексея Мересьева. И хотя его железный организм легко перенёс мастерски сделанную ампутацию и раны быстро затягивались, он заметно слабел и, несмотря на все меры, день ото дня худел и чах у всех на глазах.

Ко всем Комиссар умел найти ключик, а вот Алексей Мересьев не поддавался ему. В первый же день после операции Мересьева появилась в палате книжка «Как закалялась сталь». Её начали читать вслух. Алексей понял, кому адресовано это чтение, но оно мало утешило его. Павла Корчагина он уважал с детства. Это был один из любимых его героев. «Но Корчагин ведь не был лётчиком, — думал теперь Алексей. — Разве он знал, что значит «заболеть воздухом»? Ведь Островский писал в постели свои книжки не в те дни, когда все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды».

Словом, книжка в данном случае успеха не имела. Тогда Комиссар начал обходное движение. Будто невзначай, он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог вы-

полнять большую общественную работу. Степан Иванович, всем на свете интересовавшийся, стал удивлённо охать. И сам вспомнил, что в их краях есть врач без руки, наипервейший на весь район лекарь, и на лошади он верхом ездит, и охотится, да при этом так одной рукой с ружьём справляется, что белку дробинкой в глаз сшибает. Тут Комиссар помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал ещё по эмтээсовским делам. Этот человек, наполовину парализованный, владея только одной рукой, продолжал руководить институтом и вёл работы огромных масштабов.

Мересьев слушал и усмехался: думать, говорить, писать, приказывать, лечить, даже охотиться можно и вовсе без ног, но он-то лётчик, лётчик по призванию.

Но Комиссар не оставил своих попыток «отомкнуть» его. Однажды, находясь в обычном состоянии равнодушного оцепенения, Алексей услышал комиссарский бас:

— Лёша, глянь: тут о тебе написано.

Степан Иванович уже нёс Мересьеву журнал. Небольшая статья была отчёркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил своей фамилии. Это была статейка о русских лётчиках времён первой мировой войны. Со страницы журнала глядело на Алексея незнакомое лицо молодого офицера с маленькими усиками, закрученными «шильцем», с белой кокардой на пилотке, надвинутой на самое ухо.

— Читай, читай, прямо для тебя, — настаивал Комиссар.

Мересьев прочёл. Повествовалось в статье о русском военном лётчике, поручике Валерьяне Аркадьевиче Карповиче. Летая над вражескими позициями, поручик Карпович был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «дум-дум». С раздробленной ногой он сумел на своём «фармане» перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли, но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрёл протез собственной конструкции. Он долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому к концу войны вернулся в армию. Он служил инспектором в школе военных пилотов и даже, как говорилось в заметке, «порой рисковал подниматься в воздух на своём аэроплане». Он был награждён офицерским «Георгием» и успешно служил в русской военной авиации, пока не погиб в результате катастрофы.

Мересьев прочёл эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряжённо, но, в общем, лихо улыбался со снимка молодой худощавый поручик с усталым волевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поерошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой на тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно, обвёл её.

— Прочёл? — хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал, всё ещё бегая глазами по строчкам.) — Ну, что скажешь?

— Но у него не было ступни.

— А ты же советский человек.

— Он летал на «фармане». Разве это самолёт? Это этажерка. На нём чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо.

— Но ты же советский человек! — настаивал Комиссар.

— Советский человек, — машинально повторил Алексей, всё ещё не отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвёл всех изумлённо-радостным взглядом.

На ночь Алексей сунул журнал под подушку, сунул и вспомнил, что в детстве, забираясь на ночь на полати, где спал с братьями, клал он так под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой плюшевой кофты. И он засмеялся этому своему воспоминанию, засмеялся на всю палату.

Ночью он не сомкнул глаз. Он то и дело доставал журнал и при свете ночника смотрел на улыбающееся лицо поручика. «Тебе было трудно, но ты всё-таки сумел, — думал он. — Мне вдесятеро труднее, но вот увидишь, я тоже не отстану».

Среди ночи Комиссар вдруг стих. Алексей приподнялся и увидел, что лежит он бледный, спокойный и, кажется, уже не дышит. Лётчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Прибежала Клавдия Михайловна, простоволосая, с помятым лицом и рассыпавшейся косой. Через несколько минут вызвали ординатора¹. Щупали пульс, впрыскивали камфору, совали в рот шланг с кислородом. Возня эта продолжалась около часа и порой казалась безнадёжной. Наконец Комиссар открыл глаза, слабо, еле заметно улыбнулся Клавдии Михайловне и тихонько сказал:

— Извините, взбулгачил я вас, а без толку. До ада так и не добрался и мази-то от веснушек не достал. Так что вам, родная, придётся в веснушках щеголять, ничего не поделаешь.

От шутки всем стало легче на душе. Крепок же этот дуб! Может, выстоит он и такую бурю. Ушёл ординатор — скрип его ботинок медленно угас в конце коридора; разошлись сиделки; и только Клавдия Михайловна осталась, усевшись бочком на кровати Комиссара. Больные уснули, но Мересьев лежал с закрытыми глазами, думая о протезах, которые можно было бы прикрепить к ножному управлению в самолёте хотя бы ремнями. Вспомнил он, что когда-то, ещё в аэроклубе, он слышал от инструктора, старого лётчика времён гражданской войны, что один коротконогий пилот привязывал к педалям колодочки.

«Я, брат, от тебя не отстану», — убеждал он Карповича. «Буду, буду летать!» — звенело и пело в голове Алексея, отгоняя сон. Он лежал тихо, закрыв глаза. Со стороны можно было подумать, что он крепко спит, улыбаясь во сне.

Проснулся Алексей поздно, когда солнечные зайчики лежали уже посреди палаты, что служило признаком полдня, — и проснулся с сознанием чего-то радостного. Сон? Какой сон... Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука.

¹ Ординатор — врач, заведующий палатой.

Поручик Карпович всё так же натянуто и лихо улыбался с помятой страницы. Мересьев бережно разгладил журнал и подмигнул ему.

Уже умытый и причёсанный, Комиссар с улыбкой следил за Алексеем.

— Чего ты с ним перемигиваешься? — довольно спросил он.

— Полетим, — ответил Алексей.

— А как же? У него только одной ноги не хватает, а у тебя обеих?

— Так ведь я же советский, русский! — отозвался Мересьев.

Он произнёс это слово так, будто оно гарантировало ему, что он обязательно превзойдёт поручика Карповича и будет летать.

За завтраком он съел всё, что принесла сиделка, с удивлением посмотрел на пустые тарелки и попросил ещё; он был в состоянии нервного возбуждения, напевал, пробовал свистеть, вслух рассуждал сам с собой. Во время профессорского обхода, пользуясь расположением Василия Васильевича, он донял его расспросами, что нужно сделать, чтобы ускорить выздоровление. Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых и, давась, с трудом доедал четвёртую котлету. Спать же днём он не смог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора.

Странное состояние переживал Алексей.

С тех пор как он поверил, что путём тренировки сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным лётчиком, им овладела жажда жизни и деятельности. Теперь у него была цель жизни: вернуться к профессии истребителя. С тем же фанатическим¹ упрямством, с каким он, обезножив, выползал к своим, стремился он к этой цели. Ещё в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя попусту драгоценного времени. И вышло, что он должен, во-первых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоровье и силу, а для этого больше есть и спать; во-вторых, восстановить боевые качества лётчика и для этого развивать себя физически доступными ему, пока ещё коечному больному, гимнастическими упражнениями; в-третьих, и это было самое важное и трудное, развивать обрубленные по голень ноги так, чтобы сохранить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся протезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления самолётом движения.

Даже хождение для безногого — нелёгкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолётом, и именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновения воздушного боя, когда всё рассчитано на сотые доли секунды и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, ноги должны уметь проделывать не менее точную, искусную, а глав-

¹ Фанатический — здесь: непреклонный.

ное — быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристёгнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу, как живой орган.

Любому человеку, знакомому с техникой пилотажа, это показалось бы невероятным. Но Алексей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а раз так, то он, Мересьев, обязательно этого достигнет.

Заставить себя есть, спать, принимать лекарства нетрудно. С гимнастикой было хуже. Обычная система, по которой Мересьев раньше делал зарядку, человеку, лишённому ног, привязанному к койке, не годилась. Он придумал свою: по целым часам сгибался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал голову с таким азартом, что хрустели позвонки.

Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днём отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты — минуты, когда слёзы сами лились из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он заставлял себя проделывать упражнения сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. После каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он снова возобновить их? Но приходило положенное время, и он принимался за своё. Вечером он ощупывал мускулы бедра, голени и с удовольствием чувствовал под рукой не дряблое мясо и жирок, как это было вначале, а прежний, тугой мускул.

* * *

Комиссар умер первого мая.

Произошло это как-то незаметно. Ещё утром, умытый и причёсанный, он дотошно выпрашивал у брившей его парикмахерши, хороша ли погода, как выглядит праздничная Москва, радовался, что начали разбирать на улицах баррикады, посетовал, что в этот вот сверкающий, богатый весенний день не будет демонстрации, пошутил над Клавдией Михайловной, предпринявшей по случаю праздника новую героическую попытку запудрить свои веснушки. Казалось, ему стало лучше, и у всех родилась надежда: может быть, дело пошло на поправку. В девять часов диктор, голос которого в те дни слушал и знал весь мир, начал читать приказ Народного Комиссара Обороны. Все замерли, боясь пропустить хотя бы слово. Уже прозвучали слова: «Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперёд к победе!» — а в палате ещё царила напряжённая тишина.

— Вот разъясните мне такое дело, товарищ полковой комиссар... — начал было Кукушкин и вдруг вскрикнул с ужасом: — Товарищ комиссар!

Все оглянулись. Комиссар лежал на кровати, прямой, вытянутый, строгий, с глазами, неподвижно устремлёнными в какую-то точку на потолке, и на лице его, осунувшемся и побелевшем, окаменело торжественное, покойное и величавое выражение.

— Умер! — вскрикнул Кукушкин, бросаясь на колени у его кровати. — У-ме-ер!

Вечером этого дня в опустевшую сорок вторую принесли новичка. Это был лётчик-истребитель майор Павел Иванович Стручков из дивизии воздушного прикрытия столицы.

На следующий день хоронили Комиссара.

Свесившись через подоконник, все смотрели на улицу, куда из ворот медленно выплывал на лафете красный гроб. В зелени, в цветах лежало тело Комиссара. За ним на подушках несли ордена — один, два, пять, восемь...

— Хлопцы, кого хоронят? — спросил майор.

Он тоже всё пытался подняться к окну, но ноги его, зажатые в лубки и залитые в гипс, мешали ему, и он не мог дотянуться.

Процессия удалилась. Уже издали глухо плыли, отдаваясь от стен домов, тягучие торжественные звуки. Уже вышла из ворот хромая дворничиха и закрыла со звоном металлические ворота, а обитатели сорок второй всё ещё стояли у окна, провожая Комиссара в его последний путь.

— Кого же хоронят? Ну? Чего это вы все точно деревянные! — нетерпеливо спрашивал майор, всё ещё не оставляя своих попыток дотянуться до подоконника.

Тихо, глухо, надтреснутым и словно сырым голосом ответил ему наконец Константин Кукушкин:

— Настоящего человека хоронят... Большевика хоронят.

* * *

Стояло прохладное, светлое и сверкающее летнее утро, когда Клавдия Михайловна торжественно привела в палату пожилого человека в железных, перевязанных верёвочкой очках, у которого даже новый, топорщащийся от избытка крахмала халат не изменял внешности старого мастерового. Он принёс что-то завернутое в белую тряпку и, положив на полу у койки Мересьева, осторожно и важно, точно фокусник, стал развязывать узелки. Под руками у него скрипела кожа, а в палате разнёсся приятный и острый, кисловатый запах дубильных веществ.

В свёртке старика оказалась пара новых жёлтых скрипучих протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. Протезы — это составляло едва ли не главную гордость мастера — были обуты в новенькие, жёлтые, казённого образца башмаки. Башмаки сидели так ловко, что создавалось впечатление живых обутых ног.

— Калошки надеть, так хоть под венец! — сказал мастер, любясь поверх очков изделием своих рук. — Сам Василий Васильевич наказал мне: «Сделай, говорит, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были». И — нате, пожалуйста, Зуев сделал. Царские!

У Мересьева сердце тоскливо сжалось при виде своих искусственных ног, сжалось, похолодело, но жажда поскорее попробовать протезы, пойти, пойти самостоятельно, победила всё осталь-

ное. Он выкинул из-под одеяла свои култышки и стал торопить старика с примеркой. Но старому протезисту, делавшему, по его словам, ещё в «мирное время» протезы какому-то «большому князю», сломавшему ногу на скачках, такая торопливость не понравилась. Он был очень горд изделием и хотел как можно дольше растянуть удовольствие от его вручения.

— Мне Василий Васильевич говорит: «Отличись, говорит, Зуев, на этих протезах; лейтенант, говорит, без ног летать собрался». А я что, я готов, я — пожалуйста, возьмите. С такими протезами не только что ходить, а и на лисапете кататься, с барышнями польку-бабочку танцевать... Работа!

Он сунул обрубок правой ноги Алексея в шерстистое и мягкое гнездо протеза и крепко охватил ногу прикрепляющими ремнями. Отошёл, полюбовался, прищёлкнул языком:

— Хороша обувка!.. Не беспокоит? То-то! Лучше Зуева, почитай, и мастера в Москве нет. Зуев — золотые руки.

Он ловко надел второй протез и едва успел застегнуть ремни, как Мересьев неожиданно сильным, пружинистым движением спрыгнул с койки на пол. Раздался глухой стук, Мересьев вскрикнул от боли и тут же тяжело рухнул во весь рост.

У старого мастера от удивления очки полезли на лоб. Он не ожидал от своего заказчика такой прыти. Мересьев лежал на полу, беспомощный, поражённый, широко разбросав свои искусственные ноги в ботинках. В глазах его было недоумение, обида, страх. Неужели он обманулся?

— Э-э-э, мил человек, этак-то негоже, вовсе негоже, — ворчал мастер. — Ишь, спрыгнул, будто и верно живые ноги ему приставили. Нос-то вешать ни к чему, друг милый, только теперь твоё дело такое — начинать всё сначала. Теперь забудь, что ты вояка, теперь ты дитя малое — по шажку, по шажку учись ходить: сначала с костыликами, потом по стеночкам, потом с палочкой. Да не вдруг, да помаленьку, а он — накося! Ноги-то и хорошие, да не свои.

От неудачного прыжка ноги тяжело ныли. Но Мересьев хотел сейчас же попробовать протезы. Ему принесли лёгкие алюминиевые костыли. Он упёрся ими в пол, зажал под мышками подушки и теперь тихо, осторожно соскользнул с койки и встал на ноги. И точно: он походил теперь на младенца, не умеющего ходить, инстинктом угадывающего, что пойти он может, и боящегося оторваться от спасительной, поддерживающей его стенки. Как младенца, которого мать или бабушка выводят в первое путешествие на просунутом под мышками полотенце, Мересьева с двух сторон заботливо поддерживали Клавдия Михайловна и старый протезист. Постояв на месте, чувствуя с непривычки острую боль в местах прикрепления протезов, Мересьев неуверенно переставил сначала один, потом другой костыль, перенёс на них тяжесть корпуса и подтянул сперва одну, потом другую ногу. Туго и хрустко закрипела кожа, раздались два тяжёлых удара об пол: бум, бум.

— Ну, и в добрый час, в добрый час,— забормотал старый мастер.

Мересьев сделал ещё несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые шаги на протезах, с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль муки втащил на пятый этаж. Добравшись до койки, он повалился на неё грудью, весь мокрый от пота, не имея сил даже повернуться на спину.

— Ну, как протезы? То-то благодари бога, что есть на свете мастер Зуев! — по-стариковски хвалился протезист, осторожно развязывая ремни, освобождая слегка уже отёкшие и опухшие с непривычки ноги Алексея. — На таких не только что летать, и до самого господа бога долететь можно. Работка!

— Спасибо, спасибо, старик, работа знатная, — бормотал Алексей.

И старик удалился, кланяясь, что-то бормоча. А Мересьев лежал, рассматривая валявшиеся подле кровати свои новые ноги, и чем больше он на них смотрел, тем больше они ему нравились и остроумностью конструкции, и мастерством работы, и лёгкостью: на лисапете ездить, польку-бабочку танцевать, на самолёте летать аж до господа бога. «Буду, всё буду, обязательно буду», — думал он.

* * *

Утром он попробовал ходить без костылей. Осторожно спустился с кровати. Встал. Постоял, расставив ноги и беспомощно разведя руки для баланса. Потом, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Захрустела кожа протеза. Тело понесло в сторону, но он сбалансировал рукой. Сделал второй шаг, всё ещё не отрываясь от стены. Он никогда не думал, что ходить так трудно. В детстве, мальчишкой, он учился ходить на ходулях. Встанет на колодочки, оттолкнётся спиной от стены — шаг, другой, третий, неудержимо тянет вбок, и он соскакивает, а ходули валятся в пыльную мураву, которой заросла окраинная улица. Но на ходулях легче, с них можно прыгнуть. С протезов не прыгнешь. И когда его на третьем шаге бросило в сторону и подвернулась нога, он грузно, ничком грохнулся на пол.

Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова оттолкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, стал на пятку, потом перенёс тяжесть корпуса на носок. Сердито скрипнул протез. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил её вперёд. Пятка тяжело грохнула об пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатался, всё время теряя равновесие и чувствуя, как холодный пот выступает у переносицы.

В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он постоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошёл и взял его под мышки:

— Браво, ползун! А почему один, без сестры, без санитаря? Гордыня человеческая... Ну, ничего, во всяком деле важен первый шаг, теперь самое трудное сделал. А ну, голубчик, давайте, раз... Да держитесь, держитесь за меня, чего стесняться! Держитесь, я генерал, меня слушаться надо. Ну, два, так... Теперь на правую. Хорошо. Левой. Здорово!

Знаменитый медик весело потёр руки, как будто, уча человека ходить, совершал бог весть какой важный медицинский эксперимент¹. Но такое уж было свойство его характера — увлекаться всем, за что бы он ни брался, и вкладывать в это свою большую энергичную душу. Он заставил Мересьева пройти вдоль палаты, и когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним.

— Ну, а летать — как, будем? То-то. Ныне, батенька, война такая: люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненные строчат из пулемёта, доты вон грудью закрывают... Только вот мёртвые не воюют... Старик потускнел, вздохнул... Да и те воюют, славой своей. Да... Ну-с, начнём, молодой человек.

А вечером старый служитель клиники принёс Мересьеву палку, великолепную старинную, чёрного дерева палку, с удобной ручкой из слоновой кости и с какими-то накладными монограммами².

— От профессора, от Василия Васильевича: свою собственную прислал в подарок. Вам ходить с палочкой велел.

Скучно было в госпитале в этот летний вечер. И в сорок вторую потянулись экскурсии. Соседи справа, слева, даже сверху приходили смотреть профессорский подарок. Палка действительно была хороша.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В разгар лета 1942 года из тяжёлых дубовых дверей госпиталя в Москве, опираясь на крепкую, чёрного дерева палку, вышел коренастый молодой человек в открытом френче военного лётчика, в форменных брюках навыпуск, с тремя кубиками старшего лейтенанта на голубых петлицах.

Раненые в синих, жёлтых, коричневых пижамах махали ему из окон руками, палками, костылями, что-то кричали, что-то советовали, напутствуя его. Он тоже махал им рукой, но видно было, что стремился он как можно скорее уйти от этого большого серого здания и отворачивался от окон, чтобы скрыть своё волнение. Он шёл быстро, странной, прямой, подпрыгивающей походкой, легко опираясь на палку. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что

¹ Эксперимент — научный опыт.

² Монограмма — здесь: сделанное из металла сплетение начальных букв имени и фамилии.

у этого стройного и крепко сбитого подвижного человека ампутированы ноги.

Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий Военно-Воздушных Сил, находившийся под Москвой... В санатории ему полагается прожить двадцать восемь дней. После этого решится, будет ли он воевать, летать, жить или ему будут вечно уступать место в трамвае и провожать его сочувственными взглядами. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать настоящим человеком.

Алексей составил план упражнений. Он включил сюда утреннюю и вечернюю зарядки, хождение, бег, специальную тренировку ног.

По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой: безногий лётчик... увлёкся танцами.

Алексей неукоснительно участвовал в вечерах, недурно танцевал, не пропуская ни одного танца. Играл баян, крутились пары. Мересьев, разгорячённый, со сверкающими от возбуждения глазами, выделял все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось бы, без труда вёл свою лёгонькую и изящную даму. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что делает он, исчезая порой из зала.

С улыбкой на разгорячённом лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую, росистую траву и, прижавшись всем телом к влажной, ещё державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стянутых ремнями ногах.

Тяжёлые танцевальные упражнения уже давали свои результаты: Алексей всё меньше и меньше ощущал сковывающее действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему.

* * *

Обстановка на юге осложнялась.

Санаторий лётчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия: шашки, шахматы, волейбол, городки.

Ничто не шло на ум. За час до подъёма к первой, семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги лётчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сёстрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над сталинградскими степями. В конце концов

отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом, и потребовали досрочной отправки в действующие части.

Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Мересьев легко прошёл все испытания, он выжал кистью раза в полтора больше нормы, выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя. Давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключение он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата¹ так, что прибор испортился.

— Лётчик? — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке «личного дела старшего лейтенанта Мересьева А. П.» резолюцию.

— Лётчик.

— Истребитель?

— Истребитель.

— Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш брат ох как нужен!.. Да вы с чем лежали в госпитале?

Алексей замялся, чувствуя, что всё внезапно проваливается, но врач уже читал его личное дело, и широкое, доброе лицо его растягивалось от удивления.

— Ампутация ног... что за чушь! Тут описка, что ли? Ну, чего вы молчите?

— Нет, не описка, — тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей.

Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чём дело.

— Засучите брюки! — нетерпеливо скомандовал врач.

Алексей побледнел, медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший, с опущенными руками.

— Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Сколько времени отняли. Не думаете же вы без ног пойти в авиацию? — сказал наконец врач.

— Я не думаю: я пойду! — тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом.

— Вы с ума сошли! Без ног!

— Да, без ног — и буду летать, — уже не упрямо, а очень спокойно ответил Мересьев: он полез в карман своего летного френча старого образца и достал оттуда аккуратно свёрнутую вырезку из журнала. — Видите, он же летал без ноги, почему же я не могу летать без обеих?

Врач, прочтя заметку, удивлённо, с уважением посмотрел на лётчика.

— Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался десять лет. Нужно ж научиться орудовать протезами, как ногами, — сказал он, смягчаясь.

¹ Крафт-аппарат — силомер.

— Вы не пишите ни «да», ни «нет». Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать.

В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек двести, танцы были устроены по расширенной программе.

Военврач первого ранга Миrowsольский, сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Мересьева и его огненноволосой партнёрши. Он был медик, больше того — он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног.

И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным лётчиком, красиво ведущим свою маленькую, изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что всё это какая-то сложная мистификация¹. Под конец, после того как лётчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга «барыню» — да с гиком, с прихлопываниями ладонями по бёдрам, по щекам — и потом, вспотевший и оживлённый, пробился к Миrowsольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мересьев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа.

— Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае считайте мой голос «за», — ответил врач.

* * *

В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой, подле небольшого осоавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора.

Тренировочные самолёты, стрекозоподобные «ушки» и «уточки», облепляли маленький, тесный аэродром, как мухи неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восхода и до заката, и, когда ни взглянешь на исчерченное вкривь и вкось колёсами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился.

В первый же день Мересьев отыскал на лётном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан.

— Пришёл? — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме официальное приветствие Алексея. — Ну и ладно: первым пришёл — первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь.

Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный «чинарик», а Алексей заторопился к самолёту. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдёт инструктор. Славный он малый, но кто его знает: а вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум? Мересьев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки

¹ Мистификация — обман, намеренное введение кого-либо в заблуждение.

он всё срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину, так что узколицый, немолодой, унылого вида механик, удивлённо поглядев на него, решил: «Пьян, собака».

Но вот наконец Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу, с невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной, хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конёк.

В кабину сунулась голова инструктора.

— А ты, друг, часом не пьян? Дыхни.

Алексей дыхнул. Не почуяв знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком.

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлёте после длительного перерыва! Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза лётчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжёлой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в лётном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы.

Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятного Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного?

Когда самолёт оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, чёрные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплывли слезами и как слёзы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей.

«Чудак какой-то! С ним нужно осторожно. Мало ли что!» — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырёхугольного зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу и приборы начинают расплываться перед глазами.

После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика. Машина шла уверенно, «грамотно». Только странно, пожалуй, было, что, ведя её по плоскости, курсант всё время то делал ма-

ленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после двух-трёх полётов пересадить на «утёнка» — учебно-тренировочный самолёт «Ут-2», маленькую фанерную копию истребителя.

Было холодно, термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться.

Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку: «На посадку!» — он видел в зеркале немую просьбу горячих чёрных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо десяти минут они летали около получаса.

Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолёта, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же что-то долго возился в кабине и вышел из неё медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения.

— Ну, замёрз? Меня сквозь унты уж как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замёрзли ноги?

— У меня нет ног,— ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.

— Что? — подвижное лицо Наумова вытянулось.

— У меня нет ног, — повторил Мересьев отчётливо.

— То есть как это «нет ног»? Как это понимать? Больные, что ли?

— Да нет — и всё... Протезы.

Мгновение Наумов стоял, точно пригвождённый к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал...

Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слёзы в его чёрных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полёта. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки.

— Родной, да как же? Да ты... ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!..

* * *

Свыше пяти месяцев занимался Мересьев в учебно-тренировочной школе.

Остаток зимы и раннюю весну провёл Мересьев в школе переподготовки.

Большая группа лётчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель — «Ла-5». Подготовка велась серьёзно: изучали мотор, материальную часть, проходили технику.

Машина действительно была хороша. На этом сходились все. Но когда очередь дошла до Мересьева и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг почувствовал, что конь этот для него, безногого, слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепного, полного контакта с машиной, который и даёт радость полёта. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движением в воздухе. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез — даже самый лучший, при самой большой тренировке, — не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги.

Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги.

Со следующего дня Мересьев стал тренироваться отдельно. Он работал не только с упорством, как тогда, когда он учился ходить, бегать, танцевать. Его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать технику полёта, обдумать все детали, разложить её на мельчайшие движения и разучить каждое движение особо.

Эта была очень трудная, кропотливая работа. Результаты её вначале почти не ощущались. И всё же Алексей чувствовал, что с каждым разом самолёт как бы больше и больше срастается с ним, становится послушней. Дела подвигались хотя и не очень ходко, но уверенно и твёрдо, и, что самое главное, в результате этих тренировок Алексей перестал ощущать себя в самолёте неумелым, слабым всадником, сидящим на горячем и быстром коне. Он снова верил в своё мастерство. Это как бы передавалось самолёту, и тот, как живое существо, как конь, чувствующий хорошего ездока, становился всё более покорным. Машина постепенно раскрывала Алексею все свои полётные качества.

Ясно: он лётчик, хороший лётчик, не зря на его тренировки тратили сверх нормы драгоценный бензин. Уж он отработает этот бензин сторицей, только бы поскорей на фронт, в бой!

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

В жаркий летний день 1943 года по фронтовой дороге, проторённой обозами наступавших дивизий Красной Армии, прямо через заброшенное, заросшее могучим багровым бурьяном поле, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах, дребезжа расхлябанным деревянным кузовом, по направлению к фронту бежал старенький грузовик.

В кузове, набитом кулями с письмами, на пачках свежих газет, подскакивая и раскачиваясь вместе со всем грузом, сидели двое военных в летних гимнастёрках и фуражках с голубыми околышами. Младший из них, судя по новеньким, необмятым погонам, старший сержант авиации, был тонок, строен, белокур. Лицо у него было такое девически нежное, что казалось, кровь просвечивала сквозь белую кожу. На вид ему было лет девятнадцать. Хотя изо всех сил старался он выглядеть бывалым солдатом — плевал сквозь зубы, хрипловато бранился, вертел сигарки в палец толщиной и прикидывался ко всему равнодушным, — ясно было, что на фронт он едет в первый раз и очень волнуется.

В спутнике его, старшем лейтенанте, наоборот, можно было безошибочно угадать опытного фронтовика. На первый взгляд ему можно было дать не больше двадцати — двадцати четырёх лет. Но, взглядевшись в загорелое, обветренное лицо с тонкими ниточками морщин у глаз, на лбу, у рта, в его чёрные задумчивые усталые глаза, можно было бы прикинуть и ещё с десятков.

Уже вечерело, когда грузовик влетел на улицу небольшой деревеньки, где опытный глаз сразу угадал бы командный пункт небольшой авиационной части.

Кабинет командира полка помещался в просторном классе.

— Старший лейтенант Алексей Мересьев, — отрекомендовался чернявый офицер, вытягиваясь и стукнув каблуками. — Прибыл в ваше распоряжение.

— Старший сержант Александр Петров, — отрапортовал юноша, стараясь вытянуться ещё прямее и ещё звучнее брякая об пол каблуками солдатских кирзовых сапог.

— Командир полка полковник Иванов, — буркнул хозяин. — Пакет?

Мересьев чётким жестом вырвал из планшета пакет и протянул полковнику. Тот пробежал препроводительные бумаги и быстрым глазом осмотрел прибывших.

— Хорошо, вовремя. Только что же это они мало прислали? — Потом вдруг что-то вспомнил, на лице его мелькнуло удивление. — Позвольте, это вы Мересьев? Мне о вас звонил начальник штаба ВА. Он предупредил меня, что вы...

— Это не имеет значения, товарищ полковник, — не очень вежливо перебил Алексей. — Разрешите приступить к несению службы?

Полковник с любопытством посмотрел на старшего лейтенанта и с одобрительной усмешкой кивнул головой.

* * *

Раз утром, когда яркие солнечные лучи уже падали через незапахнутый полог входа на устланный хвоей пол землянки, а оба друга ещё потягивались на сделанных в стенах нишах-койках, наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги и послышалось магическое на фронте слово: «Почтарь!»

Оба разом сбросили одеяла, но, пока Мересьев пристёгивал протезы, Петров успел догнать почтаря и вернулся, торжественно неся два письма для Алексея. Это были письма от матери и Оли. Алексей вырвал их из рук друга, но в это время на аэродроме часто забарабанили в рельс. Экипажи вызывались к машинам.

Мересьев сунул письма за пазуху и, тотчас же забыв о них, побежал вслед за Петровым по протоптанной в лесу дорожке, ведущей к месту стоянки самолётов.

Тройка машин фыркнула на старте, тронулась, побежала, за ней потянулась другая, и уже приходила в движение третья. Вот первые самолёты скользнули в небо. Вслед за ними разбегается звено Мересьева. Уже внизу покачивается из стороны в сторону плоская земля. Не теряя из виду первой тройки, Алексей пристраивает к ней своё звено, а сзади, впритык к ним, идёт третье.

Вот и передовая. Рябая, изъязвлённая снарядами земля, напоминающая сверху пыльную дорогу, на которую упали первые щедрые потоки ливня. Изрыты, вскопаны ходы траншей, маленькие прыщики блиндажей и дзотов топорщатся брёвнами и кирпичом. Жёлтые искры вспыхивают и гаснут по всей истерзанной долине. Это и есть огонь великого сражения. Каким игрушечным, маленьким и странным кажется всё это сверху! Не верится, что там, внизу, всё горит, ревёт, сотрясается и смерть гуляет по изувеченной земле, в дыму и копоти, собирая обильную жатву.

— Внимание! Я — «Леопард-три», я — «Леопард-три». Справа «лаптёжники», «лаптёжники»!

Враг был близко. Чуть ниже их в любимом немцами строю — двойным гусем — шли одномоторные пикировщики «Ю-87». Они имели неубирающиеся шасси¹. Шасси эти в полёте висели под брюхом. Колёса были защищены продолговатыми обтекателями. Было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапти. Поэтому лётная молва на всех фронтах и окрестила их «лаптёжниками».

Немцы шли красиво, ровно, будто связанные между собой невидимыми нитями. Плоскости их машин ослепительно сверкали, освещённые сверху солнцем.

— ...«Леопард-три». Атака! — рванулся в уши Мересьева отрывок командирской фразы.

Он видел, как справа, сверху, точно бешено скользя с ледяной горы, во фланг вражескому строю неслись Чеслов и его ведомый. Нити трасс хлестнули по ближайшему «лаптёжнику», тот вдруг провалился, и Чеслов с ведомым и третий из его звена проскочили в образовавшееся пространство и исчезли за немецкой шеренгой. Шеренга немецких пикировщиков тотчас же сомкнулась за ними. «Лаптёжники» продолжали идти в идеальном порядке.

¹ Шасси у самолёта — выдвижное или неподвижное устройство, к которому прикреплены колёса, поплавки или лыжи.

Сказав свой позывной, Алексей хотел крикнуть: «Атака!» — но от возбуждения из горла вырвалось только свистящее: «А-а-а!» Он уже нёсся вниз, ничего не видя, кроме этого стройно плывущего вражеского строя. Он наметил себе того самого немца, который заступил место сбитого Чесловым. В ушах у Алексея звенело, сердце готово было выпрыгнуть через горло. Он поймал самолёт в паутинный крестик прицела и нёсся к нему, держа оба больших пальца на гашетках¹. Точно серые пушистые верёвки мелькнули справа от него. Ага! Стреляют. Промазали. Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже цел. Он слева. Отвернул. Молодец, мальчишка! Серый борт «лаптёжника» увеличивается в крестике. Пальцы чувствуют холодный алюминий гашеток. Ещё чуть-чуть...

Вот когда Алексей с торжеством ощутил совершенное слияние со своей машиной! Он чувствовал мотор, точно тот бился в его груди, всем существом своим он ощущал крылья, хвостовые рули, и даже неповоротливые искусственные ноги, казалось ему, обрели чувствительность и не мешали этому его соединению с машиной в бешено стремительном движении. Выскользнула, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша «немца». Несясь прямо на него, Мересьев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов, не видел даже огневых трасс, но знал, что попал, и, не останавливаясь, продолжал нестись на вражеский самолет, зная, что тот провалится и он не столкнётся с ним. Оторвавшись от прицела, Алексей с удивлением увидел, что рядом провалился ещё и второй. Неужели он случайно сбил и его? Нет. Это Петров. Он тянул справа. Это его работа. Молодец новичок! Удаче молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей.

— Следи! — гикнул Мересьев, скользнув глазом по силуэту ведомого, и выжал ручку на себя.

Земля опрокинулась. Точно тяжёлый удар втиснул его в сиденье, прижал к нему. Он почувствовал вкус крови во рту и на губах, в глазах замельтешила красная пелена. Машина, встав почти вертикально, неслась вверх. Лёжа на спинке сиденья, Алексей на мгновение увидел в крестике пятнистое брюхо «лаптёжника», смешные лапти, накрывающие толстые колёса, и даже комья аэродромной глины, прилипшие к ним.

Он нажал обе гашетки. Куда он попал: в баки ли, в мотор ли, в кассету с бомбами, — он не понял, но немец сразу исчез в буром облаке взрыва.

Машину Мересьева бросило в сторону, и она пронеслась мимо кома огня. Переводя машину в плоскостной полёт, Алексей осмотрел небо. Ведомый шёл за ним справа, вися в бескрайней небесной голубизне, над слоем облаков, напоминавших белую мыльную пену. Было пустынно, и только на горизонте, на фоне далёких облаков, были видны чёрточки расползавшихся в

¹ Гашётка — кнопка или рычаг для открытия огня из огнестрельного оружия.

разные стороны «лаптёжников». Алексей глянул на часы и поразился. Ему казалось, что бой продолжался, по крайней мере, полчаса и бензин должен быть на исходе. Часы показывали, что всё заняло три с половиной минуты.

— Жив? — спросил он, оглядываясь на ведомого, который «перелез» направо и летел рядом.

Из сутолоки звуков он услышал далёкий восторженный голос:

— Жив!.. Земля... На земле...

Внизу, на избитой, истерзанной холмистой долине, в нескольких местах горели чадные бензиновые костры. Тяжёлый дым их столбами поднимался в безветренном воздухе. Но Алексей смотрел не на эти догорающие трупы вражеских самолётов. Он смотрел на серо-зелёных жучков, уже широко разбежавшихся по всему полю. Двумя лощинами они подползали к вражеским позициям, передние уже перевалили через траншеи. Выбрасывая из своих хоботков красные огоньки уже за линией немецких укреплений, они ползли всё дальше и дальше, хотя за спиной у них ещё вспыхивали выстрелы и тянулись дымки немецкой артиллерии.

Мересьев понял, что значат сотни этих жучков в глубине разбитых вражеских позиций.

Произошло то, о чём на следующий день советский народ и весь свободолюбивый мир, ликуя, читал во всех газетах. На одном из участков Курской дуги после мощной двухчасовой артиллерийской подготовки армия прорвала немецкую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление.

Для гвардейского истребительного авиаполка, в котором служил теперь Алексей, день прорыва танковой армии был началом боевой страды. Над местом прорыва эскадрильи сменяли одна другую. Едва успевала выйти из боя и приземлиться одна, как ей на смену поднималась другая.

Только вечером, когда сумерки надёжно прикрыли район наступления армии, экипажи отпустили по домам.

Алексей не пошёл в землянку. Он лёг под берёзой на влажный шерстистый, пахнущий грибами мох и осторожно вынул из конверта листок Олиного письма.

После сегодняшних дел он мог говорить с ней как равный. Он не только летает: он воюет. Ведь он обещал себе, дал зарок всё рассказать ей или когда его надежды потерпят крушение, или когда в бою он станет равным среди других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолёта упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занёс это сегодня в боевой журнал. Об этом пошли донесения в дивизию, в армию и в Москву.

Тёплая, влажная ночь загустела в лесу. Теперь, когда гром боя отодвинулся на юг и зарева уже далёких пожаров были еле видны за сеткой ветвей, отчётливо слышны стали все ночные шумы летнего душистого цветущего леса: неистовый и надсадный треск кузнечиков на опушке, гортанное курлыканье сотен лягушек в соседнем болоте, резкое кряканье дергача и вот это всё

заглушающее, все заполняющее, царствующее во влажной полутьме соловьиное пение.

Лунные белые пятна попеременно с чёрными тенями ползали по траве у ног Алексея, всё ещё сидевшего под берёзой на мягком, теперь уже сыром мху. Он опять достал из кармана фотографию, положил её на колени и, смотря на неё, освещаемую лунной, задумался. Над головой в ясном тёмно-синем небе один за другим тянулись на юг тёмные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков. Моторы их басовито ревели, но даже этот голос войны воспринимался сейчас в лесу, полном лунного света и соловьиного пения, как мирное гудение майских жуков.

С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого полковника. Пока она действовала, подготавливалась к вылету вторая группа в двенадцать истребителей.

Летели низко, осторожно держась зоны вчерашнего прорыва. Теперь уже не с большой высоты, не в дальнем плане, который придаёт всему ненастоящий, игрушечный вид, а близко проносилась земля под самолётом Алексея. И в это время у самой линии горизонта заметил Алексей сначала одну, потом целый рой низко висящих над землёй чёрточек. Немцы! Они тоже шли, прижимаясь к земле, и явно нацеливались на хвосты пыли, далеко видные над красноватыми, забурьяненными полями.

Он разглядел врага. Это были истребители-штурмовики «Фокке-Вульф-190», сильные, вёрткие машины, только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими лётчиками «фоками».

Численно их было в два раза больше. Шли они тем самым строгим строем, каким отличались части дивизии «Рихтгофен»: шли лесенкой, парами, расположенными так, что каждая последующая защищала хвост предыдущей.

В воздухе началась сутолока. Оба строя распались на отдельно сражающиеся пары и четвёрки.

Пары кружились, гоняясь друг за другом, и в воздухе затеялся сложный хоровод.

Только опытный глаз мог разобраться в этой сутолоке, точно так же, как только опытный слух мог различить отдельные звуки, врывавшиеся через наушники в уши пилота. Что только не звучало в эти минуты в эфире: и хриплая сочная брань идущего в атаку, и вопль ужаса подбитого, и крик торжества победителя, и стон раненого, и скрежет зубов напрягающегося на крутом вираже, и хрип тяжёлого дыхания... Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке, кто-то, ахнув, по-детски, сказал «мама», кто-то, должно быть, нажимая на гашетки, зло приговаривал: «На тебе, на, на, на!»

Казалось по этим звукам, что борются не истребители высоко над землёй, казалось, что враги сцепились рукопашную и, хрипя и задыхаясь, напрягая все силы, катаются по земле.

Мересьев осмотрел воздух, намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы шевель-

нулись на затылке. Чуть пониже он увидел «Ла-5» и атакующего его сверху «фоку». Он не заметил номера советского самолёта, но понял, почувствовал, что это Петров. «Фокке-Вульф» нёсся прямо на него, строча из всего своего оружия. Жить Петрову оставалось доли секунды. Сражались слишком близко, и Алексей не мог броситься на помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. Не было ни времени, ни места, чтобы развернуться. Жизнь товарища, стоявшая на карте, заставила Мересьева идти на риск. Он бросил свою машину по вертикали вниз и прибавил газу. Самолёт, увлекаемый собственной тяжестью, помноженной на инерцию и на полную мощность мотора, весь содрогаясь от необычайного напряжения, пал камнем — нет, не камнем, а ракетой — прямо на короткокрылое тело «фоки», опутывая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит, Мересьев нёсся в пропасть и едва заметил помутневшими, налитыми кровью глазами, что где-то перед самым его винтом «фока» окутался дымным облаком взрыва. А Петров? Он куда-то исчез. Где он? Сбит? Спрыгнул! Ушёл?

Небо кругом было чисто, и откуда-то издали, с невидимого уже самолёта, в притихшем эфире гудел голос:

— Я — «Чайка-два», Федотов; «я — «Чайка-два», Федотов. Подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне. Домой. Я — «Чайка-два»...

Должно быть, Федотов уводил группу.

После того как Мересьев, расправившись с «Фокке-Вульфом», вывел свой самолёт из сумасшедшего вертикального пике, он, жадно и тяжело дыша, наслаждался наступившим покоем, ощущая радость минувшей опасности, радость победы. Он взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома. Но более страшное, чем бензомер со стрелкой, близкой к нулю, он увидел в следующее мгновение. Из мохнатых косм пушистого облака прямо на него нёсся бог весть откуда взявшийся «Фокке-Вульф-190». Думать было некогда, уходить некуда.

Враги стремительно понеслись друг на друга.

«Ла-5» и «Фокке-Вульф-190» были быстроходными самолётами. Враги сближались со скоростью, превышающей скорость звука.

Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии «Рихтгофен» шли на атаку в лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновения, за которые самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от лётчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в наземном бою хватило бы на целый день сражения.

Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолёт врага растёт на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях, видны его плоскости, сверкающий круг винта, чёрные точки пушек. Ещё мгно-

вание — и самолёты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытываются не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдерживает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванёт ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолёт полетит вниз с распоротым брюхом или отсечённой плоскостью. Спасения ему нет. Опытные лётчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку.

Враги бешено мчались друг на друга.

Алексей понимал, что навстречу ему идёт не мальчишка из так называемого призыва Геринга, наскоро обученный летать по сокращённой программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу Мересьеву шёл ас из дивизии «Рихтгофен», на машине которого наверняка была изображена в виде самолётных силуэтов не одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерёт из схватки.

— Держись, «Рихтгофен»! — промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твёрдых мускулов, впился в цель, всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него вражеской машиной.

Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то, как ему показалось, на расстоянии вытянутой руки от его самолёта, немец не выдержал, скользнул вверх, и, когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещённое солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мёртвую петлю и, когда земля проносилась у него над головой, увидел на её фоне медленно и бесильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нём. Он закричал: «Оля!» — позабыв обо всём, и стал вычерчивать в воздухе крутые круги, провожая немца в его последний путь до самой красневшей от бурьяна земли, пока немец не ударился о неё, подняв целый столб чёрного дыма.

Только тогда нервное напряжение Мересьева прошло, окаменевшие мускулы распустились, он почувствовал огромную усталость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля.

Бензину осталось минуты на три, хорошо, если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут. Если бы ещё не тратить времени на набор высоты. Но это провожание сбитого «фоки» до земли!.. «Мальчишка, дурак!» — ругал он себя.

Мозг работал остро и ясно, как всегда бывает в минуту опасности у смелых, хладнокровных людей.

На горючее надеяться нечего. Даже если бензомер слегка подвирает, бензина всё-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он

мысленно вспомнил всю короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмистые поля в зоне долговременных укреплений, все перекопанные вкривь и вкось, сплошь изрытые воронками, оплётённые колючей проволокой.

— Нет, сесть — это смерть.

Прыгать с парашютом? Это можно. Хоть сейчас! Открыть колпак, вираж, ручку от себя, рывок — и всё. Но самолёт, эта чудесная вёрткая, проворная птица! Её боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить её, разбить, превратить в грудку алюминиевых лохмотьев? Ответственность?.. Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в это мгновение казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством.

— Как бы не так! — вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное кем-то предложение.

Лететь, пока не остановится мотор! А там? Там видно будет.

И он летел, с высоты трёх, потом четырёх тысяч метров осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Стрелка бензомера уже не дрожит, она прочно лежит на винтике ограничителя. Но мотор ещё работает. На чём он работает? Ещё, ещё выше... Так!

Вдруг равномерное гудение, которого ухо лётчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биения своего сердца, перешло в иной тон. Лётчик чувствует это всем телом, как будто не мотор, а сам он стал задыхаться. И вдруг это страшное «чих, чих, чих», которое, точно острая боль, отдаётся во всём его теле...

Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает, работает, ура! Работает! А лес, вот он уже, лес: уже видны сверху вершины берёз, зелёная курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперёд, вперёд!

«Чих, чих, чих!..»

Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога шла по песку прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома километра три. Он там за зубчатой кромкой, которую Алексей, кажется, уже видит.

«Чих, чих, чих, чих!» И вдруг стало тихо, так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Всё? Мересьев почувствовал, как весь холодеет. Прыгать? Нет, ещё немного...

Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина! Такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор, как кровь бьётся в висках и шумит в ушах от быстрой потери высоты. И как быстро несётся навстречу земля, точно тянёт её к самолёту огромным магнитом!

Вот она, кромка леса. Вот мелькнул вдали за ней изумрудно-зелёный лоскуток аэродрома. Поздно? Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец?.. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось, какой нечеловечески трудный путь прошёл он за эти восемнадцать месяцев, что он всё-таки добился своего, стал настоящим... ну да, настоящим человеком, чтобы так нелепо разбиться тотчас же, как только это совершилось?

Прыгнуть? Поздно!.. Точно привидение, скользнул он над головами, над землёй и, словно притянулся ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колёсами.

Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы — такой необычайный, потому что лётчики никогда его не слышат из-за клёкота работающего мотора. Случилось всё это так неожиданно, что никто даже не понял, что именно произошло, хотя происшествие было само по себе обычным: сел самолёт, и именно «одиннадцатый», как раз тот самый, которого все так ждали.

— Он! — заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу вышли из оцепенения.

Самолёт уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома, перед стеной кудрявых, белевших стволами молодых берёз, освещённых оранжевыми вечерними лучами.

Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине, что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло и, открыв капак, заглянул в кабину. Алексей Мересьев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными, зеленоватыми губами. С нижней прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови.

— Жив? Ранен?

Слабо улыбаясь, он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами.

— Нет, цел. Перетрусил очень... Километров шесть тянул на соплях.

Лётчики шумели, поздравляли, жали руки.

Алексей улыбался.

— Братцы, крылья не обломайте. Разве можно? Ишь насели... Я сейчас вылезу.

Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона.

— Старший лейтенант Мересьев, доложите о полёте. Сбитые есть?

— Так точно, товарищ полковник. Два «Фокке-Вульфа».

— Обстоятельства?

— Один — атакой на вертикали. У Петрова на хвосте висел. Второй — лобовой атакой километрах в трёх севернее от места общей схватки.

На командный пункт они отправились пешком. Так как полёты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зелёный холмик командного пункта был уже близко, когда оттуда выбежал им навстречу дежурный офицер. С разгона он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим, резким голосом:

— Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?

— Товарищ полковник, разрешите обратиться, — вытягиваясь и едва переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант.

— Ну?

— Наш сосед, командир полка «яков», просит вас к телефону.

— Сосед? Ну и что же?

Полковник проворно сбежал в землянку.

— Там о тебе... — начал было говорить Алексею дежурный. Но снизу раздался голос командира:

— Мересьева ко мне!

Когда Мересьев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него:

— Что же вы меня подводите? Звонит сосед, спрашивает: «Кто из твоих на «одиннадцатке» летает? Я говорю: «Мересьев, старший лейтенант». Говорит: «Ты сколько ему сегодня сбитых записал?» Отвечаю: «Два». Говорит: «Запиши ему ещё одного: он сегодня от моего хвоста «Фокке-Вульфа» отцепил. Я, говорит, сам видел, как тот в землю ткнулся». Ну? А вы что молчите? — полковник хмуро смотрел на Алексея, и трудно было понять, шутит ли он или сердится всерьёз. — Было это?.. Ну, объясняйтесь сами, нате вот. Алло, слушаешь? Старший лейтенант Мересьев у телефона. Передаю трубку.

У уха зарокотал незнакомый сиплый бас:

— Ну, спасибо, старший лейтенант! Классный удар, ценю, спас меня. Да. Я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся...

Мересьев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы скорее добраться до «кротового городка», до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери.

— Куда идёте? — командир полка заступил ему дорогу; он взял руку Мересьева и крепко, до боли, сжал её сухой маленькой ручкой. — Ну, что вам сказать? Молодец! Горжусь, что у меня такие люди... Ну, что ещё? Спасибо... А этот ваш дружок Петров разве плох? А остальные... Эх, с таким народом войны не проиграешь!

Он ещё раз до боли стиснул руку Мересьева.

Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересьев не мог заснуть. Он перевёртывал подушку, считал до тысячи и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву «А», потом — на букву «Б» и так далее, неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки, но все эти стократ проверенные способы самоусыпления сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы: озабоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайла; добродушно мигал «коровьими» ресницами Андрей Дегтяренко; кого-то распекая, сердито потрясал своей седеющей гривой Василий Васильевич; с белого фона подушки смотрело на Алексея своими умными, проницательно-насмешливыми, всё понимающими глазами восковое лицо комиссара Воробьёва; улыбался, подмигивал сочувственно и понимающе маленький подвижной инструктор Наумов. Сколько славных дружеских лиц смотрело, улыбалось из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце! Но вот среди этих дружеских лиц возникло и сразу их заслонило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастёрке, с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и чётко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда её не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся.

Какой уж тут сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил «сталинградку», вырвал из тетради лист и, поточив о подшву конец карандаша, начал писать.

«Родная моя! — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль. — Я сегодня сбил трёх немцев. Но дело не в этом. Некоторые мои товарищи делают это сейчас почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать... Родная моя, далёкая, любимая. Сегодня я хочу, я имею право сегодня рассказать тебе всё, что со мной случилось восемнадцать месяцев назад и что, каюсь и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня наконец решил...»

Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпая сухой песок, попискивали мыши. В незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берёз и цветущих трав доносились чуть приглушённые неистовые соловьиные трели. Где-то невдалеке, за оврагом, наверно у палаток офицерской столовой, мужской и женский голоса согласно и задумчиво пели «Рябину». Смягчённая расстоянием мелодия её обретала в ночи особую, нежную прелесть, будила в душе радостную грусть — грусть ожидания, грусть надежды...

Отдалённые, глухие громы канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившегося в глубоком тылу, не заглушали ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, дремотного шелеста ночного леса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город, в штаб Брянского фронта поступило сообщение, что лётчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за девять последних дней сбили сорок семь самолётов противника. Потеряли они при этом пять машин и только трёх человек, так как двое из сбитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолёте я вылетел в этот полк, намереваясь написать в «Правду» о подвигах лётчиков-гвардейцев.

Солнце уже легло на вершины берёз, облив их расплавленным золотом своих лучей.

Садилась последние машины. Не выключая моторов, с ходу подруливали они прямо к леску...

Последним прилетел самолёт командира третьей эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая, чёрного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый широколицый черноволосый человек быстро поднялся на крепких руках, ловко перенёс своё тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший лётчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как, весело глядя мне прямо в лицо живыми чёрными, цыганскими глазами, в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал, улыбаясь:

— Помилосердствуйте! Честное слово, с ног валюсь. В ушах гудит. Вы кушали? Нет? Ну и отлично! Пойдёмте в столовку, поужинаем вместе.

Я согласился. Уж очень мне понравился этот открытый, весёлый человек. Мы двинулись по тропке, протоптанной лётчиками, напрямик, через лес. Новый знакомый шёл быстро, порой нагибался, чтобы сорвать на ходу черничинку или поймать в горсть гроздь бело-розовых ягод брусники, которую он тут же бросал в рот. Должно быть, он очень устал сегодня, так как ступал тяжело. Но на странную палку свою он не опирался. Она висела у него на локте, и лишь изредка он брал её в руку, чтобы сшибить мухомор или ударить по розовым султанчикам иван-чая. Когда мы, переходя овраг, поднимались на крутой скользкий, глинистый склон, лётчик взбирался медленно, помогая себе тем, что подтягивался руками за кусты. Но на палку так и не опёрся.

Впрочем, в столовой усталость с него будто ветром сдуло. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по при-

метам лётчиков предвещавший на завтра ветер; жадно, с шумом выпил большую кружку воды, пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своём находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами с хрустом обгладывал кости бараньего бока. Перешучивался через стол с товарищами, выпрашивал у меня московские новости, интересовался новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье — черничный кисель, называвшийся здесь «грозовые облака», — он спросил:

— Вы, собственно, где ночуете? Нигде? Ну и отлично, ночуйте в моей землянке! — он на мгновение насупился и, помолчав, глухо пояснил: — Сосед мой сегодня... не вернулся с задания... Стало быть, лежак свободен. Свежее бельё найдётся, идёмте.

Он был, видимо, из тех, кто любит людей, кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выпросить у него всё, что тот знает.

Я согласился. Мы пришли в овраг, по обоим скатам которого в пахнувших прелым листом и грибной сыростью дебрях малинника, медуницы, иван-чая были нарыты землянки.

Лётчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся весёлый, свежий с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий лётчик! Лётчик-истребитель! Лётчик, только сегодня совершивший семь боевых вылетов и сбивший два самолёта! Это казалось совершенно невероятным.

Но ноги его, точнее говоря, протезы, ловко обутые в ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой:

— Неужели вы раньше не заметили?

— Даже в голову не пришло.

— Вот хорошо! Вот спасибо! Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как это они нового человека, да ещё из «Правды», прозевали и не похвастались такой диковинкой? Это потому, что сегодня вымотались все так...

— Но ведь это небывалое дело. Это же чёрт знает какой подвиг: без ног сражаться на истребителе! История авиации ничего подобного ещё не знает:

Лётчик весело свистнул.

— Ну, история авиации!.. Она много чего не знала, да узнала от советских лётчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с бóльшим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства, — лётчик вздохнул, — впрочем, если быть точным, подобные примеры история авиации всё-таки знает.

Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истёртую, расползшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофана. В ней говорилось о лётчике, который летал без ступни.

— Но ведь у него одна нога всё-таки была здоровой. Потом, он не истребитель, он же летал на допотопном «фармане».

— Зато я советский лётчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь, это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший, настоящий, — он особенно подчеркнул слово «настоящий», — человек... Он теперь умер.

На широком энергичном лице лётчика появилось выражение ласковой, хорошей грусти, глаза засветились тепло и ясно, лицо помолодело сразу лет на десять, стало почти юношеским, и я с удивлением убедился, что хозяину моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, едва ли было и двадцать два, двадцать три года.

— Я не перевариваю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как... А вот сейчас всё вдруг вспомнилось... Вы тут человек посторонний, завтра прощаемся и больше не встретимся, наверно... Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами?

Он сел на койке, натянул до подбородка одеяло и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике, но говорил интересно, образно. Чувствовались в нём тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше уже никогда и не узнаешь, я схватил лежавшую на столе ученическую тетрадку с надписью «Дневник боевых полётов третьей эскадрильи» и стал записывать его рассказ.

Многое в своё время я не успел записать, многое за четыре года потерялось в памяти. О многом, по скромности своей, умолчал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стёрлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопровождал его, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этом повествовании.

Так возникла эта «Повесть о настоящем человеке».

После того как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней её

главного героя. Но он бесследно затерялся для меня в путанице бесконечных фронтовых дорог, и ни наши общие друзья-лётчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Маресьева.

Повесть уже печаталась в журнале, её читали по радио, когда однажды утром у меня позвонил телефон.

— Мне бы хотелось с вами встретиться, — зазвучал в трубке хрипловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос.

— А с кем я разговариваю?

— С гвардии майором Алексеем Маресьевым.

А через несколько часов, быстрый, весёлый, всё такой же деятельный, своей медвежьей, чуть-чуть с развалцем походкой он уже входил ко мне. Четыре военных года почти не изменили его.

— ...Я вчера сижу дома, читаю, радио включено, но я увлёкся и не слушаю, что там передают. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приёмник и говорит: «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался, — верно, про меня: передают о том, что со мной было. Я удивился: кто это мог написать? Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом и как я вам в землянке всю ночь не давал спать своими разговорами... Думаю: как же так, это ж было давно, почти пять лет назад... Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать...

Всё это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой, прежней маресьевской улыбкой.

Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили о боях, об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно, и выяснил я, что он ещё много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 1943—1945 годов. После нашей встречи он сбил под Орлом три самолёта, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счёт ещё на две машины. Словом, он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза.

Рассказал Алексей Петрович и о своих домашних делах, и я рад, что и в этом отношении могу дописать к повести счастливый конец.

Закончив войну, он женился на любимой девушке, и у них родился сын Виктор. Из Камышина к Маресьевым приехала его старушка мать, которая сейчас живёт с ними, радуясь на счастье своих детей и нянча маленького Маресьева.

Так сама жизнь продолжила эту написанную мною повесть об Алексее Маресьеве — Настоящем Советском Человеке.

Вопросы и задания.

Часть I.

1. Что заставило раненого лётчика так упорно стремиться на восток, к своим?
2. Какие трудности ему пришлось преодолеть при этом?
3. Как жили советские люди в лесной подземной деревушке? Как они отнеслись к больному лётчику?

Часть II.

1. В каком душевном состоянии был Мересьев после операции?
2. Какие качества комиссара Воробьёва привлекали к нему людей? Какую роль сыграл он в судьбе Мересьева?
3. Как добивался Мересьев возвращения в строй?

Часть III.

Найдите в тексте описание первого учебного полёта Мересьева. О чём думал инструктор, наблюдая за лётчиком? Что переживал Мересьев во время этого полёта?

Часть IV.

Как ведёт себя Мересьев в бою? Почему в смертельном поединке с немецким асом он одержал победу?

Ко всей повести.

1. Какой период жизни Мересьева вы считаете наиболее трудным для него?
2. Найдите в повести описание внешности Мересьева. О каких свойствах характера говорит его портрет?
3. Прочитайте в повести описание природы (стр. 247, 255, 296—297). Какое значение имеет пейзаж в раскрытии чувств и переживаний героя?
4. Как относится автор к своему герою? Покажите это на примерах из «Послесловия».
5. Кто из героев повести может быть назван «настоящим человеком»?
6. Какие произведения о подвигах советских людей во время Великой Отечественной войны вы читали? Расскажите о героях этих книг.

О рассказе и повести

Вы прочитали два произведения о Великой Отечественной войне — «Рассказ об отсутствующем» и «Повесть о настоящем человеке».

Чем отличается рассказ от повести? Сразу же можно заметить, что по объёму повесть значительно больше рассказа.

В произведении Л. Кассиля рассказывается лишь об одном событии — о встрече советского солдата с мальчиком. В рассказе всего два героя, и они провели вместе лишь несколько часов. Но за

это время произошли очень важные события в их жизни. И потому, как вели себя в момент смертельной опасности маленький разведчик и боец, мы не только можем оценить их поведение, но и многое узнаём о характере этих людей.

В повести Б. Полевого изображается целый ряд событий из жизни лётчика Алексея Мересьева. Через многие испытания прошёл он, прежде чем вновь сел за штурвал боевого самолёта. Характер главного героя повести раскрывается перед нами постепенно, в разных эпизодах произведения. Мы узнаём о мужестве лётчика, ползущего с перебитыми ногами к своим, о его воле и настойчивости, когда он после операции вновь учится ходить, о выдержке и отваге в воздушных боях.

Мы знакомимся и с другими людьми, которые помогали Мересьеву вернуться в строй.

Таким образом, рассказ — это литературное произведение, в котором, как правило, речь идёт лишь об одном очень важном событии в жизни героев. Повесть шире изображает жизнь: в ней больше событий и действующих лиц; в ней показано, как изменяются главные герои в зависимости от жизненных обстоятельств.

Вопросы.

1. Чем отличается повесть от рассказа?
2. Почему произведение В. Катаева «Белеет парус одинокий» — повесть?
3. Какие повести вы читали? Какие рассказы знаете?

Юрий Маркович НАГИБИН

Род. в 1920 г.



Юрий Нагибин принадлежит тому поколению, которое прямо со студенческой скамьи вступило в Отечественную войну 1941 года. Писатель ушёл на фронт добровольцем. После контузии Ю. Нагибина демобилизовали из армии, но он не оставляет фронта, работает военным корреспондентом, пишет рассказы из армейской жизни. В них почти нет описания сражений. Пристальное внимание писателя обращено к человеку на войне, к его поведению в сложной и напряжённой обстановке.

В послевоенные годы имя Нагибина становится широко известным. Чем же привлекают произведения писателя? Автор так рассказывает о незаметных на первый взгляд людях, что заставляет и нас, читателей, задуматься над простыми, казалось бы, незначительными событиями, увидеть

душевное богатство советского человека, понять его пытливое отношение к миру, к окружающим людям.

Многие свои рассказы Ю. Нагибин посвятил детям. В них с особой силой проявилось внимание писателя к внутреннему миру «чудесного гражданина будущего».

Зимний дуб

Выпавший за ночь снег замёл узкую дорожку, ведущую от Уваровки к школе, и только по слабой прерывистой тени на снегу угадывалось её направление. Учительница осторожно ставила ногу в маленьком, отороченном мехом ботике, готовая отдернуть её назад, если снег обманет.

До школы было всего с полкилометра, и учительница лишь накинула на плечи короткую шубку, а голову наскоро повязала лёгким шерстяным платком. А мороз был крепкий, к тому же ещё налетал ветер и, срывая с наста молодой снежок, осыпал её с ног до головы. Но двадцатичетырёхлетней учительнице всё это нравилось. Нравилось, что мороз покусывает нос и щёки, что ветер, задувая под шубку, стужей охлёстывает тело. Отвращиваясь от ветра, она видела позади себя частый след своих остроносых ботишков, похожий на след какого-то зверька, и это ей тоже нравилось.

Свежесть напоённого светом январского утра будила радостные мысли о жизни, о себе. Всего лишь два года, как пришла она сюда со студенческой скамьи и уже приобрела славу умелого, опытного преподавателя русского языка. И в Уваровке, и в Кузьминках, и в Чёрном Яру, и в торфогородке, и на конезаводе — всюду её знают, ценят и называют уважительно — Анна Васильевна.

Над зубчатой стенкой дальнего бора поднялось солнце, густо засинив длинные тени на снегу. Тени сближали самые далёкие предметы: шпиль старой церковной колокольни дотянулся до крыльца Уваровского сельсовета; сосны, росшие на том берегу реки, легли рядом по скосу этого берега; ветроуказатель школьной метеорологической станции крутился посреди поля, у самых ног Анны Васильевны.

Навстречу через поле шёл человек. «А что, если он не захочет уступить дорогу?» — с весёлым испугом подумала Анна Васильевна. На тропинке не разминёшься, а шагни в сторону — мигом утонешь в снегу. Но про себя-то она знала, что нет в округе человека, который бы не уступил дороги уваровской учительнице.

Они поравнялись — это был Фролов, объездчик с конезавода.

— С добрым утром, Анна Васильевна! — Фролов приподнял кубанку над крепкой коротко остриженной головой.

— Да будет вам! Сейчас же наденьте, такой морозище!..

Фролов, наверное, и сам хотел поскорее нахлобучить кубанку, но теперь нарочно помешкал, желая показать, что мороз ему

нипочём. Полушубок ладно облегал его стройную, лёгкую фигуру, в руке он держал тонкий, похожий на змейку хлыстик, которым постёгивал себя по белому, подвёрнутому ниже колена валенку.

— Как Лёша-то мой, не балует? — почтительно спросил Фролов.

— Конечно, балуется. Все нормальные дети балуются. Лишь бы это не переходило границы, — в сознании своего педагогического опыта ответила Анна Васильевна.

Фролов усмехнулся:

— Лёшка у меня смирный, весь в отца!

Он посторонился и, провалившись по колено в снег, стал ростом с пятиклассника, Анна Васильевна снисходительно кивнула ему и пошла своей дорогой...

Двухэтажное здание школы с широкими окнами, расписанными морозом, стояло близ шоссе за невысокой оградой; снег до самого шоссе был подрумянен отсветом его красных стен.

Школу поставили на дороге в стороне от Уваровки, потому что в ней учились ребяташки со всей округи: из окрестных деревень, из конезаводского посёлка, из санатория нефтяников и далёкого торфогородка. И сейчас по шоссе с двух сторон ручейками стекались к школьным воротам капоры и платочки, картузы и шапочки, ушанки и башлыки.

— Здравствуйте, Анна Васильевна! — звучало ежесекундно, то звонко и ясно, то глухо и чуть слышно из-под шарфов и платков, намотанных до самых глаз.

Первый урок у Анны Васильевны был в пятом «А». Ещё не замер пронзительный звонок, возвестивший о начале занятий, как Анна Васильевна вошла в класс. Ребята дружно встали, поздоровались и уселись по своим местам. Тишина наступила не сразу. Хлопали крышки парт, поскрипывали скамейки, кто-то шумно вздыхал, видимо прощаясь с безмятежным настроением утра.

— Сегодня мы продолжим разбор частей речи...

Класс затих, стало слышно, как по шоссе с пробуксовкой ползёт тяжёлый грузовик.

Анна Васильевна вспомнила, как волновалась она перед уроком в прошлом году и, словно школьница на экзамене, твердила про себя: «Существительным называется часть речи... существительным называется часть речи...» И ещё вспомнила, как её мучил смешной страх: а вдруг они всё-таки не поймут?..

Анна Васильевна улыбнулась воспоминанию, поправила шпильку в тяжёлом пучке волос и ровным спокойным голосом, чувствуя своё спокойствие, как теплоту во всём теле, начала:

— Именем существительным называется часть речи, которая обозначает предмет. Предметом в грамматике называется всё то, о чём можно спросить, кто это или что это. Например: кто это? Ученик. Или: что это? Книга...

— Можно?

В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разношен-

ных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. Круглое, разожжённое морозом лицо горело, словно его натёрли свёклой, а брови были седыми от инея.

— Ты опять опоздал, Савушкин? — как большинство молодых учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас её вопрос прозвучал почти жалобно.

Приняв слова учительницы за разрешение войти в класс, Савушкин быстро прошмыгнул на своё место. Анна Васильевна видела, как мальчик сунул клеёнчатую сумку в парту, о чём-то спросил соседа, не поворачивая головы, наверное: что она объясняет.

— Всё понятно? — обратилась Анна Васильевна к классу.

— Понятно!.. Понятно!.. — хором ответили дети.

— Хорошо. Тогда назовите примеры.

На несколько секунд стало очень тихо, затем кто-то неуверенно произнёс:

— Кошка.

— Правильно, — сказала Анна Васильевна, сразу вспомнив, что в прошлом году первой тоже была «кошка». И тут как пропало:

— Окно! Стол! Дом! Дорога!

— Правильно, — говорила Анна Васильевна. Класс радостно забурлил. Анну Васильевну удивляла та радость, с какой ребята называли знакомые предметы, словно узнавая их в новой, непривычной значительности. Круг примеров всё ширился, но первые минуты ребята держались наиболее близких, на ощупь осязаемых предметов: колесо... трактор... колодезь...

А с задней парты, где сидел толстый Вася, тоненько и настойчиво несло:

— Гвоздик... гвоздик... гвоздик...

Но вот кто-то робко произнёс:

— Город...

— Город — хорошо! — одобрила Анна Васильевна.

И тут полетело:

— Улица... Метро... Трамвай... Кинокартина...

— Довольно, — сказала Анна Васильевна. — Я вижу, вы поняли.

Голоса как-то неохотно смолкли, только толстый Вася всё ещё бубнил свой непризнанный «гвоздик». И вдруг, словно очнувшись от сна, Савушкин приподнялся над партой и звонко крикнул:

— Зимний дуб!..

Ребята засмеялись.

— Тише! — Анна Васильевна стукнула ладонью по столу.

— Зимний дуб!.. — повторил Савушкин, не замечая ни смеха товарищей, ни окрика учительницы. Он сказал это не так, как другие ученики. Слова вырвались из его души, как признание, как счастливая тайна, которую не в силах удержать переполненное сердце. Не понимая странной его взволнованности, Анна Васильевна сказала, с трудом скрывая раздражение:

— Почему зимний? Просто дуб.

— Просто дуб — что! Зимний дуб — вот это существительное!

— Садись, Савушкин, вот что значит опаздывать. «Дуб» — имя существительное, а что такое «зимний», мы ещё не проходили. Во время большой перемены будь любезен зайти в учительскую.

— Вот тебе и зимний дуб! — хихикнул кто-то на задней парте.

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям и ничуть не тронутый грозными словами учительницы. «Трудный мальчик», — подумала Анна Васильевна.

Урок продолжался.

— Садись, — сказала Анна Васильевна, когда Савушкин вошёл в учительскую. Мальчик с удовольствием опустился в мягкое кресло и несколько раз качнулся на пружинах.

— Будь добр, объясни, почему ты систематически опаздываешь?

— Просто не знаю, Анна Васильевна. — Он по-взрослому развёл руками. — Я за целый час выхожу.

Как трудно доискаться истины в самом пустячном деле! Многие ребята жили гораздо дальше Савушкина, и всё же никто из них не тратил больше часа на дорогу.

— Ты живёшь в Кузьминках?

— Нет, при санатории.

— И тебе не стыдно говорить, что ты выходишь за час? От санатория до шоссе минут пятнадцать и по шоссе не больше получаса.

— А я не по шоссе хожу. Я коротким путём, напрямки через лес, — сказал Савушкин, как будто сам немало удивлённый этим обстоятельством.

— Напрямик, а не напрямки, — привычно поправила Анна Васильевна. Ей стало смутно и грустно, как и всегда, когда она сталкивалась с детской ложью. Она молчала, надеясь, что Савушкин скажет: «Простите, Анна Васильевна, я с ребятами в снежки заигрался», или что-нибудь такое же простое и бесхитростное, но он только смотрел на неё большими серыми глазами, и взгляд его словно говорил: «Вот мы всё и выяснили, чего же тебе ещё от меня надо?»

— Печально, Савушкин, очень печально! Придётся поговорить с твоими родителями.

— А у меня, Анна Васильевна, только мама, — улыбнулся Савушкин.

Анна Васильевна чуть покраснела. Она вспомнила мать Савушкина — «душевую нянечку», как называл её сын. Она работала при санаторной водолечебнице, худая, усталая женщина с белыми и обмякшими от горячей воды, будто матерчатыми, руками. Одна, без мужа, погибшего в Отечественную войну, она кормила и растила, кроме Коли, ещё троих детей.

Верно, у Савушкиной и без того хватает хлопот. И всё же Анна Васильевна должна увидаться с ней.

— Придётся мне сходить к твоей матери.
— Приходите, Анна Васильевна, вот мама обрадуется!
— К сожалению, мне нечем её порадовать. Мама с утра работает?

— Нет, она во второй смене, с трёх.

— Ну и прекрасно. Я кончаю в два. После уроков ты меня проводишь.

Тропинка, по которой Савушкин повёл Анну Васильевну, начиналась сразу на задах школьной усадьбы. Едва они ступили в лес и тяжко гружённые снегом еловые лапы сомкнулись за их спиной, как сразу перенеслись в иной, зачарованный мир покоя и беззвучья. Сороки и вороны, перелетая с дерева на дерево, колыхали ветви, сшибали шишки, порой, задев крылом, обламывали хрупкие, сухие прутья. Но ничто не рождало здесь звука.

Кругом белым-бело. Лишь в вышине чернеют обдутые ветром макушки рослых плакучих берёз, и тонкие веточки кажутся нарисованными тушью на синей глади неба.

Тропинка бежала вдоль ручья, то вровень с ним, покорно следуя всем извивам русла, то, поднимаясь высоко, вилась по отвесной круче.

Иногда деревья расступались, открывая солнечные весёлые полянки, перечёркнутые заячьим следом, похожим на часовую цепочку. Попадались и крупные следы в виде трилистника, принадлежавшие какому-то большому зверю. Следы уходили в самую чащобу, в бурелом.

— Сохатый прошёл! — словно о добром знакомом, сказал Савушкин, увидев, что Анна Васильевна заинтересовалась следами. — Только вы не бойтесь, — добавил он в ответ на взгляд, брошенный учительницей в глубь леса. — Лось, он смирный.

— А ты его видел? — азартно спросила Анна Васильевна.

— Самого? Живого? — Савушкин вздохнул. — Нет, не привелось. Вот орешки его видел.

— Что?

— Катышки, — застенчиво пояснил Савушкин.

Проскользнув под аркой гнутой ветлы, дорожка вновь сбежала к ручью. Местами ручей был застелен толстым снеговым одеялом, местами закован в чистый ледяной панцирь, а порой среди льда и снега проглядывала тёмным недобрым глазом живая вода.

— А почему он не весь замёрз? — спросила Анна Васильевна.

— В нём тёплые ключи бьют, вон видите струйку?

Наклонившись над полыньёй, Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку; не достигая поверхности воды, она лопалась мелкими пузырьками. Этот тонюсенький стебелёк с пузырьками был похож на ландыш.

— Тут этих ключей страсть как много! — с увлечением говорил Савушкин. — Ручей-то и под снегом живой.

Он разметал снег, и показалась дегтярно-чёрная и всё же прозрачная вода.

Анна Васильевна заметила, что, падая в воду, снег не таял, сразу густел и провисал в воде студенистыми зеленоватыми водорослями. Это ей так понравилось, что она стала носком ботинка сбивать снег в воду, радуясь, когда из большого комка вылеплялась особенно замысловатая фигура. Она вошла во вкус и не сразу заметила, что Савушкин ушёл вперёд и дожидается её, усевшись высоко в развилке сука, нависшего над ручьём. Анна Васильевна нагнала Савушкина. Здесь уже кончалось действие тёплых ключей, ручей был покрыт плёночно-тонким льдом. По его мрамористой поверхности метались быстрые, лёгкие тени.

— Смотри, какой лёд тонкий, даже течение видно!

— Что вы, Анна Васильевна! Это я ветку раскачал, вот и бежит тень...

Анна Васильевна прикусила язык. Пожалуй, здесь, в лесу, ей лучше помалкивать.

Савушкин снова зашагал впереди учительницы, чуть пригнувшись и внимательно поглядывая вокруг себя.

А лес всё вёл и вёл их своими сложными, путаными ходами. Казалось, конца-краю не будет этим деревьям, сугробам, этой тишине и просквожённому солнцем сумраку.

Нежданно вдалеке забрезжила дымчато-голубая щель. Редняк сменил чащу, стало просторно и свежо. И вот уже не щель, а широкий, залитый солнцем просвет возник впереди, там что-то сверкало, искрилось, роилось ледяными звёздами.

Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в стороны: посреди поляны, в белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, стоял дуб. Казалось, деревья почтительно расступились, чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. Его нижние ветви шатром раскинулись над поляной. Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листья, усохнув по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт листьями в снежных чехольчиках.

— Так вот он, зимний дуб!

Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий великодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью.

Нисколько не ведая, что творится в душе учительницы, Савушкин возился у подножия дуба, запросто обращаясь со своим старым знакомцем.

— Анна Васильевна, поглядите!

Он с усилием отвалил глыбу снега, облипшую понизу землёй с останками гниющих трав. Там, в ямке, лежал шарик, обёрнутый сопревшими паутинно-тонкими листьями. Сквозь листья торчали острые наконечники игл, и Анна Васильевна догадалась, что это ёж.

— Вон как укутался! — Савушкин заботливо прикрыл ежа неприхотливым его одеялом. Затем он раскопал снег у другого корня. Открылся крошечный гротик с бахромой сосулк на своде. В нём сидела коричневая лягушка, будто сделанная из карто-



на, её жёстко растянута по костяку кожа казалась отлакированной. Савушкин потрогал лягушку, та не шевельнулась.

— Притворяется,— засмеялся Савушкин. — Будто мёртвая. А дай солнышку пригреть, заскачет, ой-ой как!

Он продолжал водить её по своему мирку. Подножие дуба приютило ещё многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. Одни хоронились под корнями, другие забились в трещины коры; отощавшие, словно пустые внутри, они в непробудном сне перемогали зиму. Сильное, переполненное жизнью дерево скопило

вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверьё не могло бы сыскать себе лучшей квартиры. Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в эту неведомую ей, потайную жизнь леса, когда услышала встревоженный возглас Савушкина:

— Ой, мы уже не застанем маму!

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы — четверть четвёртого. У неё было такое чувство, словно она попала в западню. И, мысленно попросив у дуба прощения за свою маленькую человеческую хитрость, она сказала:

— Что ж, Савушкин, это только значит, что короткий путь ещё не самый верный. Придётся тебе ходить по шоссе.

Савушкин ничего не ответил, только потупил голову,

У Анны Васильевны сжалось сердце.

— Ну, Савушкин, спасибо тебе за прогулку. Я пошутила, ты можешь ходить и этой дорожкой.

— Вам спасибо, Анна Васильевна!

Савушкин покраснел, ему очень хотелось сказать учительнице, что он никогда больше не будет опаздывать, но побоялся соврать. Он поднял воротник курточки, нахлобучил поглубже ушанку.

— Я провожу вас...

— Не нужно, Савушкин, я одна дойду.

Он с сомнением поглядел на учительницу, затем поднял с земли палку и, обломив кривой её конец, протянул Анне Васильевне.

— Если сохатый наскочит, огрейте его по спине, он и даст дёру. А лучше просто замахнитесь, с него хватит! Не то ещё обидится и вовсе из лесу уйдёт.

— Хорошо, Савушкин, я не буду его бить.

Отойдя недалеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на дуб, бело-розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую тёмную фигурку: Савушкин не ушёл, он издали охранял свою учительницу. И Анна Васильевна вдруг поняла, что самым удивительным в этом лесу был не зимний дуб, а маленький человек в разношенных валенках, чинёной, небогатой одежде, сын погибшего за родину солдата и «душевой нянечки», чудесный и загадочный гражданин будущего.

Она помахала ему рукой и тихо двинулась по извилистой тропинке.

Вопросы и задания.

1. Почему учительница была недовольна Савушкиным?
2. Каким предстал зимний лес перед Анной Васильевной?
3. Расскажите о зимнем дубе. В чём его красота? Почему автор называет его «великодушным стражем леса»?
4. Почему Савушкин открыл своей учительнице тайны зимнего леса?
5. Что нового о Савушкине узнала Анна Васильевна в лесу?
6. Почему Анна Васильевна разрешила Савушкину ходить в школу через лес?
7. Расскажите, что бы вы изобразили на рисунках к этому рассказу.



Средь цветов медуницы и кашки,
Где журчит тишина ручейком,
Русый мальчик в холщовой рубашке
По лужайке идёт босиком.

Он идёт прямым, без тропинки,
Всё, что встретится, видит насквозь,
Друг-приятель здесь каждой былинке
И у каждого дерева гость.

Сколько солнца в глазах его синих
Под упрямым разлётом бровей!
Он ни гнёзд не боится осиных,
Ни шипящих в малиннике змей.

Что в ожогах и ссадинах ноги,
Волдыри на руках — не беда,
Ведь оглядчивому недотроге
Не откроется мир никогда.

Гафур Гулям

Осенний саженец

Багряный лист ложится наземь ровно,
Не выгнать воробьёв из-под застрех,
долбит на ветке хмурая ворона
ребятами не сорванный орех.

Сороки бодро на жнивье стрекочут,
проскачет суслик, скроется в норе,
петляет кролик между мокрых кочек,
пуглив и бел, — утеха детворе.

Всё спит в саду. Ни грозди винограда!
Укрыты лозы, — им в земле тепло,
спят яблони у глиняной ограды,
вода в ручье, как жидкое стекло.

Лениво солнце. Бронзовым подносом
среди ветвей как бы висит оно.
Оно к земле обращено с вопросом:
— Взойти иль нет?
— Я сплю. Мне всё равно...

Но он не спит, — старик с широким станом,
наш добрый дед, наш Миршакар-отá.
В руках кетмень¹. Садовник неустанно
хлопочет возле юного куста.

Ещё не скоро саженец привьётся,
ещё не скоро принесёт плоды, —
их старику отведать не придётся,
но знает он: не пропадут труды!

Садовник смертен — то закон природы,
но у народа нескончаем век;
не для себя — для внуков, для народа
в саду работой занят человек.

Перевод с узбекского
Я. Ильясова

¹ *Кетмёнъ* (узб.) — мотыга.

*Слышу умолкнувший звук
божественной эллинской речи,
Старца великого тень
чую смущённой душой.*
А. С. ПУШКИН

Поэтические сказания древней Эллады

«Илиада» и «Одиссея» — самые древние произведения греческой литературы. Автором их считается народный певец — поэт Гомер. Никаких точных сведений о его жизни не сохранилось (историки предполагают, что он мог жить в IX—VIII вв. до нашей эры). Античные скульпторы изображали поэта слепым стариком.

Гомер сочинял и пел песни о Троянской войне и о возвращении героев греков на родину после падения Трои (Илиона). Позднее, когда эти песни были записаны, они составили две книги — «Илиаду» и «Одиссею».

«Илиада» и «Одиссея», основанные на народных сказаниях и мифах, пользовались необычайной известностью и любовью у древних греков. Семь городов Эллады оспаривали честь называться родиной



Гомера. На многолюдных народных праздниках странствующие певцы — рапсоды декламировали большие отрывки из сочинений Гомера, состязаясь в их исполнении. Торжественные, величавые стихи звучали напевно, мерно, и слушатели уносились в полусказочный мир, где, наряду с героями давних событий, действовали боги, а исторические факты переплетались с фантастическими вымыслами.

О содержании «Илиады» и «Одиссеи» вы читали в своем учебнике истории (раздел «Древняя Греция», стр. 104—115). Теперь вы познакомитесь с одним эпизодом из «Одиссеи». Герой ее — хитроумный Одиссей, отважный, многоопытный военный вождь и многострадальный мореплаватель, — рассказывает гостеприимному царю Алкиною о пережитых им приключениях на пути к родной Итаке¹. Одним из самых опасных было посещение Одиссеем и его спутниками острова, где жили циклопы — свирепые одноглазые великаны. Рассказ Одиссея о встрече с циклопами напоминает нам народные сказки и былины. Как в каждом произведении устного народного творчества, мы находим здесь гиперболы (например, могучей силой обладает Одиссей и ещё большей — циклоп Полифем), разнообразные повторения (например, несколько раз повторяется описание возвращения Полифема в пещеру и его занятий), постоянные эпитеты (могучие вёсла, тёмные воды).

Песни Гомера были настоящей сокровищницей народной мудрости. Они отражали мысли и чувства героического народа, ярко, образно рисовали его жизнь.

Одиссей у циклопов (из поэмы «Одиссея»)

- 1 Все на суда собралися и, севши на лавках у вёсел,
Разом могучими вёслами вспенили тёмные воды.
Далее поплыли мы, сокрушённые сердцем, и в землю
Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды циклопов.
- 5 К берегу близкому скоро пристав с кораблём, мы открыли
В крайнем, у самого моря стоявшем утёсе пещеру,
Густо одетую лавром², пространную, где собирался
Мелкий во множестве скот; там высокой стеной из огромных,
Грубо набросанных камней был двор обведён, и стояли
- 10 Частым забором вокруг черноглавые дубы и сосны.
Муж великанского роста в пещере той жил; одиноко
Пас он баранов и коз, ни с кем из других не водился;
Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона;
Видом и ростом чудовищным в страх приводя, он несходен
- 15 Был с человеком, вкушающим хлеб, и казался лесистой,
Дикой вершиной горы, над другими воздвигшейся грозно.
Спутникам верным моим повелел я остаться на бреге

¹ *Ита́ка* — остров в Ионическом море, родина Одиссея.

² *Лавр* — южное вечнозелёное дерево с душистыми листьями.

Близ корабля и его сторожить неусыпно, с собой же
 Взявши двенадцать надёжных и самых отважных, пошёл я
 20 С ними; и мы запаслися вина драгоценного мехом¹.
 Шагом поспешным к пещере приблизились мы, но его в ней
 Не было; коз и баранов он пас на лугу недалёком.
 Начали всё мы в пещере пространной осматривать; много
 Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах
 25 Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным
 в порядке
 Там размещённые: старшие — с старшими, средние — подле
 Средних и с младшими — младшие; вёдра и чаши
 Были до самых краёв налиты простоквашей густою.
 Спутники стали меня убеждать, чтоб, запасшись сырами,
 30 Боле я в страшной пещере не медлил, чтоб все мы скорее,
 Взявши в закутах отборных козлят и барашков, с добычей
 Нашей на быстрый корабль убежали и в море пустились.
 Я на беду отказался полезный совет их исполнить;
 Видеть его мне хотелось в надежде, что, нас угостивши,
 35 Даст нам подарок, — но встретиться с ним не на радость нам
 было.
 Яркий огонь разложив, совершили мы жертву; добывши
 Сыру потом и насытив свой голод, остались в пещере.
 Ждать, чтоб со стадом в неё возвратился хозяин. И скоро
 С ношею дров, для варенья вечерняя пищи, явился
 40 Он и со стуком на землю дрова перед входом пещеры
 Бросил; объятые страхом, мы спрятались в угол; пригнавши
 Стадо откормленных коз и волнистых баранов к пещере,
 Маток в неё он впустил, а самцов, и козлов и баранов,
 Прежде от них отделив, на дворе перед входом оставил.
 45 Кончив, чтоб вход заградить, несказанно великий с земли он
 Камень, который и двадцать два воза четырёхколёсных
 С места б не сдвинули, поднял: подобен скале необъятной
 Был он; его подхвативши и вход им в пещеру задвинув,
 Сел он и маток доить принялся надлежащим порядком,
 50 Коз и овец; подоив же, под каждую матку её он
 Клал сосуна. Половину отлив молока в плетеницы²,
 В них он оставил его, чтоб оно огустело до сыра;
 Всё ж молоко restante разлил по сосудам, чтоб после
 Пить по утрам иль за ужином, с пажити³ стадо пригнавши.
 55 Кончив с заботливым спехом⁴ работу свою, наконец он
 Яркий огонь разложил, нас увидел и грубо сказал нам:
 «Странники, кто вы? Откуда пришли водяною дорогой?
 Дело ль какое у вас? Иль без дела скитаетесь всюду,
 Взад и вперёд по морям, как добытки вольные⁵, мчась,

¹ Мех — здесь: кожаный мешок для вина.

² Плетёница — сосуд в плетёной корзине.

³ Пажить — пастбище.

⁴ С заботливым спехом — старательно и быстро.

⁵ Добытки вольные — морские разбойники.

60. Жизнью играя своей и беды приключая народам?»
Так он сказал нам; у каждого замерло милое сердце:
Голос гремющий и образ чудовища в трепет привёл нас.
Но, ободрясь, напоследок отвечивал так я циклопу:
«Все мы — ахейцы¹, плывём от далёкия Трои; сюда же
- 65 Бурею нас принесло по волнам беспредельного моря.
В милую землю отцов возвращаясь, с прямого пути мы
Сбились; так было, конечно, угодно могучему Зевсу.
Ныне к коленам припавши твоим, мы тебя умоляем
Нас, бесприютных, к себе дружелюбно принять и подарок
- 70 Дать нам, каким завсегда на прощанье гостей наделяют.
Ты же убойся богов, мы пришельцы, мы ищем покрова;
Мстит за пришельцев отверженных строго небесный
Кронийон²...»
- Так я сказал; с неописанной злостью циклоп отвечал мне:
«Видно, что ты издалёка иль вовсе безумен, пришелец,
- 75 Если мог вздумать, что я побоюсь или уважу бессмертных,
Нам, циклопам, нет нужды ни в боге Зевесе, ни в прочих
Ваших блаженных богах...
Страх громовержца Зевеса разгневать меня не принудит
Вас пощадить; поступлю я, как мне самому то угодно.
- 80 Ты же теперь мне скажи, где корабль, на котором пришли вы
К нам? Далеко ли иль близко отсюда стоит он? То ведать
Должен я». Так искушая, он хитро спросил. Остерегшись,
Хитрыми сам я словами отвечивал злему циклопу:
Бог Посидон³, колебатель земли, мой корабль уничтожил,
- 85 Бросив его недалёко от здешнего берега на камни
Мыса крутого, и бурное море обломки умчало.
Мне ж, и со мною немногим, от смерти спастись удалось». —
Так я сказал, и, ответа не дав никакого, он быстро
Прянул⁴, как бешеный зверь, и, огромные вытянув руки,
- 90 Разом меж нами двоих, как щенят, подхватил и ударил
Оземь; их череп разбился, обрызгало мозгом пещеру.
Страшную пищу запив молоком, людоед беззаботно
Между козлов и баранов на голой земле растянулся.
Тут подошёл я к нему с дерзновенным намереньем сердца:
- 95 Острый свой меч обнаживши, чудовищу мстящею медью
Тело в том месте пронзить, где под грудью находится печень.
Меч мой уж был занесён; но иное на мысли пришло мне:
С ним неизбежно и нас бы постигнула верная гибель:
Все совокупно мы были б не в силах от входа пещеры
- 100 Слабою нашей рукою тяжёлой скалы отодвинуть.

¹ Ахейцы — одно из племён древних греков. Гомер называет ахейцами вообще всех греков.

² Зевс был сыном Крона, бога земледелия и времени, поэтому его часто называют Кронийоном или Кронидом.

³ Посидон (Посейдон) — бог морей.

⁴ Прянул — здесь: неожиданно прыгнул.

С трепетом сердца мы ждали явления божественной Эос¹;
 Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос.
 Встал он, огонь разложил и доить принялся по порядку
 Коз и овец; подоив же, под каждую матку её он
 105 Клал сосуна; окончавши с заботливым спехом работу,
 Снова из нас он похитил двоих на ужасную пищу.
 Съев их, он выгнал шумящее стадо из тёмной пещеры.
 Мощной рукой оттолкнувши утёс приворотный, им двери
 Снова он запер, как лёгкою кровлей колчан запирают.
 110 С свистом погнал он на горное пастбище тучное стадо.
 Я ж, в заключение оставленный, начал выдумывать средство,
 Как бы врагу отомстить, и молил о защите Палладу².
 Вот что, размыслив, нашёл, наконец, я удобным и верным:
 В козьей закуте стояла дубина циклопова, свежий
 115 Ствол им обрубленной ма́слины дикой; его он, очистив,
 Сохнуть поставил в закуту, чтоб после гулять с ним; подобен
 Нам показался он мачте, какая на многовесельном,
 С грузом товаров моря обтекающем судне бывает...
 Взявши тот ствол и мечом от него отрубивши три локтя³,
 120 Выглядить чисто отрубок велел я товарищам; скоро
 Выглажен был он; своею рукою его заострил я;
 После, обжёгши на углях острый конец, мы поспешно
 Кол, приготовленный к делу, зарыли в навозе, который
 Кучей огромной набросан был в смрадной пещере циклопа.
 125 Кончив, своих пригласил я спутников жéребий⁴ кинуть,
 Кто между ними колóм обожжённым поможет пронзить мне
 Глаз людоеду, как скоро глубокому сну он предастся.
 Жеребий дал четырёх мне и самых надёжных, которых
 Сам бы я выбрал, и к ним я пристал, не по жеребью — пятый.
 130 Вечером, жирное стадо гоня, людоед возвратился;
 Но, отворивши пещеру, в неё он уж полное стадо
 Ввёл, не оставив на внешнем дворе ни козла, ни барана...
 Тут подошёл я отважно и речь обратил к людоеду,
 Полную чашу вина золотого ему предлагая:
 135 «Выпей, циклоп, золотого вина... узнаешь, какой драгоценный
 Напиток на нашем был корабле; для тебя я его сохранил,
 уповав
 Милость в тебе обрести; но свирепствуешь ты нестерпимо».
 Так говорил я; взяв чашу, её осушил он, и вкусным
 Крепкий напиток ему показался, другой попросил он
 140 Чаши: «Налей мне, — сказал он, — ещё и своё назови мне
 Имя, чтоб мог приготовить тебе я приличный подарок.
 Твой же напиток — амврóзия чистая с нéктаром сладким⁵».

¹ Эос — богиня утренней зари.

² Паллада — одно из имён богини Афины, победительницы гиганта Палланта.

³ Лóкоть — старинная мера длины (около 50 см).

⁴ Жéребий — жребий.

⁵ Твой же напиток — амврóзия чистая с нéктаром сладким — превосходный, чудесный напиток. Амврóзия (амброзия) — и нектáр — пища и питье богов, дающие им бессмертие и вечную юность.

Так он сказал, и другую я чашу вином искромётным
 Налил. Ещё попросил он, и третью безумцу я подал.
 145 Стало шуметь огневое вино в голове людоеда.
 Я обратился к нему с обольстительно-сладкою речью:
 «Славное имя моё ты, циклоп, любопытствуешь сведать,
 С тем, чтоб, меня угостив, и обычный мне сделать подарок?
 Я называюсь НИКТО; мне такое название дали
 150 Мать и отец, и товарищи так все меня величают».

С злобной насмешкою мне отвечал людоед зверонравный:
 «Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый
 последний
 Съеден, когда я разделаюсь с прочими, — вот мой подарок».

Тут повалился он навзничь, совсем опьянённый; и набок
 155 Свисла могучая шея, и всепобеждающей силой
 Сон овладел им...
 Кол свой достав, мы его остриём на огонь положили,
 Тотчас зардел¹ он; тогда я, товарищей избранных кликнув,
 Их ободрил, чтоб со мною решительны были в опасном
 160 Деле. Уже начинал положённый на уголья кол наш
 Пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой был; поспешно
 Вынул его из огня я; товарищи смело с обеих
 Стали боков — божество в них, конечно, вложило отважность;
 Кол обхватили они и его остриём раскалённым
 165 Втиснули спящему в глаз...
 Дико завыл людоед — застонала от воя пещера.
 В страхе мы кинулись прочь; с несказанной свирепостью
 вырвав
 Кол из пронзённого глаза, облитый кипучею кровью,
 Сильной рукой от себя он его отшвырнул; в исступленье
 170 Начал он криком циклопов сзывать, обитавших в глубоких
 Гротах² окрест и на горных, лобзаемых ветром вершинах.
 Громкие вопли услышав, отовсюду сбежались циклопы;
 Вход обступили пещеры они и спросили: «Зачем ты
 Сózвал нас всех, Полифём? Что случилось? На что ты
 175 Сладкий наш сон и спокойствие ночи божественной прервал?
 Коз ли твоих и баранов кто дерзко похитил? Иль сам ты
 Гибнешь? Но кто же тебя здесь обманом иль силою губит?»
 Им отвечал он из тёмной пещеры отчаянно диким
 Рёвом: «НИКТО! Но своей я оплошностью гибну; НИКТО бы
 180 Силой не мог повредить мне». В сердцах закричали циклопы:
 «Если никто, для чего же один так ревёшь ты? Но если
 Болен, то воля на это Зевеса, её не избежнешь.
 В помощь отца своего призови, Посидона-владыку».
 Так говорили они, удаляясь. Во мне же смеялось
 185 Сердце, что вымыслом имени всех мне спасти удалось.
 Охая тяжко, с кряхтеньем и стоном ошарив руками

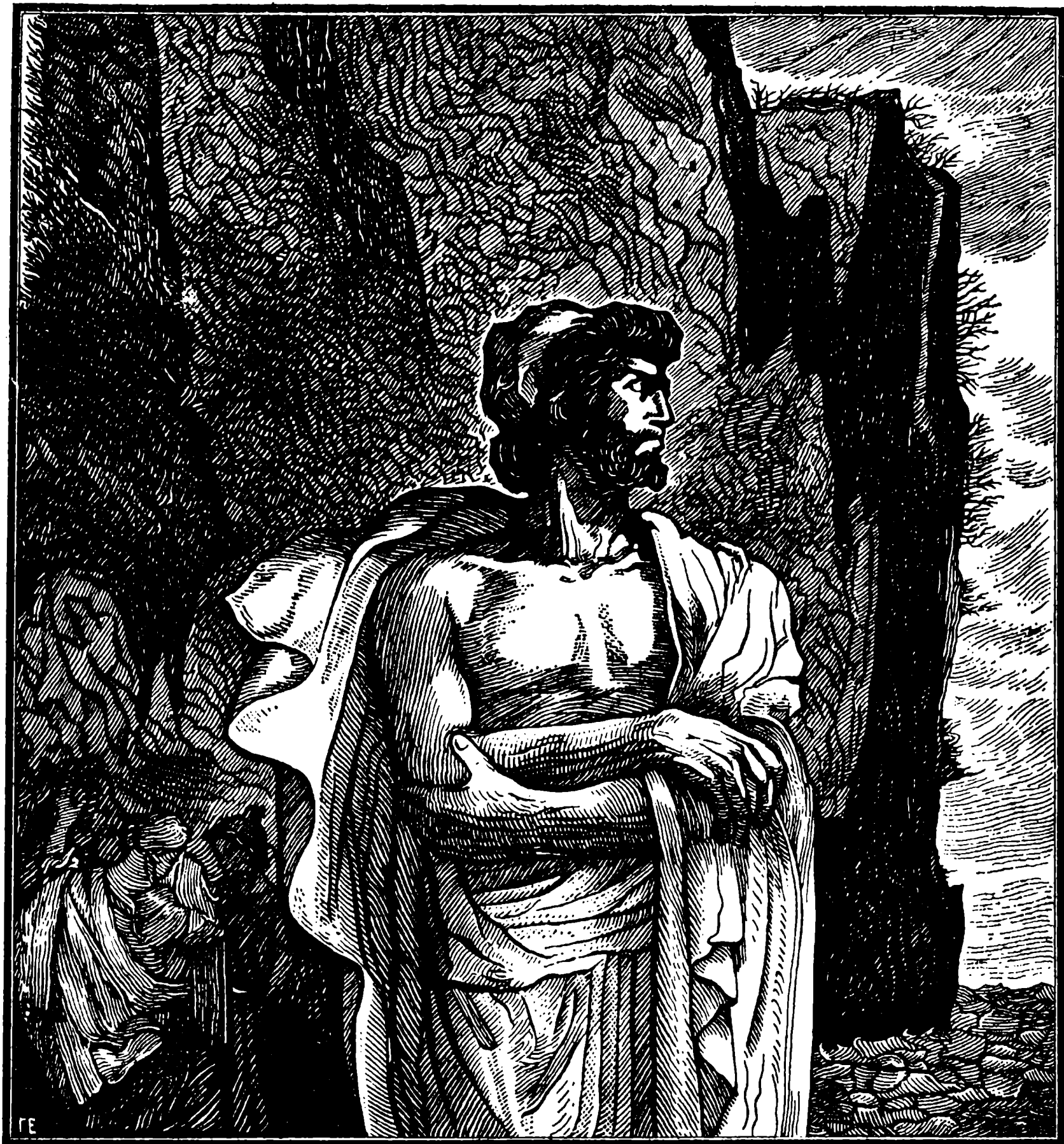
¹ Зардёл — здесь: раскалился докрасна.

² Грот — искусственная или естественная пещера.

Стены, циклоп отодвинул от входа скалу, перед нею
 Сел и огромные вытянул руки, надеясь, что в стаде,
 Мимо его проходящем, нас всех переловит; конечно,
 190 Думал свирепый глупец, что и я был, как он, без рассудка.
 Я ж осторожным умом вымышлял и обдумывал средство,
 Как бы себя и товарищей бодрых избавить от верной
 Гибели; многие хитрости, разные способы тщетно
 Мыслям моим представлялись, а бедствие было уж близко.
 195 Вот что, по думанье долгом, удобнейшим мне показалось:
 Были бараны большие, покрытые длинною шерстью,
 Жирные, мощные, в стаде; руно¹ их, как шёлк, волновалось.
 Я потихоньку сплетёнными крепкими лыками, вырвав
 Их из рогожи, служившей постелею злему циклопу,
 200 По три барана связал; человек был подвязан под каждым
 Средним, другими двумя по бокам защищённый; на каждом
 Трёх был один из товарищей наших, а сам я?.. Дебелый²,
 Рослый, с роскошною шерстью был в стаде баран; обхвативши
 Мягкую спину его, я повис на руках под шершавым
 205 Брюхом, а руки (в руно несказанно густое впустив их)
 Длинною шерстью обвил и на ней терпеливо держался.
 С трепетом сердца мы ждали явления божественной Эос.
 Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос;
 К выходу все побежали самцы, и козлы, и бараны...
 210 Господин их, от боли...
 Охая, щупал руками у всех, пробегающих мимо,
 Пышные спины; но, глупый, он был угадать неспособен,
 Что у иных под волнистой скрывалось грудью; последний
 Шёл мой баран; и медлительным шагом он шёл, отягчённый
 215 Длинною шерстью и мной, размышлявшим в то время
 о многом.
 Спину ощупав его, с ним циклоп разговаривать начал:
 «Ты ль, мой прекрасный любимец? Зачем же пещеру
 последний
 Ныне покинул? Ты прежде ленив и медлителен не был.
 Первый всегда, величаво ступая, на луг выходил ты
 220 Сладкоцветущей травой питаться; ты в полдень к потоку
 Первый бежал; и у всех впереди возвращался в пещеру
 Вечером. Ныне ж идёшь ты последний; знать, чувствуешь
 сам ты,
 Бедный, что око моё за тобой уж не смотрит; лишён я
 Светлого зренья гнусным бродягою; здесь он вином мне
 225 Ум отуманил; его называют Никто; но ещё он
 Власти моей не избегнул! Когда бы, мой друг, говорить ты
 Мог, ты сказал бы, где спрятался враг ненавистный; я череп
 Вмиг раздробил бы ему и разбрызгал бы мозг по пещере,
 Оземь ударив его и на части раздёрнув; отместил бы

¹ Руно — здесь: шерсть.

² Дебелый — здесь: упитанный, откормленный.



230 Я за обиду, какую Никто, злоковарный разбойник,
Здесь мне нанёс». Так сказав, он барана пустил на свободу.
Я ж, недалёко от входа пещеры и внешней ограды
Первый став на ноги, путников всех отвязал и немедля
С ними всё стадо козлов тонконогих и жирных баранов
235 Собрал; обходами многими их мы погнали на взморье¹
К нашему судну. И сладко товарищам было нас встретить,
Гибели верной избегших; хотели о милых погибших
Плакать они; но мигнув им глазами, чтоб плач удержали,
Стадо козлов и баранов взвести на корабль наш немедля
240 Я повелел: отойти мне от берега в море хотелось.
Люди мои собралися и, севши на лавках у вёсел,
Разом могучими вёслами вспенили тёмные воды;
Но, на такое отплыв расстоянье, в каком человеческий
Явственно голос доходит до нас, закричал я циклопу:

¹ *Взморье* — берег моря.

245 «Слушай, циклоп беспощадный, вперёд беззащитных гостей ты
 В гроте глубоком своём не губи и не ешь; святотатным¹
 Делом всегда на себя навлекаем мы верную гибель;
 Ты, злочестивец, дерзнул иноземцев, твой дом посетивших,
 Зверски сожрать — наказали тебя и Зевес и другие
 250 Боги блаженные». Так я сказал; он, ужасно взбешённый,
 Тяжкий утёс от вершины горы отломил и с размаха
 На́ голос кинул; утёс, пролетевши над судном, в пучину
 Рухнул так близко к нему, что его черноострого носа
 Чуть не расшиб; всколыхалось море от падшей громады;
 255 Хлынув, большая волна побежала стремительно к берегу;
 Схваченный ею, обратно к земле корабль наш помчался.
 Длинною жердью я в берег песчаный упёрся и судно
 Прочь отвалил; а товарищам молча кивнул головою,
 Их побуждая всей силой на вёсла налечь, чтоб избегнуть
 260 Близкой беды; все, нагнувшись, разом ударили в вёсла.
 Быв на двойном расстоянье от страшного берега, опять я
 Начал кричать, вызывая циклопа. Товарищи в страхе
 Все убеждали меня замолчать и его не тревожить.
 265 «Дерзкий,— они говорили,— зачем ты чудовище дразнишь?
 В море швырнувши утёс, он едва с кораблём нас не бросил
 На́ берег снова; едва не постигла нас верная гибель.
 Если теперь он чей голос иль слово какое услышит,
 Голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает,
 270 Бросив утёс остробокий; до нас же он верно добросит».
 Так говорили они, но, упорствуя дерзостным сердцем,
 Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа:
 «Если циклоп, у тебя из людей земнородных кто спросит,
 Как истреблён твой единственный глаз, ты на это ответствуй:
 275 «Царь Одиссей, городов сокрушитель, героя Лаэрта
 Сын, знаменитый властитель Итаки, мне выколол глаз мой».

Перевод В. Жуковского

Вопросы и задания.

1. В поэме Гомера Одиссей часто именуется хитроумным. Докажите справедливость этого эпитета. Какими ещё качествами обладает Одиссей? Покажите это на примерах из текста.
2. Найдите строки, в которых рисуются внешность и образ жизни циклопа Полифема. Охарактеризуйте его нрав. Какие гиперболы и эпитеты помогают нам ярче представить свирепого людоеда?
3. Какое отражение нашли в эпизоде «Одиссей у циклопов» быт, нравы и верования древних греков?
4. Чем напоминает прочитанный вами отрывок из «Одиссеи» русские былины?

¹ Святотáтный (поступок) — дерзкое нарушение общепринятого обычая или правила.

Вересковый мёд

Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще мёда,
Пьянее, чем вино.

В котлах его варили
И пили всей семьёй
Малютки-медовары
В пещерах под землёй.

Пришёл король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.

На вересковом поле,
На поле боевом
Лежал живой на мёртвом
И мёртвый — на живом.

Лето в стране настало,
Вереск опять цветёт,
Но некому готовить
Вересковый мёд.

В своих могилках тесных,
В горах родной земли
Малютки-медовары
Приют себе нашли.

Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо
И думает: «Кругом
Цветёт медвяный вереск,
А мёда мы не пьём!»

Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.

Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет, —
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Слова не произнёс.

Сидел король шотландский,
Не шевелясь, в седле,
А маленькие люди
Стояли на земле.

Гневно король промолвил:
— Пытка обоих ждёт,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мёд.

Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море катились валы.

И вдруг голосок раздался:
— Слушай, шотландский
король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!

Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю.
Выдам заветную тайну! —
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и чётко звучал:
— Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!

Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочём.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нём.

Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод —
И я научу шотландцев
Готовить старинный мёд! —

Сильный шотландский воин Мальчика крепко связал

**И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.**

**Волны над ним сомкнулись,
Замер последний крик.
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик:**

— Правду сказал я,
шотландцы,
От сына я ждал беды.
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.

**А мне костёр не страшен.
Пускай со мной умрёт
Моя святая тайна —
Мой вересковый мёд!**

Перевод С. Маршака

В. Сосюра

Как же не петь мне о том...

Ветром пахучим весна
В сердце мне радостно бьёт...
Вот она — счастья страна,
В звёздах Коммуна встаёт!..

В космос пути проложить
Смог ты, мой светлый народ.
Как же тебя не любить,
Как не прославить твой взлёт!

Морем шумишь ты кругом,
Полям безбрежным цветёшь.
Как же не петь мне о том,
Чем ты, бессмертный, живёшь!

Сказочным богатырём
Встал ты на подвиг от сна.
Белым взмахнула крылом
За облаками весна.

Перевод с украинского *В. Державина*

Содержание

Любите книгу (М. Горький)	3
А. А. Прокофьев. Я знаю Россию по песням	4

РАЗДЕЛ 1

Народ-сказитель	5
Илья Муромец и Соловей Разбойник	6
О былине (по Н. Колпаковой)	12
А. К. Толстой. Илья Муромец О Вольге Святославовиче и Микулушке Селяниновиче	13
Устное народное творчество и литература	14
Повесть о Евпатии Коловрате	18
А. К. Толстой. Курган	19
	21

РАЗДЕЛ 2

И. А. Крылов	22
Волк и Ягненок	23
Квартет	26
Волк на псарне	27
Демьянова уха	29
О басне	30
А. С. Пушкин (по Бонди)	31
Москва!.. Как много в этом звуке...	33
Зимнее утро	33
Няне	34
Об эпитете (по В. Рождественскому)	34

Песнь о вещем Олеге	36
О летописном источнике «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина	40
Дубровский	41
М. Ю. Лермонтов (по В. Рождественскому)	94
Парус	95
Два великана	95
Н. А. Некрасов (по К. Чуковскому)	97
На Волге	98
В. Г. Короленко	102
Дети подземелья	103
О портрете литературного героя	130

РАЗДЕЛ 3

В. П. Катаев	131
Белеет парус одинокий	132
О пейзаже в литературном произведении	200
Дмитрий Гулиа. Олень (перевод с абхазского М. Соболя)	201
М. В. Исаковский	202
Дума о Ленине	203
Д. Бедный	205
Снежинки	206
Хута Берилава. Ленину (перевод с грузинского А. Межирова)	207

Л. Н. Радищев. Незаряженная	
кассета	208
М. М. Пришвин	213
Кладовая солнца	214
Об олицетворении	236
Н. А. Заболоцкий. Журавли	238
Л. А. Кассиль (по В. Смир-	
новой)	239
Рассказ об отсутствующем	
(Иллюстрация И. Пчёлко) .	240
Максим Танк. Партизанские	
окопы заросли травой (пере-	
вод с белорусского А. Про-	
кофьева)	245
Б. Н. Полевой (из автобиогра-	
фии)	246
Повесть о настоящем человеке	247
О рассказе и повести	308
Ю. М. Нагибин	310

Зимний дуб (Иллюстрация	
И. Пчёлко)	311
Н. И. Рыленков. Среди цветов	
медуницы и кашки... . .	319
Гафур Гулям. Осенний саженец	
(перевод с узбекского	
Я. Ильясова)	319

РАЗДЕЛ 4

Поэтические сказания древней	
Эллады	321
Одиссей у циклопов (из поэ-	
мы «Одиссея», перевод	
В. Жуковского	322
Роберт Стивенсон. Вересковый	
мёд (перевод С. Маршака)	330
В. Сосюра. Как же не петъ	
мне о том (перевод с укра-	
инского В. Державина) . .	332

И Б № 3124

Родная литература

Учебник-хрестоматия для V класса

Составители:

**Зепалова Татьяна Сергеевна,
Колокольцев Николай Владимирович,
Мещерякова Наталья Яковлевна.**

Редактор **Е. Пронина**. Художественный редактор **В. Ежков**.

Технические редакторы **Е. Богданова, Р. Еникеева**. Корректор **З. Почаева**.

Сдано в набор 4/VI 1976 г. Под-
писано к печати 15/IV 1977 г.
60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 3.
Печ. л. 21+0,5 вкл. +0,25 форз.
Уч.-изд. л. 21,91+0,33 вкл. +
+0,41 форз.
Тираж 1700 тыс. экз.
Цена 43 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательст-
во «Просвещение» Государственного комитета Со-
вета Министров РСФСР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва, 3-й про-
езд Марьиной рощи, 41. Саратовский ордена Тру-
дового Красного Знамени полиграфический ком-
бинат Росглавполиграфпрома Государственного
комитета Совета Министров РСФСР по делам из-
дательств, полиграфии и книжной торговли. Са-
ратов, ул. Чернышевского, 59. Заказ 114.

Иллюстрации





В. М. Васнецов. Богатыри.



М. И. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем.



И. Е. Репин. Бурлаки на Волге.



И. К. Айвазовский. Девятый вал.



И. И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу.



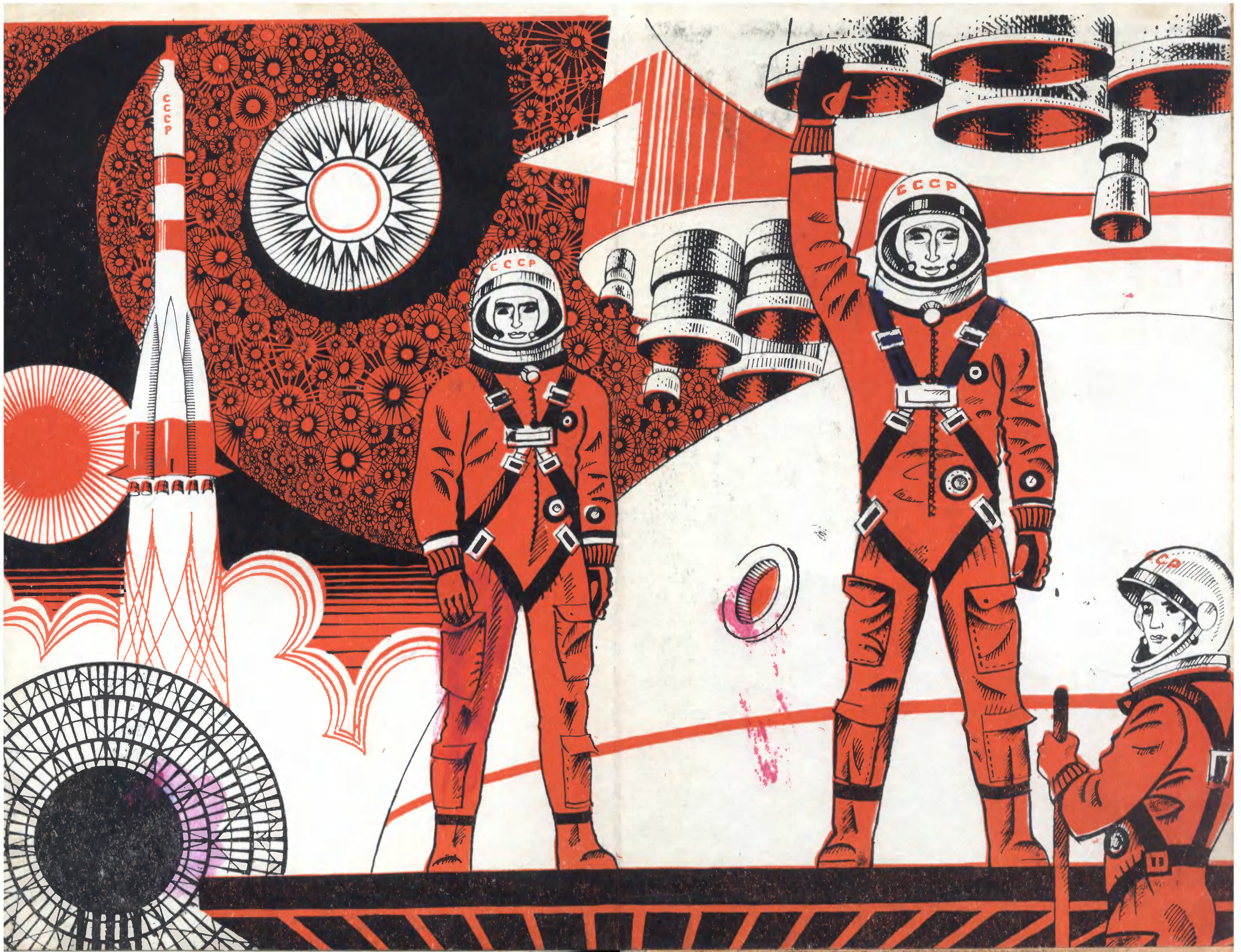
В. А. Серов. Ждут сигнала.



П. П. Белоусов. В. И. Ленин среди делегатов III съезда комсомола.



И. И. Левитан. Март.



43 к.

